



ЮНОСТЬ

9

1970

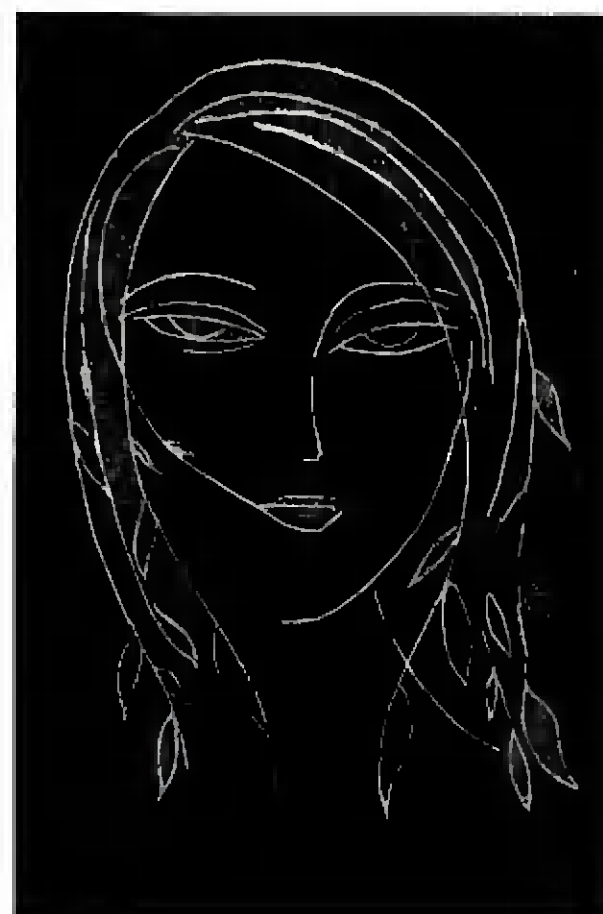


Д. ТУТУНДЖАН.

Товарки.

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



9

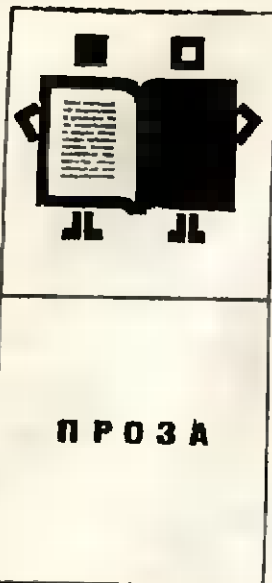
(184)

СЕНТЯБРЬ

1970

Журнал основан в 1955 году

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА



Рисунки В. Жутовского.

НЕКОВЕРЯЩИЕ СОЛДАТЫ

Анатолий
Рыбаков



ПОВЕСТЬ

1

В детстве каждое лето я ездил в маленький городок Корюков к дедушке. Мы ходили с ним купаться на Корюковку, неширокую, быструю и глубокую речку, в трех километрах от города. Мы раздевались на пригорке, покрытом редкой желтой, примятой травой. Из совхозной конюшни доносился терпкий, приятный запах лошадей и слышалось перестукивание копыт по деревянному настилу. Дедушка загонял коня в воду и плыл рядом с ним, ухватившись за гриву. Его крупная голова со слипшимися на лбу мокрыми волосами, с черной цыганской бородой мелькала в белой пене маленького буруна, рядом с дико косящим конским глазом. Так, наверно, переправлялись через реки печенеги.

Я единственный внук, и дедушка меня любит. Я его тоже очень люблю. Он осенил мое детство добрыми воспоминаниями, они до сих пор волнуют и трогают меня. Даже сейчас, когда он прикасается ко мне своей широкой, сильной рукой, у меня щемит сердце.

Я приехал в Корюков двадцатого августа, после заключительного экзамена, опять получив четверку. Стало очевидно, что в университет я не поступил.

Дедушка ожидал меня на перроне, такой, каким я оставил его пять лет назад, когда в последний раз был в Корюкове. Его короткая густая борода слегка поседела, но широкоскулое лицо по-прежнему мраморно-белое и карие глаза такие же живые, как и раньше. На нем был все тот же вытертый темный костюм с брюками, заправленными в сапоги; в сапогах он ходил и зимой и летом. Когда-то он учил меня надевать портянки. ловким движением закручивал портянку, любовался своей работой, потом натягивал сапог, морщась не оттого, что сапог жал, а от удовольствия, что он так ладно сидит на ноге.

С ощущением, будто я исполняю комический цирковой номер, я взобрался на старую бричку. Но никто на привокзальной площади не обратил на нас внимания. Дедушка перебрал в руках вожжи. Лошадка, мотнув головой, побежала с места бодрой рысцой.

Мы ехали вдоль новой автомагистрали. Но при въезде в Корюков асфальт перешел в знакомую мне выбитую булыжную мостовую. По словам дедушки, улицу должен заасфальтировать сам город, а у города нет средств.

— Какие наши доходы? Раньше тракт проходил, торговали, река была судоходной — обмелела. Остался один конезавод. Есть лошади! Мировые знаменитости есть. Но городу от этого что?

К моему провалу в университет дедушка отнесся философски:

— Поступишь после армии.

А я был огорчен неудачей. Не повезло! «Роль лирического пейзажа в произведениях Салтыкова-Щедрина». Тема! Выслушав мой ответ, экзаменатор устался на меня, ждал продолжения, а мне продолжать было нечего. Я стал развивать собственные мысли о Салтыкове-Щедрине. Экзаменатору они были неинтересны.

Те же деревянные домики с садами и огородами, базарчик на площади, магазин райпотребсоюза, столовая «Байкал», школа, те же вековые дубы вдоль улицы.

Новой была все та же автомагистраль, на которую мы опять попали, выехав из города на конезавод. Здесь она еще только строилась. Дымился горячий асфальт, его укладывали загорелые ребята в брезентовых рукавицах. Девушки в майках, в надвинутых на лоб косынках разбрасывали гравий. Бульдозеры блестящими ножами срезали грунт, ковши экскаваторов вгрызались в землю — могучая техника, грохоча и лязгая, наступала на пространство. На обочине стояли жилые вагончики — свидетельство походной жизни.

Мы сдали на конезаводе бричку и лошадь и пошли обратно берегом Корюковки. Я помню, как гордился, впервые переплыв ее; теперь бы я ее пересек одним толчком от берега. И деревянный мостик, с которого я когда-то прыгал с замирающим от страха сердцем, висел над самой водой.

На тропинке, еще по-летнему твердой, местами потрескавшейся от жары, шуршали под ногами первые опавшие листья. Желтели снопы в поле, трещал кузнечик, одинокий трактор подымал зябь.

Раньше в это время я уезжал от дедушки, и грусть расставания смешивалась тогда с радостным ожиданием Москвы. Но сейчас я только приехал, и мне не хотелось возвращаться.

Я люблю отца и мать, уважаю их, но что-то сломалось привычное, изменилось в доме, стало раздражать, даже мелочи. Например, мамино обращение к знакомым женщинам в мужском роде: милый вместо милая, дорогой вместо дорогая. Что-то было в этом неестественное, претенциозное, как и в том, что свои красивые, черные, с проседью волосы она покрасила в рыже-бронзовый цвет. Для чего, для кого?

Утром я просыпался: отец, проходя через столовую, где я сплю, хлопал шлепанцами — туфлями без задников. Он и раньше ими хлопал, но тогда я не просыпался, а теперь просыпался от одного предчувствия этого хлопанья, а потом не мог заснуть. У каждого человека, тем более пожилого, есть свои привычки. не совсем, может быть, приятные, приходится с ними мириться, надо притираться друг к другу. А я не мог притираться. Неужели я стал психом?

Мне стали неинтересны разговоры о папиной и маминой работе, о людях, про которых я слышал много лет, но ни разу не видел, о каком-то негодяе Крептюкове — фамилия ненавистная мне с детства, я готов был задушить этого Крептюкова. Потом оказалось, что Крептюкова душить не следует, наоборот, надо защищать, его место может занять гораздо худший Крептюков. Конфликты на работе неизбежны, глупо все время говорить о них. Я вставал из-за стола и уходил. Это обижало стариков, но я ничего не мог поделать с собой.

Все это было тем более удивительно, что мы были, как говорится, дружной семьей. Ссоры, разлады, скандалы, разводы, суды и тяжбы — ничего этого у нас не было и быть не могло. Я никогда не обманывал родителей и знал, что они не обманывают меня. То, что они скрывали от меня, считая меня маленьким, я воспринимал снисходительно. Это наивное родительское заблуждение лучше снобистской откровенности, которую кое-кто считает современным методом воспитания. Я не ханжа, но в некоторых вещах между детьми и родителями существует дистанция, есть сфера, в которой следует соблюдать сдержанность, это не мешает ни дружбе, ни доверию. Так всегда и было в нашей семье. И вдруг мне захотелось уйти из дому, забиться в какую-нибудь дыру. Может быть, я устал от экзаменов? Тяжело переживаю неудачу? Старики ни в чем меня не упрекали, но я подвел, обманул их ожидания. Восемнадцать лет, а я все сидел на их шее. Мне стало стыдно просить даже на кино. Раньше была перспектива — университет, теперь я оказался неудачником, не смог добиться того, чего добиваются десятки тысяч других ребят, ежегодно поступающих в высшие учебные заведения.

2

Старые гнутые венские стулья в маленьком дедушкином доме, скрипят под ногами ссохшиеся половицы, краска на них местами облупилась, и видны ее слои — от темно-коричневого до желтовато-белого. На стенах фотографии: дедушка в кавалерийской форме держит в поводе коня, дедушка-объездчик, рядом с ним два мальчика-жокея — его сыновья, мои дяди, тоже держат в поводе лошадей — знаменитых рысаков, обвезженных дедушкой.

Новым был увеличенный портрет бабушки, умершей три года назад. Она была здесь точно такая, какой я ее помнил, — седая, представительная, важная, похожая на директора школы. Она и была завучем. Что в свое время соединило ее с простым лошадиником, я не знаю. В том далеком, отрывистом, смутном, что мы называем воспоминаниями детства и что, возможно, есть только наше представление о нем, были какие-то разговоры, будто из-за дедушки сыновья не стали учиться, заделались лошадиниками, потом кавалеристами и погибли на войне. А получи они образование, как хотела бабушка, их судьба, вероятно, сложилась бы по-другому. И с тех смутных лет у меня сохранились сочувствие к дедушке, который никак не был виноват в гибели сыновей, и неприязнь к бабушке, предъявлявшей ему такие несправедливые и жестокие обвинения.

На столе бутылка портвейна, белый хлеб, совсем не такой, как в Москве, гораздо вкуснее, и вареная колбаса неопределенного сорта, тоже вкусная, свежая, и масло со слезой, завернутое в капустный лист. Что-то есть особенное в этих простых произведениях районной пищевой промышленности.

— Пьешь вино? — спросил дедушка.

— Так, понемногу.

— Сильно пьет молодежь, — сказал дедушка, — в мое время так не пили.

Я сослался на большой объем информации, получаемой современным человеком, и на связанную с этим обостренную чувствительность, возбудимость и ранимость.

Дедушка улыбался, кивал головой, как бы соглашаясь со мной, хотя скорее всего не соглашался. Но свое несогласие он выражал редко. Внимательно слушал, улыбался, кивал головой, а потом говорил что-нибудь такое, что хотя и деликатно, но опровергало собеседника.

— Я как-то раз выпил на ярмарке, — сказал дедушка, — меня мой родитель та-ак вожжами отделал...

Он весело улыбался, добрые морщинки собирались вокруг его глаз.

— Я бы не позволил!

— Дикость, конечно, — охотно согласился дедушка, — только раньше отец был глава семьи. — В голосе его зазвучало уважение. — У нас пока отец за стол не сядет, никто не смеет сесть, пока не встанет — и не думай вставать. Ему и первый кусок — кормилец, работник. Утром отец первым к умывальнику, за ним старший сын, потом остальные — соблюдалось! А сейчас жена сама чуть свет на работу убегает, поздно приходит, усталая, злая: обед, магазин, дом... А ведь сама зарабатывает! Какой муж ей авторитет? Она ему уважения не оказывает, за ней и дети. Вот он и перестал чувствовать свою ответственность. Зажал трешку и за поллитром. Сам пьет и детям показывает пример.

В чем-то дедушка и был прав, но это только один аспект проблемы, и, возможно, не самый главный.

Точно угадав мои мысли, дедушка сказал:

— Я не призываю к кнуту и к домострою. Как раньше люди жили — их дело. Мы за предков не отвечаем, мы за потомков отвечаем.

Правильная мысль! Человечество отвечает прежде всего за своих потомков!

— Сердца вот пересаживают, — продолжал дедушка, — мне семьдесят лет, на сердце не жалуюсь, не пил, не курил. А молодые и пьют и курят, вот и подавай им в сорок чужое сердце. И не подумают: нравственно это или безнравственно?

— А ты как считаешь?

— Я считаю, безусловно, безнравственно. На все сто процентов. Лежит человек в больнице и ждет не дождется, когда другой сыграет в ящик. На улице гололед, а ему праздник: кто-нибудь расшибет котелок. Сегодня пересаживают сердца, завтра возьмутся за мозги, потом начнут из двух несовершеннолетних людей делать одного совершенного. Например, слабосильному вундеркинду пересадят сердце здорового болвана или, наоборот, болвану — мозги вундеркинда, будут, понимаешь, свинчивать гениев, а остальных на запчасти.

— Есть у меня один знакомый писатель, — поддержал я дедушкину мысль, — хочет написать такой рассказ. Больному человеку пересаживали сердца от разных зверей и животных. Но ни с одним таким сердцем он не мог жить: перенимал характер того зверя, от которого получил сердце. Сердце льва — становился кровожадным, осла — упрямым, свиньи — хамом. В конце концов он пошел к врачу и сказал: «Верните мне мое сердце, пусть больное, но зато мое, человеческое».

Я сказал неправду. Знакомых писателей у меня нет. Этот рассказ я собирался написать сам. Но было стыдно признаться дедушке, что пописываю. Я в этом еще никому не признавался.

— В общем, лучше здоровое сердце, чем больной желудок.

Такой старомодной шуткой дедушка заключил медицинскую часть разговора и перешел к деловой:

— Делать чего собираешься?

— Работать пойду. Заодно буду готовиться к экзаменам.

— Рабочие кругом требуются, — согласился дедушка, — вон дорогу строят, автомагистраль Москва — Поронск. Знаешь Поронск?

— Слышал.

— Старинный город, церкви, соборы. Ты стариной не увлекаешься?

— Что-то не тянет.

— Сейчас старина в моде, даже молодые пристрастились. Ну, а в Поронске этой старины на каждом шагу, иностранцы приезжают. Вот и строят международный туристический центр, а к нему магистраль. По всему городу объявления: требуются рабочие, полевые-командировочные платят. Зарабатывай, потом сиди зиму занимайся. И все дела.

3

Итак, эта прекрасная мысль пришла в голову дедушке с его практическим умом, мудростью и пониманием, что дома у меня не все ладно. Он вообще считал, что меня воспитывают слишком домашним, тепличным и мне надо попробовать жизни. Мне казалось даже, что он доволен моим непоступлением в университет. Может быть, он вообще против высшего образования? Последователь Руссо? Считает, что цивилизация ничего хорошего людям не принесла? Но дал же он образование своей дочери — моей маме.

Конечно, все это не так. Просто дедушка хочет, чтобы я попробовал жизни, а заодно пожил бы у него и тем скрасил его одиночество.

Меня это тоже устраивало.

Никаких объяснений с родителями не потребуется, я поставлю их перед свершившимся фактом. Здесь меня никто не знает, и я буду избавлен от прозвища «Крош» — оно мне порядком надоело. Поработаю до декабря, вернусь домой с деньгами. У меня есть водительские права, любительские, мне их обменяют на профессиональные, в виде исключения: в школе мы изучали автодело, проходили практику на автобазе. Поезжу по стране, буду готовиться к экзаменам. Что делать вечером в поле? Сиди почитывай. Это не чистенький, светлый цех, где восемь часов торчишь на одном и том же месте. Это не киношная романтика с торжественными провожаниями на вокзале, речами и оркестрами. Что-то было очень привлекательное в этих вагончиках на обочине дороги, дымок костров, кочевая жизнь, дальние дороги, здоровенные загорелые парни в брезентовых рукавицах. И эти девушки с оголенными руками, со стройными ногами, в косынках, надвинутых на лоб. Что-то сладкое и тревожное щемило мне сердце...

Но объявления висят давно, и, возможно, люди уже набраны. С единственной целью выяснить ситуацию я отправился на участок.

Вагончики стояли на обочине полукругом. Между ними были натянуты веревки, на них сушилось белье, один конец веревки был привязан к Доске почета. Несколько в стороне располагалась столовая под большим деревянным навесом.

По деревянной приставной лестничке я поднялся в вагончик с табличкой «Управление дорожно-строительного участка».

В вагончике за столом сидел начальник, за чертежной доской — чертежница, модная девчонка с косящим на дверь глазом. Сейчас она скосилась на меня.

— Я по поводу объявления,— обратился я к начальнику.

— Документы! — коротко ответил он. Ему было на вид лет тридцать пять — сухощавый человек с нахмуренным лицом. Озабоченный и категоричный администратор.

Я протянул паспорт и водительские права.

— Права любительские,— заметил он.

— Я их обменяю на профессиональные.

— Нигде еще не работал?

— Слесарем работал.

Он недоверчиво сощурился:

— Где ты работал слесарем?

— На автобазе, на практике, по ремонту машин.

Он перелистал паспорт, посмотрел прописку.

— Сюда зачем приехал?

— К дедушке.

— На деревню дедушке... В институт провалился?

— Не поступил.

— Пиши заявление: прошу зачислить подсобным рабочим. Обменяешь права — переведем на машину.

Это было несколько неожиданно, ведь я пришел только выяснить ситуацию.

— Я бы хотел сначала обменять права и сразу сесть на машину.

— У нас и сменишь. Напишем в автоинспекцию.— Было очевидно, что начальник заинтересован в рабочей силе, особенно в подсобниках, никто не хочет идти на физическую работу; это только теперь так деликатно называется — подсобный рабочий, раньше это называлось чернорабочий.

Я не боюсь физической работы. Могу, если надо, поворочать лопатой. Но зачем же я проходил практику на автобазе? У меня хватило ума сказать:

— Не можете посадить на машину, возьмите пока в слесари. Зачем же я буду квалификацию терять?

Начальник недовольно сморщился: видно, ему очень хотелось всучить мне лопату и грабли.

— Еще надо проверить твою квалификацию.

— Для этого есть испытательный срок.

— Все знает! — усмехнулся начальник, обращаясь к чертежнице. Видно, у него была такая манера обращаться не к собеседнику, а к третьему лицу.

Чертежница ничего не ответила, только опять скосилась на меня.

— Слесари на повременке, много не заработаешь,— предупредил начальник.

— Понятно,— ответил я.

— И жить придется в вагончике,— продолжал начальник,— механизмы работают в две смены — слесарь должен быть под рукой.

Надо бы пожить недельку с дедушкой, но жизнь в вагончике меня тоже привлекала.

— Можно и в вагончике.

— Ладно,— нахмурился он,— пиши заявление.

Я присел и на краю стола написал заявление: «Прошу зачислить меня слесарем по ремонту с дальнейшим переводом на машину». Вручив его начальнику, я спросил:

— В каком вагончике я буду жить?

— Видали его! — Он опять обращался к чертежнице.— Спальное место ему подавай! Ты сначала поработай, заслужи его.

С этими словами он размахисто начертил на углу моего заявления: «Зачислить с двадцать третьего августа».

Сегодня двадцать второе.

Только выйдя из вагончика, я осознал нелепую скоропалительность своего поступка. Куда и зачем я торопился? Не хватило духу сказать «я подумаю»? Ведь я действительно пришел только выяснить ситуацию. Каждый человек, решая свою судьбу, должен взвесить все. А я проявил слабость, поддался внешним обстоятельствам. С той минуты, как я вошел в вагончик, я сразу стал оформляемым на работу, действовал как оформляемый, то есть не так, как это нужно мне, а как это нужно начальнику участка. Удивительно даже, как это я сумел отбиться от лопаты и граблей; нажми он на меня чуть посильнее, я бы на лопату согласился и на грабли. Меня оформили слесарем, я считал это своей победой, на самом деле это было поражением. Начальник участка предложил мне наихудший вариант (чернорабочий), чтобы потом, сделав якобы уступку, зачислить простым слесарем, вместо того чтобы принять шофером. Он надул меня, оболванил, обвешал. Я даже не спросил, какой у меня будет оклад! Повременка, а какая повременка? Сколько мне будут платить, что я здесь заработаю? Неудобно, видите ли, спрашивать. Болван, сноб! Ради оклада люди и работают, а меня это, видите ли, не интересует!

И как быть с дедушкой? Вчера приехал, завтра уйду на работу. Хотя бы пожил недельку со стариком — он так этого хотел, пять лет мы с ним не виделись. Чертовски неудобно получилось! Просто ужасно.

Я шел вдоль трассы. Так же работали загорелые парни в брезентовых рукавицах и девушки в майках с оголенными руками и стройными ногами, дымился асфальт, подъезжали и отъезжали самосвалы. Мне это не казалось таким привлекательным, как вчера. Грубые, а главное, незнакомые, чужие лица. Как я сживусь с ними? На практике мы были школьники, чего с нас спрашивать? А здесь пощады не проси, никто за тебя ишачить не будет. А какой я, в сущности, слесарь? Отличу простой ключ от торцового, отвертку от зубила, могу отвинтить или завинтить что покажут. А если поручат самостоятельную работу? Здесь не ждут, тут давай, тут строительство. Вкапался я в историю.

Дома я без обиняков все объяснил дедушке: пришел выяснить ситуацию, а они сразу зачислили меня на работу.

— А ты думал,— рассмеялся дедушка,— людей-то не хватает.

4

Все оказалось проще, чем я полагал. Дорожный участок переходит с места на место, и люди часто меняются: одни увольняются, набираются новые, а те, что работают постоянно, не видятся неделями, малознакомы, а то и вовсе незнакомы: трасса растянута на сорок километров. На новеньких здесь не обращают внимания, даже не знают, кто новенький, кто неновенький.

Главная работа не асфальтирование, или, как здесь говорят, сооружение покрытия, а устройство земляного полотна. Тут много машин: экскаваторы, бульдозеры, канавокопатели, самосвалы — потому здесь же и слесарная мастерская: навес, верстак, тиски, точило, наковальня, сверло, пресс, сварка, кладовая запчастей. Работа примитивная: что-нибудь подогнать, заклепать, просверлить, отнести на трассу какую-нибудь часть — механизатор сам ее поставит. Механизаторы опытные, привыкли в полевых условиях все делать сами, на ремонтников не

5

надеются. У ремонтников стандартный ответ: «Мы на повременке, нам торопиться некуда», — подчеркивая этим, что механизатор выгоняет в месяц до двухсот рублей, а ставка слесаря, скажем, моего разряда — шестьдесят пять.

Мастерская держится на механике, его фамилия Сидоров, пожилой, опытный механик, а главное, понимает, что с нас взять нечего, все делает сам, а мы на подхвате. И никогда нам не выговаривает. Только когда кто-нибудь уж чересчур начнет канючить, жаловаться на жару в поле или еще на что, скажет:

— На фронте жарче было.

Он бывший фронтовик и до сих пор ходит в гимнастерке. Непонятно, как она у него сохранилась через двадцать пять лет после войны. Впрочем, это могла быть не фронтовая, а послевоенная гимнастерка.

Может, начальник участка — кстати, его фамилия Воронов — имеет влияние на автоинспекцию, но все равно будет экзамен по вождению, по правилам движения и, главное, нужна новая медицинская справка о состоянии здоровья. Приедет квалифкомиссия в Корюков десятого сентября.

И потому, возвращаясь с работы, я садился за «Курс автомобиля». Самосвал объезжал трассу, долго собирал живущих в городе, и добирался я домой часов в семь, а то и в восемь усталый, как черт, а здесь уже в одиннадцать часов выключают свет: город на ограниченном лимите электроэнергии.

Ко всему, понимаете ли, меня стали задерживать на работе. Один раз до ночи ремонтировали экскаватор, машина в город уже ушла, я остался ночевать в вагончике на койке, хозяин которой был в командировке. Потом задержали еще раз, потом третий. Конечно, сейчас горячая пора, механизмы не должны простаивать, но не слишком приятно ночевать на чужой койке, без постели, не раздеваясь и опасаясь, что вот-вот вернется хозяин и даст тебе по шее. А главное, на носу экзамены, надо готовиться, а меня задерживают.

Я так и сказал начальнику участка Воронову:

— Через две недели квалифкомиссия, а вы мне не даете подготовиться.

Разговор этот происходил все в том же служебном вагончике, в присутствии той же чертежницы, ее зовут Люда.

Обращаясь к ней, Воронов, усмехаясь, ответил:

— Видали его! Он учиться сюда пришел. А работать кто будет? Ломоносов? — Потом он повернулся ко мне: — Я тебя предупреждал: слесарь может понадобиться в любое время.

— Да, вы предупреждали. Но вы обещали вагончик, а я живу в городе.

— Вот оно что. — Воронов нахмурился, будто я нанес ему тяжкое оскорбление, напомнив о его невыполненном обещании. — Хорошо, получишь место.

И угрожающе добавил:

— Только уже тогда не хныкать.

Воронов невзлюбил меня — почему, не знаю, возможно, чувствовал, что и он мне не нравился. Мне несимпатичны люди такого типа: властные, категоричные, насмешливые. В нем была скрытая каверзность, каждую минуту жди подвоха — может быть, у него такой метод руководства: держать подчиненного в напряжении? Уступив в одном случае, он потом доказывал свою власть и преимущество в десяти других случаях. Так получилось и со мной. Я не поддался ему, не взялся за лопату и за грабли — одна зарубка, заставил дать место в вагончике — вторая.

Так оно и получилось.

Произошло это ровно через три дня. Мы с меха-

ником Сидоровым были на трассе, меняли тягу у канавокопателя. Впереди двигался бульдозер, срезал блестящим ножом и отваливал в сторону грунт. Вел бульдозер Андрей, здоровый молчаливый парень.

Вдруг бульдозер остановился, Андрей вышел и стал что-то разглядывать на дороге.

Сидоров поставил тягу, велел мне закрепить ее, а сам пошел посмотреть, в чем причина остановки. Вместе с ним пошел и водитель канавокопателя, а я остался закреплять тягу. Я закреплял тягу и смотрел на Андрея и Сидорова. Нагнувшись, они что-то рассматривали на дороге.

Подъехал самосвал, из него вышел шофер Юра — красивый деловой парень в кожаной куртке с «молниями».

— Нашли клад, ребята? Я в доле.

И тоже нагнулся к дороге.

Я затянул последнюю гайку и подошел к ним.

Бульдозер стоял перед маленьким холмиком, поросшим травой, вокруг него валялся низкий полусгнивший штакетник. Сидоров поднял из травы выцветшую деревянную звезду... Солдатская могила, видно, осталась еще с войны. Она была вырыта в стороне от прежней дороги, но, прокладывая новую, мы спрямляли магистраль, и вот бульдозер Андрея наткнулся на солдатскую могилу.

Андрей сел в кабину, включил рычаги, нож надвинулся на холмик.

— Ты что делаешь? — Сидоров встал на холмик.

— Чего, — ответил Андрей, — сровню.

— Я тебе сровню, — сказал Сидоров.

— Разница тебе, где он будет лежать: над дорогой, под дорогой? — спросил шофер Юра.

— Ты в земле не лежал, а я лежал, может, рядом с ним, — сказал Сидоров.

В это время подъехал еще один самосвал, из него вышел Воронов, подошел к нам, нахмурился:

— Стоим?

Взгляд его остановился на могиле, на штакетнике, кто-то уже собрал его в кучку и положил сверху выцветшую звезду. На лице Воронова отразилось неудовольствие, он не любил задержек, а могила на дороге — это задержка. И он попал не вовремя, без него рабочие сровняли бы могилу. А он такого распоряжения дать не может. И он недовольно смотрел на нас, будто мы виноваты в том, что не сделали все до его приезда.

Потом он сказал Андрею:

— Обойди это место, завтра пришлю землекопов — перенесут могилу.

Молчавший все время Сидоров заметил:

— По штакетнику и по звезде, видать, кто-то ухаживал, надо бы хозяина найти.

Воронов опять недовольно сморщился:

— Не на Камчатку перенесем. Придет хозяин — найдет. Да и нет никакого хозяина, сгнило все.

— При нем документы могут быть или какие вещественные доказательства, — настаивал Сидоров.

И Воронов уступил, за что, конечно, Сидорову придется потом расплатиться. Потом. А пока расплатился я.

— Крашенинников! Поезжай в город, поспрашивай, чья могила.

Я был поражен таким странным приказанием.

— У кого же я буду спрашивать?

— У кого? У местных жителей.

— А почему именно я?

— Потому что ты местный.

— Я не местный.

— Все равно, у тебя здесь дедушка, бабушка.

— Нет у меня бабушки, умерла, — мрачно ответил.

— Тем более старые люди, — со странной логикой продолжал Воронов. — Город весь вот, — он показал кончик ногтя, — три улицы... Найдешь хозяина, скажи: пусть забирают могилу, что надо, поможем, перевезем, а не найдешь хозяина, зайди с утра в военкомат и скажи: мол, наткнулись на могилу, пусть пришлют представителя для вскрытия и переноса. Понял? — Он повернулся к Юре. — Добрось его до карьера, а там дойдет.

— А кто за меня будет работать? — спросил я.

— На твою квалификацию найдем замену, — насмешливо ответил Воронов.

Такой хам!

— Ну, поехали! — сказал Юра.

5

Вторым заходом самолет дал на бреющем полете пулеметную очередь и снова скрылся, оставив за собой длинную, медленно и косо сползающую к земле голубоватую полосу дыма.

Старшина Бокарев поднялся, стряхнул с себя землю, подтянул сзади гимнастерку, оправил широкий командирский ремень и портупею, перевернул на лицевую сторону медаль «За отвагу» и посмотрел на дорогу.

Машины — два «ЗИСа» и три полуторки «ГАЗ-АА» — стояли на прежнем месте, на проселке, одинокие среди неубранных полей.

Потом поднялся Вакулин, опасливо посмотрел на хмурое осеннее, но чистое небо, и его тонкое, юное, совсем еще мальчишеское лицо выразило недоумение: неужели только что над ними дважды пролетала смерть?

Встал и Краюшкин, отряхнулся, вытер винтовку — аккуратный, бывалый, пожилой солдат.

Упругим командирским шагом, раздвигая высокую, осыпающуюся пшеницу, Бокарев пошел в глубь поля, хмуро осмотрелся и увидел наконец Лыкова и Огородникова. Они все еще лежали, прижавшись к земле.

— Долго будем лежать!

Лыков повернул голову, скосился на старшину, потом посмотрел на небо, поднялся, держа винтовку в руках, — небольшой, кругленький, мордастенький солдатик, философски проговорил:

— Согласно стратегии и тактике, не должен он сюда залететь.

— Стратегии, тактике... Оправьте гимнастерку, рядовой Лыков!

— Гимнастерку — это можно. — Лыков снял и перетянул ремень.

Поднялся и Огородников — степенный, представительный шофер, с брюшком, снял пилотку, вытер платком лысеющую голову, сварливо заметил:

— На то и война, чтобы самолеты летали и стреляли. Тем более едем без маскировки. Непорядок.

Упрек этот адресовался Бокареву. Но медальное лицо старшины было непроницаемо.

— Много рассуждаете, рядовой Огородников! Где ваша винтовка?

— В кабине.

— Оружие бросил. Солдат называется! За такие дела — трибунал.

— Это известно, — огрызнулся Огородников.

— Идите к машинам! — приказал Бокарев.

Все вышли на пустую проселочную дорогу, к своим старым, потрепанным машинам: два «ЗИСа» и три полуторки.

Стоя на подножке, Лыков объявил:

— Кабину прошил, гад!

— Это он специально за тобой гонялся, Лыков, — добродушно заметил Краюшкин. — Который, думает, тут Лыков... А Лыков эвон куда уполз.

— Не уполз, а рассредоточился, — отшутился Лыков.

Бокарев хмуро поглядывал, как Огородников прикрывает срубленным деревом кабину и кузов. Хочет доказать свое!

Командирским голосом он приказал:

— По машинам! Интервал пятьдесят метров!

Километров через пять они свернули с проселка и, приминая мелкий кустарник, въехали в молодой березняк. Прибитая к дереву деревянная стрелка с надписью «Хозяйство Стручкова» указывала на низкие здания брошенной МТС, прижавшейся к ко-согору.

— Приготовить машины к сдаче! — приказал Бокарев.

Он вынул из-под сиденья сапожную щетку и бархотку и стал надраивать свои хромовые сапоги.

— Товарищ старшина! — обратился к нему Лыков.

— Чего тебе?

— Товарищ старшина, — Лыков понизил голос, — я бывал в этой ПРБ, тут порядки такие: кто прибыл без сухого пайка, тех посылают на продпункт, в город.

— Ну и что!

— В городе — продпункт, говорю. За сухим пайком посылают.

— Вам выдан сухой паек.

— А если бы не выдали!

Бокарев сообразил наконец, на что намекает Лыков, посмотрел на него.

Лыков поднял палец.

— Город все-таки... Корюков называется. Женский пол имеется. Цивилизация.

Бокарев завернул щетку и мазь в бархотку, положил под сиденье.

— Много берете на себя, рядовой Лыков!

— Обстановку докладываю, товарищ старшина.

Бокарев оправил гимнастерку, ремень, портупею, просунул палец под подворотничок, покрутил шеей:

— И без тебя есть кому принять решение!

Обычная, известная Бокареву картина ПРБ — походно-ремонтной базы, размещенной на этот раз в эвакуированной МТС. Рокошет мотор на стенде, шипит паяльная лампа, трещит электросварка, слесари в замасленных комбинезонах, под которыми видны гимнастерки, ремонтируют машины. Двигается по монорельсу двигатель, его придерживает слесарь, другой, видимо, механик, направляет двигатель на шасси.

Мотор не садился на место, и механик приказал Бокареву:

— А ну-ка, старшина, попридержи!

— Еще не приступил к работе, — отрезал Бокарев. — Где командир?

— Какой тебе командир?

— Какой... Командир ПРБ.

— Капитан Стручков!

— Капитан Стручков.

— Я капитан Стручков.

Бокарев был опытный старшина. Он мог ошибиться, не распознав в механике командира подразделения, но распознать, разыгрывают его или нет, — тут он не ошибется. Его не разыгрывали.

— Докладывает старшина Бокарев. Прибыл из отдельной автороты 172-й стрелковой дивизии. Доставил пять машин в ремонт.

Он лихо приложил, потом отбросил руку от козырька фуражки.

Стручков насмешливо осмотрел Бокарева с головы до ног, усмехнулся его начищенным сапогам, его франтоватому виду.

— Очистите машины от грязи, чтобы блестели, как ваши сапоги блестят, ставьте под навес и приступайте к разборке.

— Понятно, товарищ капитан, будет исполнено! Позвольте обратиться с просьбой, товарищ капитан!

— Какая просьба?

— Товарищ капитан! Люди с передовой, с первого дня. Позвольте в город сходить, в баньке помыться, письма послать, купить кое-чего по мелочи. Завтра вернемся, отработаем, очень просят люди.

Все просятся в город. И лучше отпустить их сейчас, чем потом будут сами бегать. Раньше, чем через два дня, их машины все равно не пойдут в ремонт — очередь. А уж тогда он с этого фронта потребует работу.

— Идите! Завтра к вечеру быть здесь. Опоздание — самоволка.

Теперь они шли по полевой дороге. Впереди — Бокарев с Вакулиным, за ними — Краюшкин, Лыков и Огородников. Над ними хмурое, осеннее небо, вокруг неубранные поля.

— Какие хлеба богатые погибают, — вздохнул Краюшкин.

— Сентябрь, — подхватил Лыков, — в сентябре свадьбы гуляют.

— Жених нашелся! — усмехнулся Огородников.

— А чего ж, — примирительно сказал Краюшкин, — он еще парень молодой, может жениться. Хочешь жениться, Лыков?

— Да я уж три года, как женат.

— И молодец! — одобрил Краюшкин. — Рано жениться — детей вовремя вырастить. Сейчас ребята у меня большие, один в ремесленном, другой в школе. А вспоминаю я их маленькими. Спать их, бывало, уложишь, а они все не уgomонятся, головки с подушек поднимают, как ежики. Младший, Валерик, добрый, жалостливый, кошек, собак любит, кроликами интересуется. Какой где птенчик из гнезда выпал, обратно положит. Доктором будет.

— Дети — цветы жизни, — глубокомысленно изрек Лыков. — Максим Горький сказал. Сейчас, конечно, трудно — война, да ведь на то они и дети, в любом климате акклиматизируются, приспосабливается детский организм.

— К голоду не приспособишься, — желчно заметил Огородников.

— Извините, что перебиваю вас, — опять обратился Лыков к Краюшкину, хотя вовсе не перебивал его, — но детям надо давать самостоятельность. В какой-то книжке я читал, видный ученый написал, профессор...

— Лыков! — перебил его Огородников. — А у тебя дети-то есть!

— Не пришлось обзавестись.

— А рассуждаешь, боронишь, как борона.

— Нет, — возразил Лыков, — я хоть в этом деле не специалист, но скажу...

Огородников опять перебил его:

— Чтобы детей иметь, специальность не требуется. У меня их четверо, без университетов сработал.

Краюшкин аккуратно прислонил окурок, спрятал его за отворот пилотки, рассудительно заключил:

— Да, трудно с детьми и без детей худо. Я и на Кузнецком работал и в Магнитогорске, бросало во все стороны. Бараки, особенно не разгуляешься, тем более с детьми.

— Выходит, вы заслуженный человек, товарищ

Краюшкин, — восхитился Лыков, — все пятилетки объездили.

— Довелось, — подтвердил Краюшкин. — Представляли меня к медали «За трудовое отличие», да затерялись где-то бумаги. Все думали: получит Краюшкин медаль, а он не получил. Смеху было...

— На фронте получите, — утешил его Лыков, — теперь, как вперед пойдем, их много будут раздавать, мне один лейтенант говорил.

— Получишь свинцовую медальку в грудь, — проворчал Огородников.

Некоторое время они шли молча, потом Лыков сказал:

— Сейчас бы неплохо буханочкой в зубах поковырять.

— Не мешало бы, — согласился Краюшкин, — сесть на пенек да съесть пирожок.

В лесу послышался треск, шорох, опять треск, и все стихло.

Солдаты остановились, прислушались.

Лес стоял неподвижно под низкими, тоскливыми, серыми облаками.

— Пошли! — сказал Бокарев.

И вдруг небольшой конусообразный предмет, похожий на гранату, вылетел из леса и упал к ногам Вакулина.

— Залечь! — крикнул Бокарев.

Они упали там, где стояли.

Граната лежала прямо против Вакулина, но не взрывалась. Он открыл глаза и со страхом посмотрел на нее, потом чуть подался вперед — перед ним лежала большая коричневая шишка.

Он встал, поднял шишку. Солдаты тоже встали.

Вакулин сделал несколько шагов к лесу. На дереве, свесив босые ноги, сидела девчонка лет семнадцати и улыбалась.

— Ты что, дура, делаешь, — сказал Вакулин, — а если бы я тебя, дуреха, пристрелил!!

— Вояка, шишки испугался, — рассмеялась девчонка, дерзко глядя в глаза Вакулину, видно, ей понравился этот молоденький хорошенький солдатик.

— Не у места такие шутки, девушка, — сварливо заметил Огородников.

Краюшкин добродушно качнул головой:

— Шустрая.

Снова раздался треск — коза с большим выменем и грязной, свалявшейся под брюхом шерстью обдирала кору с деревьев.

— Ты откуда! — строго спросил старшина Бокарев девчонку.

— А вон из Федоровки, из деревни...

Она мотнула головой в сторону поля.

— У вас в деревне все девки такие веселые! — спросил Лыков.

— Для кого веселые, для кого нет, — бойко ответила девчонка, поглядывая на Вакулина.

— Музыкальные инструменты есть, баян, например?

— Есть! Четыре патефона и одна пластинка.

— А звать тебя как?

— Нюра.

— Товарищ старшина, — предложил Лыков, — чем в город тащиться, переночуем в деревне.

— Непорядок, — возразил Огородников, — отпросились в город, надо идти в город.

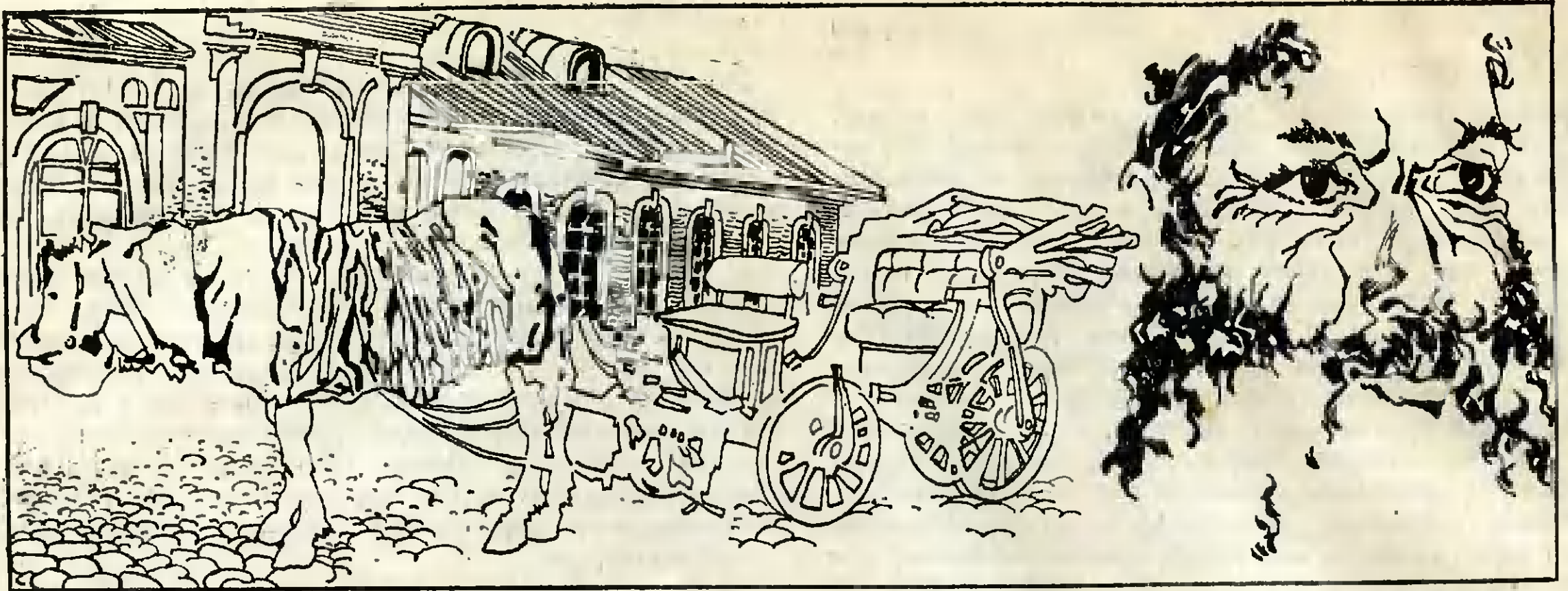
Возражение Огородникова и решило дело.

Бокарев хмуро посмотрел на него, перевел взгляд на девчонку:

— Зачем на дерево взобралась?

— Козы боюсь, бодается, — засмеялась она.

— Рядовой Огородников, — распорядился Бокарев, — отвязать козу и препроводить в населенный пункт.



Почему именно я должен ходить по домам и спрашивать, чей покойник на дороге? Могли послать того же Юру на машине с запиской в военкомат. Хозяина могилы все равно не найдешь, нет никакого хозяина, все заросло травой. Воронов нарочно дал мне такое нелепое поручение: повозись, мол, брат, походи, здесь на трассе ты особенно не требуешься. И стыдно перед дедушкой: сразу поймет, на каком я тут положении, — мальчик.

Но дедушка отнесся к этому делу нормально.

Он сидел против меня, смотрел, как я рубаю творог со сметаной со здоровенным кусищем хлеба, морщинки собрались в уголках его глаз, он улыбался моему молодому, здоровому аппетиту. Мне нравится такая старость — мудрая, умиротворенная; человек не суетится, мало думает о себе, а больше о других, спокоен и доброжелателен. И, наоборот, очень не нравятся нервные, раздражительные, беспокойные старики.

— Солдатских могил тут много, — сказал дедушка. — В сорок втором немцы прорвались на юг, на Сталинград и на Кавказ. Бои были тяжелые. Какие могилы раскопали, перенесли в братские, обелиски поставили, видел, наверно. А эта могила, значит, осталась. И хозяин, видно, был — по штакетнику можно судить, кто их в войну ставил, эти штакетники! Кто-то ухаживал, только, может быть, умер уже. Ладно, не горюй, я похожу, поспрашиваю.

Получилось как в сказке: дедушка ушел порасспрашивать, а я лег спать. Проснулся, когда было уже совсем темно. В окне виднелись огни соседних домов, было слышно, как дедушка возится на кухне, с кем-то разговаривает.

Я не стал прислушиваться, мне были неинтересны люди, посещавшие дедушку, такие же пенсионеры, как и он, старики и старухи. Он знакомил меня с ними, представлял их важными, значительными, даже выдающимися людьми. Тот — генерал в отставке, чуть ли не принимал капитуляцию Германии, другой — бывший директор завода, конечно, самого большого в СССР, эта старая большевичка чуть ли не с самим Лениным работала. Но эти выдающиеся знаменитости обсуждали что-то мелкое, житейское, незначительное, свои заботы, хвори, неудачи. Все это обсуждалось у дедушки, после чего дедушка надевал свою фуражку и отправлялся по учреждениям, ходил, хлопотал, устраивал больных в больницу, детишек в ясли и детские дома, добивался пересмотра дела в суде, всяких там переселений и улучшений бытовых условий, хотя сам был не моложе своих просителей, даже старше, но был здоров, не признавал врачей, от всех болезней сам употреблял и другим рекомендовал гнилые яблоки.

Я встал, включил свет, побегал на месте, разминаясь.

Между тем дедушка проводил своего посетителя и вошел в комнату.

— Отоспался? Нет? Поужинай и снова ложись. Гречневую кашу как предпочитаешь? С молоком, с маслом?

Я предпочел и с молоком и с маслом.

Пока я уминал кашу, дедушка рассказывал:

— Есть такие сведения, будто на могилу при дороге ходила женщина, Смирнова Софья Павловна, живет на улице Щорса, дом десять, это новые наши дома. Думал я к ней зайти, да неловко через третьи руки. Сам поговоришь — отчитаешься перед начальством.

Я посмотрел на часы — половина десятого.

— Сейчас, пожалуй, поздно.

— Поздно, — согласился дедушка. — Завтра с утра сходи.

Утром я не слишком торопился: рабочий день пропал, на трассу я уже не поеду. Пришел я в новые панельные дома часам к двенадцати. Они выглядели довольно нелепо среди огородов и старых дровяных сараев. Дети играли на деревянных мостках, сушилось белье.

И маленькая квартирka, в которую я попал, тоже производила впечатление деревенского быта, втиснутого в городской дом. На полах цветастые дорожки, на кухне на нитках сушатся грибы, ведра на скамейке прикрыты плавающими в воде круглыми деревянными крышками, пахнет капустой и солеными огурцами, в комнате громадный сундук, окоченный железом. И как единственный знак современности — громадный телевизор марки «Рубин» старого выпуска.

Перед телевизором сидела старая, грузная женщина, с толстыми, отекавшими ногами. Она вопросительно посмотрела на меня. Я объяснил ей причину своего прихода.

— Ходили мы с подругами на могилу, — ответила Софья Павловна, — и в войну и после войны ходили, потом померли подруги мои, осталась я одна, тоже ходила, а теперь совсем больна стала, не двигаются ноги, в магазин сходить и то проблема.

И снова воззрилась на телевизор. На экране элегантные молодые люди и девушки показывали танцевальные фигуры, их комментировал еще более элегантный инструктор: «Дамы делают полуоборот направо, кавалеры — полуоборот налево...»

— В безвозвратно прошедшие годы, — вздохнула Софья Павловна, — была я большая любительница до танцев, обожала танцы, вальс, краковяк и падепань. Призы брала.

— А фокстрот, чарльстон, шейк? — поинтересовался я.

— Все как есть танцевала, — ответила Софья Павловна, — курсов не кончала, да и не было в мое время ни курсов, ни телевизора, телевизор еще не изобретен был, а я лишь посмотрю, как люди танцуют, и весь танец понимаю.

«Может быть, и правда в ней погибла великая исполнительница модных танцев», — подумал я.

Сверху послышался топот ног.

— Кругом люди, — продолжала Софья Павловна, — а я одна. Ночью во всех углах трещит, а что трещит, не пойму.

— Сверчок, — предположил я.

— О сверчке я даже мечтаю. Не знаю только, как достать, — ответила старуха, глядя на меня как будто с надеждой: нет ли у меня сверчка.

Это выглядело смешно и грустно.

— А как фамилия этого солдата, кто он такой? — спросил я.

— И, милый!.. Кабы знала я его фамилию. Нету у него фамилии. Знаем только: закидал гранатами немецкий штаб, разгромил вчистую.

Я с удивлением посмотрел на нее: такой героический поступок не мог остаться неизвестным, а вот никто, кроме нее, о нем не знает. Выдумывает, наверно, как выдумывает, что танцевала шейк, которого тогда и в помине не было. О сверчке мечтает.

— Пригнали нас ночью, — продолжала между тем Софья Павловна, — он ничком лежал, выкопали мы яму, они его туда и спихнули. Мужчина был представительный, высокий — яму длинную копали... Ходили мы с подругами, и одна я ходила, а теперь душа болит: лежит один в чистом поле, а что делать? Найдутся, думаю, добрые люди, доглядят. Школьники вот... Какие вещи после него остались, все им передала.

Она тяжело поднялась, подошла к окну, выглянула в него, крикнула:

— Дора Степановна, а Дора Степановна!.. Наташка твоя дома? Пусть зайдет, скажи.— Она вернулась, тяжело опустилась на стул.— Вот Наташка тебе все и покажет, ей все отдала.

Разговор с какой-то Наташкой совсем не входил в мои планы. Нет фамилии, нет документов, и фактически нет хозяина могилы — так и доложу Воронову.

— Нет, зачем, — сказал я, вставая, — мне ведь только узнать надо было насчет могилы. Мы ее перенесем на другое место.

— А ты поинтересуйся, — сказала Софья Павловна, — может, школьники узнали его фамилию. У них ноги молодые. А я что? Ходила тут к одному, к Михееву, сады богатые держит, у него в войну солдат наш раненый от немцев прятался. Ходила к Агаповым — у них тоже был наш солдат. Никто ничего не знает — были солдаты и ушли. А больше и ходить не к кому было.

Я досадовал на старуху. Зачем мне школьники? Но уходить было неудобно, и я сидел и ждал, когда явится эта Наташа.

А старуха все смотрела на телевизор, танцы сменились передачей для детей, а она все смотрела.

Наконец дверь открылась, и появилась Наташа.

Честное слово, никогда не думал, что в Корюкове, да еще в этих панельных домах, есть такие девочки!

И вот мы с Наташей идем по пустой школе, шаги наши гулко отдаются в пустом коридоре, справа — громадные окна, в их стекла бьет яркий солнечный свет, слева — закрытые двери классов; чудится, будто там идут уроки, хотя знаешь, что никаких уроков там нет.

Мы спустились по короткой боковой лестнице и очутились перед дверью, на которой было написано: «Штаб рейда «Дорогой славы отцов». В моей школе не было такого штаба и не было такого рейда, я знал об их существовании, но видел впервые.

На стендах лежали старые солдатские каски, пилотки, гильзы, винтовки без затворов, с зарубками на прикладе — видно, отмечал снайпер, сколько немцев убил из нее.

На стенах висели увеличенные портреты воинов — суровые лики войны.

Я сказал Наташе:

— Если бы даже на них не было гимнастерок, я бы сразу определил, что это солдаты Отечественной войны. Эпоха накладывает на лица свой отпечаток.

Не знаю, дошел ли до нее внутренний смысл моих слов. Наверно, не дошел, слишком серьезно она мне ответила:

— Эти солдаты погибли в наших местах. Мы разыскивали их родственников.

Конечно, дело это нужное и полезное, но меня не убедишь, что действительно, есть энтузиасты рыть могилы, переносить останки, разыскивать родных, которые и без того знают, что их близкие погибли. Да и какие родственники сейчас, через тридцать лет? Отцы и матери умерли, дети забыли, внуки в глаза не видели.

Но Наташа мне понравилась, и я сочувственно заметил:

— Это было, наверно, чертовски трудно?

— Это было сложно, — ответила она.

У нее было гладкое лицо и серые пристальные глаза, стройная, смуглая спортивная девчонка. Она мне сразу понравилась, хотя я и сразу понял, что совершенно ей безразличен, интерес у нее не возник, а когда интерес не обоеден, тогда мертвое дело.

Она рылась в большом книжном шкафу.

— Ты в каком классе — в девятом, в десятом?

Она ничего не ответила. Ей не нравятся мои вопросы? Почувствовала мой интерес? А что в нем предосудительного? Я знаю этих серьезных, замкнутых девчонок, это гроб с музыкой... И все же именно в таких девчонок я всегда врезываюсь. Их замкнутость, что ли, меня интригует? И чем бесперспективней, тем больше стараюсь. Мистика какая-то!

Она достала из шкафа сверток.

— Вот пакет Софьи Павловны. Здесь нет ни фамилии солдата, ни документов. Мы отложили розыск до осени.

Она развернула пакет и выложила его содержимое на стол: фотография, старая промокашка, кисет с вышитой на нем буквой «К», самодельная зажигалка из патрона, маленький картонный квадратик из детского лото с изображением утки.

Фотография была разорвана на четыре части, потом склеена. Пять солдат сидели на поваленном дереве на фоне леса. В середине бравый, щеголеватый старшина со значком на груди, с медалью, с широким командирским ремнем и портупеей через плечо. Справа от него два молодых солдата, слева — два пожилых.

Я перевернул фотографию. Там было написано: «Будем помнить ПРБ-96».

— Что за ПРБ-96?

— Название ремонтной части, их уже давно не существует, — ответила Наташа, — и найти их невозможно. Когда часть строевая — полк, дивизия, — тогда легче. И потом, на карточке пять солдат — кто из них в могиле, неизвестно.

Она говорила в воздух, будто я не живой человек, а казенная единица, пришедшая посмотреть казенное дело.

— Слушай, — сказал я, — у вас тут, кажется, есть танцплощадка.

— Есть, — она насмешливо посмотрела на меня, — могут и тебя пустить, если подстрижешься.

— Дело идет к зиме — утепляюсь.

— А дорога, это что — романтика?

Итак, прояснялось ее мнение обо мне.

— Тут ты угадала — муза дальних странствий.

Я говорил и держался развязно. Это тоже какая-то мистика! С девчонками, с которыми нужно держаться развязно, я держусь серьезно. И наоборот: с кем нужно говорить серьезно, говорю развязно. Чувствую, что все порчу, а иначе держаться не могу. Я всегда стараюсь укрепить первое впечатление о себе, даже если это впечатление для меня невыгодно. Возможно, у меня какое-то психическое нарушение — делать все во вред себе!

— Кстати, дай мне эту фотографию, — сказал я.

— Зачем?

— Должен же я отчитаться перед начальством, а то скажут: не ходил. Я лицо должностное.

— Только верни, — после некоторого колебания ответила она.

— А как же, завтра же! Ты где живешь? Дом я знаю, а квартира?

Она пожала плечами:

— Какая тебе разница? Принеси в школу, мне передадут.

Понятно... И все же я ее так не отпущу. Вижу, что дело гиблое, а не отпущу. Психи мы, психи!

— Так как, договорились? Идем на танцы? Завтра!

— Завтра нет танцев.
 — Послезавтра.
 — Послезавтра я буду у бабушки.
 — Послепослезавтра.
 — Опять нет танцев.
 — Ясно. А как насчет кино?
 — Я видела эту картину.
 — Какую?
 Она засмеялась:
 — Видела...
 — Да, слушай, Софья Павловна сказала: про солдата знают ваши местные жители — Михеев и Агатовы. Известны тебе такие?
 — Известны.
 — Сходим, узнаем, найдем этого солдата.
 — Курьеры, курьеры, тридцать тысяч курьеров.
 — Ты хочешь сказать, что это не так просто.
 — Да, приблизительно это я и хотела сказать.
 — А попытаться?
 — Попытайся.

Из школы я отправился на почту и дал телеграмму в Москву, в Центральный военный архив:

«Прошу сообщить где в сентябре 1942 года находился ПРБ-96 жив ли кто-нибудь из его командиров их адреса».

Обратный адрес я указал: Корюков, Дорожно-строительный участок, мне. Так запрос выглядел солиднее.

Квитанцию я скрепкой прикрепил к фотографии и снова, на этот раз внимательно, рассмотрел ее. Солдаты сидели на поваленном дереве. У старшины через плечо висела полевая сумка, на левой стороне груди медаль, какая, не разберешь, а на правой — значок, по форме напоминающий гвардейский.

В

Вагончики и навес-столовая были ярко освещены, уютно тарахтела электростанция. Тишина, покой, отдых после тяжелого трудового дня.

Рабочие обедали за столами, сколоченными из толстых обтесанных досок с врытыми в землю крестовинами.

Мои соседи по вагончику — бульдозерист Андрей, тот самый, что наткнулся на могилу, и шофер Юра, подвозивший меня в город, помахали мне. Я подсел к их столику. С ними сидела нормировщица Люда. Как я понял, у нее с Юрой любовь.

— Чего узнал? — спросил Юра.

Так как все равно придется докладывать Воронову, то я счел лишним рассказывать об этом сейчас.

— Справки по ноль девять.

— Во дает! — восхитился моим ответом Андрей.

Из кармана своей куртки он вытащил пол-литра, разлил по стаканам. Люда мизинцем провела по самому донышку, показала, сколько ей налить. На ней был немыслимо короткий плащ с погончиками, такой мини-плащ. Странно, что такая модная девочка работает на строительстве дороги и живет в вагончике. Может быть, из-за Юры?

Водку я не люблю, но выпить пришлось. Как объявил Андрей, мы выпиваем в честь моего переезда в вагончик. Сегодня они, старожилы, угощают меня, завтра я, новосел, угощу их — таков обычай. Так объяснил Андрей.

За соседними столами тоже ужинали, шумели, галдели. Но Андрей, Юра и Люда держались особняком, сидели с видом людей, которые обо всем

уже переговорили, молча понимают друг друга, сознают свою значительность. В коллективе каждый создает себе положение как сумеет, и вот эти решили создать себе положение, держась независимо и значительно.

Мимо нас прошел инженер Виктор Борисович, пожилой, интеллигентный человек, окинул наш стол внешне безразличным, а на самом деле зорким взглядом.

— Присаживайтесь, Виктор Борисович, — пригласил его Андрей, придвигая табуретку.

Виктор Борисович присел чуть в стороне, оперся на палку, не то сидел с нами, не то сам по себе.

Ужин кончился, рабочие расходились. Официантка Ирина с подносом в руках собирала со столов посуду.

— Ириночка, прелесть моя, — заворковал Виктор Борисович, целуя ей руку, — какая ручка, какое чудо!.. Радость моя, попросите на кухне немного льда и томатный сок.

— Ладно, — недовольно проговорила Ирина и пошла дальше, собирая на поднос посуду. У нее были довольно правильные, даже тонкие черты лица, испорченные, однако, выражением недовольства.

— Только в глуши попадаются такие иконописные лица. И имя византийское — Ирина, — сказал Виктор Борисович.

— Византия — Константинополь — Стамбул, — небрежно проронил Юра, показывая свою образованность.

— Ирина — жена византийского императора Льва IV, красавица, умница, — Виктор Борисович налил себе водки, бросил в стакан лед, добавил томатного сока, — управляла государством вместо своего сына Константина, которого свергла с престола и ослепила.

Ребята с интересом слушали этого пожилого, видно, образованного, застольного красноречивого.

— Какие женщины были! — заметил Юра.

— То есть! — многозначительно произнесла Люда.

Это выражение обозначало у нее высшую степень согласия.

— Сына ослепила! — возмутился Андрей. — Ее надо было посадить на кол, четвертовать, колесовать, расстрелять и повесить.

— Боже, какой кровожадный! — с деланным ужасом проговорила Люда.

Виктор Борисович продолжал:

— Не только не повесили, дорогой мой друг Андрей. А, наоборот, была она высоко отмечена церковью за преследование иконоборцев, то есть тех, кто боролся с культом икон.

— И правильно преследовала, — заметила Люда, — сейчас иконы ценятся.

— Иконы — это другое, — возразил Андрей, — это древность, история. Поронск отстраивают — тоже древность, история.

Виктор Борисович вдруг опустил голову и печально проговорил:

— Неизвестно еще, где она, настоящая история, возможно, в Поронске, а может быть, и еще где-то.

— В старину люди крупнее были, — объявил Юра, — кипели сильные страсти. Олег на лодках доходил до Цареграда.

— Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хозарам... — запел Андрей. У него был сильный низкий голос, а главное — могучая грудная клетка, он, наверно, мог бы заменить целый хор. — Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам...

Юра и Люда подхватили:

— Так громче, музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит...

И когда они прокричали это самое «бежит, бежит, бежит», в столовую вошел Воронов, окинул ее хмурым взглядом, подошел, сел за наш стол.

— Что, узнал?

Я положил перед ним фотографию и рассказал о Софье Павловне и о школе. О телеграмме, которую я дал в Москву, я, естественно, не сказал. О Наташе тоже.

Пока я рассказывал, фотография обошла всех и наконец задержалась у Виктора Борисовича: перед тем как рассмотреть ее, он долго дрожащими руками искал по карманам очки.

— Ясно, — сказал Воронов, — тетку нашли, а она ничего не знает. Фотография есть, а кто наш покойник — неизвестно.

— Про то и разговор, — поддакнул я, намекая, что дело требует дальнейшего расследования: мне очень хотелось опять повидать Наташу.

Виктор Борисович наконец водрузил очки на нос и, рассматривая фотографию, сказал:

— Старшина — красавец, как вы считаете, Люда?

— То есть! — ответила Люда.

Как мне показалось, с некоторым оттенком ревности Воронов заметил:

— Для нашей Люды один красавец — Юра. Он для нее Собинов плюс Шаляпин.

— Вас я тоже считаю красавцем, — парировала Люда.

— Спасибо! — поблагодарил ее Воронов.

Виктор Борисович показал на самого пожилого солдата:

— А этот на тебя похож, Сережа, как будто твой отец или дед.

— У меня все предки живы, до четвертого колена, — соврал я, — наша семья славится долголетием. Железные нервы.

— Видали его! — сказал Воронов, обращаясь на этот раз ко всем за столом. — Какой долгожитель! Всё! Завтра переносим могилу. Твоя миссия окончена, Мафусаил!

Железобетонным голосом я возразил:

— Во-первых, я должен вернуть фотографию. Во-вторых, надо зайти к одному человеку по фамилии Михеев и к женщине по фамилии Агапова. При немцах у них были наши солдаты.

— Нет уж, — еще более железобетонным голосом ответил Воронов, — мы свое дело сделали. А остальным пусть занимаются школьники, военкомат — кому положено.

— Но я обещал прийти. Меня будут ждать. Люди!

— Видали его! — снова обратился Воронов к сидящим за столом. — То вовсе не хотел идти, а теперь бежит, не остановишь... А кто за тебя будет работать?

— Вы сами говорили: на мою квалификацию замена найдется, — напомнил я.

— Все помнит! — заметил Воронов.

Рабочие кончили ужинать, разошлись, столовая опустела, официантка Ирина подметала пол.

Виктор Борисович положил на стол фотографию, пробормотал:

— «Великий Цезарь, обращенный в тлен, пошел, быть может, на обмазку стен...»

— Шекспир, «Гамлет»! — заметил я.

— Знает! — насмешливо кивнул головой Воронов, хлебая борщ.

— Если солдат этот действительно разгромил немецкий штаб, тогда стоит поискать, — заметил Андрей.

— Прошлое обрastaет легендами, люди создают мифы, — пробормотал Виктор Борисович.

— Герой не герой, — сказал Юра, — а разыскать его невозможно. В войну погибли миллионы... Толь-

ко надо и о живых думать. А кому до нас дело? Сидим в поле.

— Переходи на такси. — Воронов отодвинул тарелку, встал. — Завтра переносим могилу. А ты, — это он обращался ко мне, — как-нибудь вечером на попутной машине отведи фотографию.

И вышел из столовой.

Официантка Ирина, с веником в руках и византийским выражением на лице, только этого и ждала:

— А ну, подымите копыта!

Есть теория, будто внимание приятно любой девушке, льстит ее самолюбию. Теория эта несостоятельна. При моем появлении на лице Наташи изобразилась досада: я был ей неинтересен, неприятен, может быть, даже противен.

Прав Пушкин: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Я нарушил завет великого поэта.

По двору она шла со мной, как сквозь строй, как на Голгофу.

Судачили женщины, мужчины под грибком забивали «козла», парни в подъезде своими взглядами дали мне понять, что если я еще раз появлюсь здесь с девчонкой с ихнего двора, то они самое малое оторвут мне голову.

Стараясь держаться возможно официальнее, я сказал Наташе, что могилу мы переносим, но должны получить на это разрешение вышестоящих инстанций, требуется знать, чья это могила. Таково правило, таков закон, которых мы не смеем нарушить, иначе остановится строительство дороги. А дорога должна быть закончена в твердые сроки, от этого зависит открытие международного туристического центра в Поронске. Туристический центр — это, между прочим, валюта; недобор валюты — подрыв государственного бюджета.

Так я ей все это расписал, так разукрасил, что она если и не смягчилась, то, во всяком случае, прониклась серьезностью задачи. И сам я, несомненно, вырос в ее глазах. С этого бы мне, дураку, и начинать тогда в школе, а я завел бодягу насчет танцев. Впрочем, возможно, все и к лучшему: ей теперь не может не быть стыдно за то, что ошибочно приняла меня за пошляка и циника.

Михеева, высокого, сухощавого старика, с садовым ножом на поясе и двустволкой в руках (он стрелял по галкам), мы застали в большом фруктовом саду. Зверски пахло яблоками. У ворот лежали кучи песка, торфа, навоза. На цепи рвалась и лаяла громадная овчарка.

— Скажите, пожалуйста, у вас в войну лежал наш раненый солдат? — спросила Наташа. Задавать такие вопросы было для нее делом привычным.

Михеев оперся на ружье, внимательно посмотрел на нас:

— Какой такой солдат?

— Наш советский, при немцах, — пояснила Наташа.

— Был у меня солдат, был, а как же, — охотно подтвердил Михеев.

— Вы его фамилии не помните?

— Как можно помнить того, чего не знал, — ответил Михеев, — чего не знал, того не знал. И не знаю. Я протянул ему фотографию:

— Есть он здесь?

Михеев надел очки:

— Зрение уже не то, да и времени прошло много, стираются детали в памяти человеческой.

Он поднял к глазам фотографию, долго рассматривал ее, потом посмотрел на меня, на Наташу, опять опустил глаза к фотографии и показал на самого молодого солдата:

— Вот этот.

На снимке, справа от старшины, сидели два молодых солдата, один совсем молоденький, беленький — на него и показал Михеев.

— Вот этот солдат и был у меня. Звали его Иваном. Фамилии не знал и не знаю. А зачем он вам нужен, солдат этот?

Я объяснил, что мы нашли могилу при дороге и вот выясняем личность солдата, поскольку никаких документов при нем, кроме этой фотографии, не было.

Михеев выслушал мои объяснения, потом сказал:

— Лежал он у меня раненный, а тут немцы вошли в город. Он не пожелал остаться: найдут, говорит, лучше в лес податься. Собрался, я его на тропку вывел, он ушел.

Я спросил, не слышал ли Михеев о нападении на немецкий штаб и не этот ли солдат совершил такой геройский поступок.

— Слышали мы про взрыв штаба, — ответил Михеев, — только не мог мой солдат этого сделать. Ушел он от меня в тот день, когда вошли немцы, а штаб взорвали на четвертый или на пятый день. К тому же был он серьезно ранен, и если сумел дойти до леса, то слава богу. — Он снова поднял к глазам фотографию и показал на старшину: — В третью или четвертую ночь приходил ко мне этот старшина, искал Ивана. Я ему все объяснил: нет, мол, Ивана. С тем старшина и ушел — видно, прятался в городе. И когда те взрывы произошли, я сразу подумал: его рук дело. Может быть, я ошибаюсь, только все мои предположения именно на него, на старшину.

Рассказ Михеева произвел впечатление достоверности, он говорил твердо, убежденно и доказательно. Я ни на минуту не сомневался в правде его слов, хотя сам Михеев казался мне малосимпатичным, сухим и рассказ его сухим, слишком деловым; таким же тоном он мог бы рассказать о пропавшей телеге. Ничто не дрогнуло в его лице, не шевельнулось в душе, не защемило сердце. Был парнишка, ушел: может, дошел до леса, может, нет; был старшина, пришел ночью, спросил, ушел, наверно, он взорвал штаб, а может, и не он.

По дороге к Агаповым я поделился этой мыслью с Наташей.

— Все реагируют по-разному, — ответила она, — он рассказал, что знал.

— Видимо, ты права, — согласился я, — мне не приходилось с этим сталкиваться, потому и показалось странным. Во всяком случае, его рассказ — это серьезное свидетельство: есть одно имя — Иван, Ваня, есть предположение, кто взорвал штаб — старшина. Теперь остается узнать его фамилию.

— Остается совершеннейший пустяк, — насмешливо проговорила Наташа. Она была в простом синем пальтишке, но выглядела, как богиня. Подул ветер, и она подняла воротник.

Нет контакта, хоть убей! Держу себя официально, делаем одно дело, и все равно — враждебность. Теперь она торопилась к Агаповым, чтобы отделаться от меня.

У Агаповых ее встретили, как знакомую, что, впрочем, понятно: в подобных городках все знают друг друга.

В отличие от Михеева, который ограничился хотя и содержательной, но сухой и короткой информацией, здесь разговор принял характер пресс-конференции. Мы даже сидели за круглым столом: Агапова-старшая — худенькая старушка с беспокойным

лицом, Агапова-младшая — интеллигентная молодая женщина, ее сын Вячеслав, или Слава, толстый молодой человек двадцати трех лет в очках, Наташа и я.

Таков был состав участников этой незабываемой встречи.

Рассмотрев фотографию, Агапова-старшая сказала:

— В войну у нас стояло много солдат. Разве можно всех запомнить?

Я пояснил:

— Речь идет о том дне, когда в город вошли немцы.

— Когда вошли немцы, это было в сентябре сорок второго года, у нас были два солдата. Эти или нет — не помню. Немцы всех нас выселили с улицы и разместили на ней свой штаб. А солдаты наши, как увидели, что в город вошли немцы, исчезли.

— Исчезли? — переспросил я.

— Исчезли, — подтвердила старушка, — я не успела оглянуться, как они исчезли. Растаяли в воздухе.

— Мистика! — сказал я. — А вы не слышали про солдата, который разгромил немецкий штаб?

— Слышала краем уха... Но немцы его убили, кажется.

— Мог это быть один из ваших двух солдат?

Она пожала худенькими плечиками:

— Мог и быть, мог и не быть, я этого не знаю.

И тут вмешался молчавший все время Слава:

— А почему я ничего не знаю об этой истории?

В семье Агаповых мне все понравились, кроме вот этого самого Славы. Он мне сразу не понравился. Молодой очкарик, к тому же толстый, обычно ассоциируется с каким-нибудь добродушным увальнем вроде Пьера Безухова. А если очкарик худой, то с каким-нибудь болезненным хлюпиком типа... Не приходит на память тип... Во всяком случае, очки, свидетельствуя о каком-то изъяне, о физическом недостатке, придают их обладателям обаяние человечности, некоей беспомощности, я не мог бы себе представить, скажем, Гитлера, Геринга или Муссолини в очках. Но если в очках хам, то он из всех хамов хам, из всех нахалов нахал, я в этом много раз убеждался. У таких очки подчеркивают их хищную настороженность, их скрытое за стеклами коварство.

Вот таким очкариком и был Слава. И он спросил довольно капризно и недовольно:

— А почему я ничего не знаю об этой истории? Бабушка развела руками:

— Война была, стояли солдаты, ушли, ничего такого особенного.

— Как же ничего особенного — штаб разгромил, — возразил Слава.

— Я ведь не видела, кто разгромил штаб.

Бабушка не так проста, дает сдачи нахальному внуку.

Тогда внук обратился ко мне:

— Для чего вы ведете розыск?

Я коротко его проинформировал.

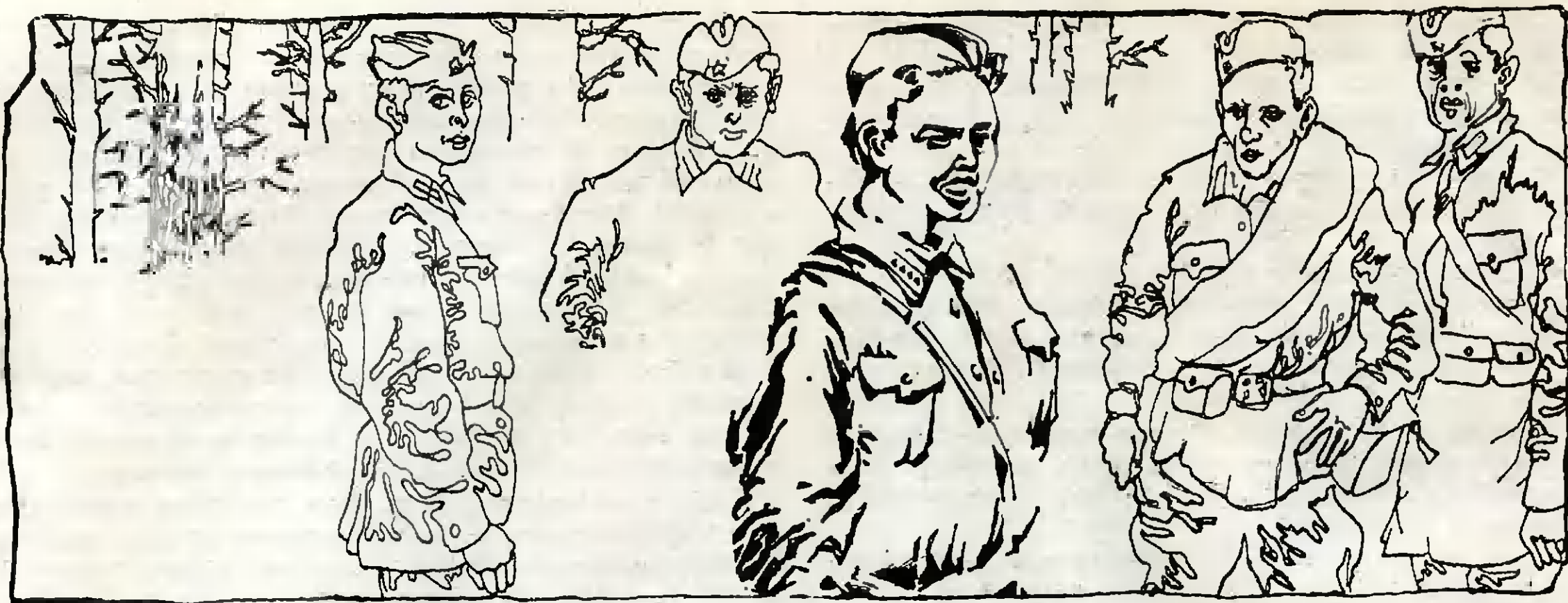
— Значит, вы с дороги, у Воронова работаете. Понятно...

Есть такие люди: упомяни при них какое-нибудь учреждение — они тут же назовут фамилию его начальника и произнесут эту фамилию так, будто этот начальник не то их ближайший приятель, не то даже их подчиненный. Вот такой человек был Слава.

— Да, кажется, фамилия нашего начальника, Воронов, — небрежно подтвердил я.

— А я думал, ты из школы, — уж совсем пренебрежительно и притом «тыкая» объявил Слава.

— Нет, — возразил я. — Мы на практике, с четвертого курса автодорожного института.



— Сколько же вам лет, когда вы успели? — удивилась Агапова-бабушка.

— Меня приняли в институт досрочно, как особо одаренного дипломанта всесоюзного математического конкурса.

— Строите дорогу, — сказала Агапова-мать, — неужели нельзя было заасфальтировать хотя бы главную улицу?

— А зачем? Сносить будут ваш город.

Все ошеломленно уставились на меня, даже индифферентная Наташа. Но меня понесло, меня раздражал этот напыщенный, самоуверенный Слава, его очки, их хищный блеск.

— Теперь установка на города-гиганты, — продолжал я, — а у вас ни промышленности, ни индустрии, ни легкой, ни тяжелой. Свет и тот выключают в одиннадцать часов. Юмор!

— Наш город, — сказала Агапова-мать, — древнее Москвы, здесь была крепость, защищала Русь от кочевников.

Она сказала это с таким достоинством и такой обидой за свой город, что мне сделалось стыдно за то, что я топчу этот безобидный Корюков.

— Мама, не беспокойся, — иронически заметил Слава, хищно косясь на меня своими очками, — молодой человек фантазирует.

Мне тоже надоела эта бодяга, и я опять обратился к Агаповой-бабушке:

— Может быть, все же вспомните, кто из этих солдат был у вас?

Она снова рассмотрела фото, развела руками:

— Нет, не могу вспомнить.

Агапова-мать взяла фотографию:

— Дай-ка я посмотрю.

Она тоже долго смотрела фотографию, потом показала на старшину:

— По-моему, этот. Второго не помню, а этот был.

— Тебе тогда было двенадцать лет, — напомнила бабушка.

— И все равно помню. Такой был молодой, красивый. Он тогда у меня промокашку попросил.

Я привстал.

— Промокашку?!

— Да. Я тогда делала уроки, и он или его товарищ, в общем, кто-то из них попросил у меня промокашку, и я дала.

— Почему вас так поразила промокашка? — спросил Слава.

Вместо меня ответила Наташа:

— Среди вещей солдата есть промокашка.

Это были первые и последние слова, произнесенные ею за весь вечер.

Наташа не позволила проводить себя, и я один побрел к дедушке.

Жаль, хорошая девчонка, но что поделаешь... Опаздываю. Все девчонки уже разобраны. Тем более хорошенькие.

Я шел по ночным, темным улочкам Корюкова, по узенькому-узенькому асфальтовому тротуару, недавно проложенному, пять лет назад тут были деревянные тротуары. Фонари не горели, только в редких окнах мелькал свет.

Есть что-то особенное в таком вот маленьком ночном городке, в спящих деревянных домишках, в этой темноте и безлюдности, какая-то таинственность и первозданность мира.

В этих домиках такой же темной ночью когда-то прятались наши солдаты, а потом вышли вот на эту улицу, к этой школе, там размещался немецкий

штаб, и гранатами разгромили его, и их убили, закопали в землю, и никто не знает их фамилий, никто не знал бы даже об их могиле, если бы бульдозер Андрея случайно не наткнулся на нее. И у меня в кармане фотография, на ней хорошенький, беленький солдатик Ваня: тяжело раненный, он ушел из дома Михеева, и его, может быть, застрелили немцы. И brave старшина, полный сил и жизни, крадучись шел такой вот ночью, чтобы узнать о своем раненом товарище, и не нашел его, а потом шел по этой улице и разгромил немецкий штаб.

Все это совершалось здесь, на этих тихих, мирных, спящих улицах, драма войны, не оставившая следов, кроме могилы Неизвестного солдата, а может быть, и других таких, никому не ведомых могил.

Будь я помоложе, будь мне лет этак двенадцать или четырнадцать, я бы не отступил от этой истории, в том возрасте такие розыски очень увлекают. В третьем или четвертом классе мы нашли во дворе кусок надгробной плиты со стертой надписью о том, что здесь захоронен какой-то мещанин, и занимались этой плитой чуть ли не весь год. А здесь действительно история героическая, быть может, трагическая, еще живы свидетели: Михеев, Агаповы, Софья Павловна. И есть промокашка. Да, при желании можно узнать. Если школьные следопыты проявят настойчивость, то могут установить имя Неизвестного солдата.

Дедушка дожидался меня, отложил книгу, снял очки.

— Ужинать будешь?

— Так, что-нибудь.

— Борщ тебе подогрею, мясо в борще.

— Давай борщ, давай мясо.

За ужином я рассказал дедушке о Михееве и об Агаповых.

— Я хорошо знал самого Агапова, — сказал дедушка, — вместе служили на конзаводе, то мой Изумруд первым придет, то его Планета. И в армии вместе служили, и погиб он геройски. Настоящий был конник, рубака, таких теперь нет. И семья образованная, интеллигентная, дочка библиотекой заведует. Видел дочку?

— Видел.

— А зятя?

— Нет.

— Зять — директор педучилища. Много для города делает. Сейчас добивается, чтобы к нам из Поронска перевели пединститут. Поронск теперь город туристский, зачем ему пединститут?

Я согласился, что пединститут действительно целесообразно перевести из Поронска в Корюков.

— А сын их — Вячеслав, видел его?

— Видел, видел.

— Историк, большой специалист по старине. Печатается.

— Карамзин!

— Парень одаренный — стихи, рассказы пишет.

— Державин!

Я уже говорил, что дедушке люди представлялись очень значительными, о каждом он отзывался с большим почтением, в самых превосходных степенях. Значительными представлялись ему и Агаповы. О Михееве он, правда, отзывался несколько сдержаннее, но тоже в общем благожелательно, как о крупном садоводе-мичуринце. Такое благодушие мало шло к дедушкиной цыганской, даже несколько разбойничьей физиономии.

Рассматривая фотографию солдат, дедушка сказал:

— Молодые ребята, им бы жить и жить... Вот

так-то вот молодых война косит. Меня, старого, война пощадила, а их нет.— Он показал на стену, где висели портреты моих дядей.— Пришло матери извещение: погибли в боях,—а где их могилы, не знаю. Все бы отдал, чтобы узнать.

Дедушка сказал это просто, как все, что говорил. Но у меня перехватило горло. Я никогда не интересовался, где похоронены мои дяди: погибли на войне — вот все, что я о них знал. И никто не говорил мне, что их могилы неизвестны.

— Да,—вздыхнул дедушка.—Конечно, трудно найти солдата. А все же каждый кому-то дорог, особенно матерям. Помнишь, у Некрасова?

Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости, и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве.
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

Дедушка прочитал эти стихи по-старинному, «с выражением» и с «чувством». Но, честное слово, это было очень трогательно.

II

Деревня была пуста, точно вымерла. Оценивающим взглядом Бокарев обвел два ряда покосившихся избенок, вытянувшихся по обе стороны широкой, поросшей желтеющей травой, бугристой улицы. В середине ее колодец одиноко вздымал к нему свой длинный журавль.

— Вакулин, Краюшкин! — приказал Бокарев. — Разместите людей!

— Не так дом ищите, как хозяйку, — добавил Лыков.

Бокарев повернулся к Нюре:

— Какое тут у вас начальство? Кто председатель?

— Председателя у нас нет, — бойко ответила Нюра, — Клавдия у нас за бригадира. Я за ней слегаю.

— Одна нога здесь, другая там, — поторопил ее Бокарев.

Нюра привязала козу к плетню и исчезла.

Солдаты присели у колодца.

Краюшкин почесал щеку, заросшую рыжей щетиной.

— Побриться бы надо.

— И так красивый, — усмехнулся Огородников.

— Был бы еще красивее, — добродушно возразил Краюшкин.

— Не твоим мощам чудеса творить, — желчно заключил Огородников.

Лыков покачал головой:

— Все тебе не так, Огородников! Людей не любишь.

— А за что тебя любить? За длинный язык! Притащил нас сюда... Зачем!!

— Не я притащил, старшина приказал, — возразил Лыков, рассчитывая, что Бокарев осадит Огородникова.

Но Бокарев молчал, он и не слушал их разговор. В его солдатской жизни редко выпадали вот такие дни. На срочной и на сверхсрочной были увольнительные в город, были знакомые женщины. Но вот уже больше года, с первого дня войны, не было у него знакомых женщин. И ожидание встречи волновало. Пустынный вид деревни его не беспокоил. Он сам из деревни, из далекого приангарского села, днем там также мертво и пусто, днем деревня —

в поле, в лесу, на реке, на огородах. Тем более сейчас, без мужиков, хватает женщинам работы. И правильно, что не пошли в город. Пришли бы к вечеру, знакомства там сложные, долгие, придешь и уйдешь ни с чем. Его предположения оказались правильными. Набежали ребятишки, мальчишки и девчонки, выполз старик в валенках и полушубке, пришли женщины, и наконец появилась Нюра, переодетая в сатиновое платье, с яркой косынкой на шее, в туфлях на босу ногу, и с ней бригадир Клавдия — миловидная женщина с пышной, еще стройной фигурой, в платке, под ним виднелись гладкие черные волосы, в жакете и в сапогах, плотно охватывающих ее сильные, полные икры, — Бокарев уже не мог оторвать от них глаз.

Он козырнул, молодецкато расправил плечи:

— Привет начальству!

— Здравствуйте, наши защитнички, — бойко ответила Клавдия.

— Такое, значит, дело, товарищ бригадир, — продолжал Бокарев, — есть предписание остановиться в вашем населенном пункте. Поживем день-другой, а хорошо примете, то и недельку. Рядом будем... — Он снял фуражку, движением головы откинул назад свои красивые русые волосы. — Многого нам не надо — постель.

— Постель, наверно, широкую потребуете, — засмеялась пожилая женщина, с высоко подоткнутой юбкой.

— Это уж как устроите, — в тон ей ответил Бокарев. — Еда у нас своя, а выпить не откажемся, если поднесете.

— Где ее достанешь, водку-то? — заметила та же пожилая женщина.

— А достанешь, вам же отдашь, чтобы до города довели, — добавила другая и подняла высоко руку: — Вот так с поллитрой и голосуешь.

Бокарев внушительно заметил:

— Гражданочка, среди военных шоферов калымщик — редкое и позорное явление.

— Нам не для кого водку держать, все мимо нас едут, никто не останавливается, никому мы не нужны. — На лице Клавдии блуждала загадочная улыбка: не то привлекает, не то сама развлекается болтовней.

Бокарев пристально посмотрел на нее, потом, показывая на небо, спросил:

— Немец часто летает?

— А вы его боитесь! — поддразнила его Клавдия.

— Мы немцев не боимся, мы женщин боимся.

— Чем это вас женщины так напугали?

— Ихнего коварства боимся, — заглядывая ей в глаза, ответил Бокарев.

— Старшина времени не теряет, — тихо проговорил Лыков.

— Дело молодое, — добродушно ответил Краюшкин.

— Итак, товарищ бригадир Клавдия, — продолжал Бокарев, — просьба разместить военнослужащих и затопить баньку: народ фронтовой, для солдата баня — второе удовольствие в жизни.

— А первое?

— Первое — с прекрасным полом побеседовать.

— Баньку можно затопить, — деловито сказала Клавдия, — только воду с реки таскаем, засорился колодец, грязь одна, — она тронула рукой сгнивший сруб, — подходить боимся. А мужиков в деревне всего один, — она показала на дремлющего на завалинке деда, — не можем мы последним мужиком рисковать.

Женщины засмеялись.

— Ты нашего деда не обижай, — сказала Нюра, поглядывая на Вакулина, — он у нас хороший.

Рисуясь перед Клавдией, Бокарев командирским голосом приказал:

— Вакулин и Огородников — очистить колодец от посторонних предметов, Краюшкин и Лыков — приготовить новые венцы! Гражданское население прошу доставить ведра, веревки, багры в нужном количестве.

Огородников сварливо проговорил:

— А чего венцы менять, крепкие еще.

Он нажал на верхние венцы сруба и чуть не обрушился с ними в колодец.

— Много рассуждаете, рядовой Огородников! — прикрикнул Бокарев. — Выполняйте приказ: обеспечить население нормальной питьевой водой. Об исполнении доложить!

Изда пахла свежeweмытыми полами, той чистотой, когда в доме живет одинокая, хозяйственная, работающая молодая женщина. Это было совсем не то, что встречал Бокарев на танцуйках, на вечерах самодеятельности, которые устраивали для них шефы, не то, что попадалось ему во время коротких увольнительных в город, и не то, что видел он на фронте; девушки-регулирующие, санитарки, телефонистки, такие же военные, как он сам. Здесь было далекое, родное: молодая, здоровая женщина, только покультурней, чем девки и бабы в его далеком сибирском селе.

Клавдия сняла платок, ее черные смоляные волосы были разделены пробором, сняла жакет и осталась в кофточке, открывавшей за каемкой загара полную белую шею и руки, широкие, рабочие, но тоже белые и полные; от них пахло духовитым мылом, и этот запах мешался с запахом пота работающей женщины; эти запахи пьянили Бокарева.

Она сидела рядом с ним на лавке и смотрела, как он пьет молоко, закусывает его хлебом, разрезая его блестящим, остро заточенным финским ножом.

— Какой нож у вас страшный.

— На фронте без холодного оружия как без рук, — ответил Бокарев.

— Фрицев скоро прогоните!

— Точную дату назвать не могу, но думаю, что в будущем году войну закончим успешно. Сейчас на фронте положение слоеного пирога.

— Какого такого пирога? — удивилась Клавдия.

Бокарев, ударяя ребром ладони по столу, показал:

— Тут мы, тут фриц, опять мы, опять фриц. Вопрос в том, кто кого в котел возьмет. Все от вас зависит.

— От нас! — еще больше удивилась Клавдия.

— От того, как тыл будет сочувствовать фронту, — многозначительно произнес Бокарев, подвигаясь ближе к Клавдии.

Она опустила глаза, тронула медаль на его груди.

— «За отвагу»... А в чем отвага-то была?

— Все вам надо знать! — загадочно ответил Бокарев.

— Военная тайна, — засмеялась Клавдия.

— Вот именно. Могу рассказать только близкому человеку.

Она подняла голову, посмотрела ему в глаза серьезным, глубоким взглядом.

— Тебе сколько лет?

— Двадцать три.

— Молодой... — Она протянула руку, провела по его волосам, слегка потрепала их, — русоволосый... Любят тебя, наверно, девки...

Он попытался удержать ее руку.

— Любили когда-то. А вот сейчас не знаю: любят или нет.

Она вздохнула:

— Полюбят еще, молодые, красивые...

— Такую, как вы, мечталось встретить.

— Я старая, — вздохнула Клавдия, — тебе двадцать три, а мне тридцать.

— Самый возраст для женщины, — начал Бокарев...

Она кивнула на его полевую сумку.

— Сумка-то, наверно, письмами набита и фотографиями. Показал бы свою девушку.

— Какую девушку, нет у меня девушки. — Бокарев неожиданно для себя суетливо открыл планшет. — Письма у меня только от матери, мать у меня в Сибири живет, фотокарточка вот, снялись мы с командой.

На фотографии он был снят вместе с Вакулиным и Лыковым — справа, Краюшкиным и Огородниковым — слева.

— Военный фотокорреспондент снял. Ехал с нами, ночевали вместе, вот и снял. Всем по карточке на память раздал, известный фотокорреспондент, для «Правды» и «Известий» снимает. Могу оставить на память. Если взамен свою дадите.

— Фотографии у меня старые, я на них молодая, непохожая, — засмеялась Клавдия.

— Подарите, прошу убедительно.

— Подумаем, — сказала она, вставая, — пойдем, миленький, посмотрим, что у колодца.

Бокарев недовольно поморщился:

— О колодце не беспокойтесь. Все будет сделано согласно предписанию. В армии приказ командира — закон!

— Неудобно. — Клавдия натянула жакет, покрыла голову платком. — Люди работают, а мы сидим.

Краюшкин и Лыков сидели на обтесанных досках, перед крынкой молока и краюхой хлеба, закусывали, дожидаясь, когда Вакулин и Огородников кончат свою работу.

Зияло открытое отверстие колодца, вокруг в луже грязной воды валялись гнилые доски старого сруба, их растаскивали по дворам бабы и ребяташки.

Над колодцем с веревкой в руках стоял Огородников. Тут же на корточках, и опять босиком, сидела Нюра, заглядывала в колодец, держа в руках веревку, которой был обвязан Вакулин.

— Тащи! — слышался голос Вакулина.

Перебирая веревку, Огородников вытащил из колодца ведро, неловко перехватил его, немного воды выплеснулось обратно.

— Осторожнее, боров! — закричала Нюра. — Там человек.

— Брысь! — ответил Огородников.

Бокарев заглянул в ведро: вода была чистой, свежей. Все же он приказал:

— Еще одну пробу.

Огородников выплеснул воду, снова спустил ведро, Вакулин опять наполнил его.

Попробовав воду и причмокнув от удовольствия, Бокарев сказал Клавдии:

— Прошу произвести дегустацию.

Клавдия сдвинула платок со лба, наклонилась к ведру, отпила и согласилась, что вода хорошая — пить можно.

За ней и другие женщины, наклоняясь к ведру, пробовали воду и хвалили ее.

Лыков удовлетворенно сказал:

— Чистый аш два о!

— Аш два о по-ученому означает — чистый ли-

монад,— объяснил Бокарев,— попрошу местное население убрать территорию в смысле санитарии и гигиены. Завтра кладем сруб.

— Идите, ребята, парьтесь, затопили для вас баньку,— сказала женщина с подоткнутой юбкой,— а хотите, придем веничком постегаем.

— А Ваня там останется!! — закричала Нюра.

— Поднять наверх рядового Вакулина! — распорядился Бокарев.

Солдаты потащили веревку и подняли Вакулина. Он был в трусах, майке, сапогах и широкой соломенной шляпе, с которой капала грязь,— черный, как трубочист.

— Ах ты, Ванечка, бедненький,— жалобно проговорила Нюра.

— Вот на какие жертвы идет геройский советский солдат во имя тыла,— назидательно проговорил Бокарев.

И, наклонившись к Клавдии, тихо добавил:

— А вы, чуть что, отодвигаетесь...

12

А о квалификационной комиссии осталось пять дней.

Экзамена по правилам движения я не боялся — я их знал практически, сумею объяснить и теоретически, запомнил еще с того дня, когда получал любительские права.

Экзамена по вождению автомобиля я тоже не боялся, я и раньше ездил прилично, а здесь практиковался на Юрином самосвале. Мы жили с Юрой в одном вагончике, были соседи, а следовательно, приятели. Здесь так принято: живешь в одном вагончике, значит, приятель. А не ужился с соседями, переходишь из вагончика в вагончик — значит, склочник. Именно как соседу, а следовательно, приятелю, Юра давал мне руля, хотя был раздражителен и нетерпим в своих наставлениях: «Рвешь сцепление! Не газуй! Куда прешь — в кювет?! Глаза у тебя есть, видишь знак?!»

Несмотря на свою пижонскую внешность, на свои курточки с молниями и замшевые пиджаки, Юра считался одним из лучших водителей, даже одним из лучших рабочих участка — на Доске почета всегда торчала его фотография. Сам он говорил, что и дорога, и туристический центр, и Поронск ему до лампочки, лишь бы побольше заработать,—это, мол, и привело его сюда. Было только непонятно, зачем ему деньги, тратил он их безалаберно, всех угощал, ездил с Людой в Поронск, шикавал в ресторане, покупал транзисторы и портативные магнитофоны, а Люде кофточки. Он был тщеславен и такими фокусами утверждал себя в жизни. Я думаю, что и с Людой он завел роман из тщеславия — единственная на участке городская, стильная девушка. Ко мне он относился, как к козавке, но руль давал — подчинялся закону соседской солидарности. Я тоже не обращал на него особенного внимания — дает руля, и ладно! И сколько бы он ни орал при этом, я видел: езжу прилично.

Так что экзаменов я не боялся, боялся только вопросов по уходу за автомобилем.

Я обзавелся учебником и, читая его, имел предметное представление, о чем идет речь: автомобиль мы изучали в школе, и я проходил практику на автобазе. Но я не обладал техническим складом ума; своим воображением я усложнял простые вещи, механизмы казались мне более таинственными и непонятными, чем они были на самом деле; мне

казалось, что там есть еще что-то, чего нет в книге и чего я не знаю.

Я честно зубрил «Курс автомобиля», но условий для занятий в вагончике не было.

Это был маленький вагончик на четыре койки. Под койками стояли сундучки и чемоданы. В углу висели телогрейки и дождевики, отдельно в целлофановом мешке — шикарный плащ Андрея. К стенам были приколоты картинки из журналов и фотографии. На столе в граненом стаканчике — букетик полевых цветов. Неприятный, походный, мужской уют.

Кроме Юры, моими соседями были бульдозерист Андрей и водитель катка Маврин.

Андрей, наверно, мог бы поднимать тяжести не хуже Василия Алексеева. Но тяжестей он не поднимал, а лежал на койке и читал исторические романы, а потом довольно связно их пересказывал. Непонятно только, почему, например, рассказ о подпоручике Мировиче надо пересыпать не слишком изысканными выражениями? Зарабатывал он не меньше Юры, но тратил тоже безалаберно. Покупал костюмы, плащи и особенно туфли — если, мол, не купит сейчас, то потом не достанет своего размера — размер был сорок пятый. Вещи были дорогие, но он их не носил, ходил в спецовке, его шикарный гардероб пылился под простыней в вагончике, туфли валялись под койкой, вместе с историческими романами Лажечникова, Данилевского и Яна. Андрей разошелся с женой, у него из зарплаты вычитали одну четвертую часть — алименты для дочки. Женился он после армии, прожил с женой год, а потом разошелся. Над его койкой висела фотография дочери — голенькая девочка месяцев одиннадцати лежала на животике, чуть приподняв и повернув голову, смотрела на аппарат с испуганным любопытством; видно, фотограф привлек ее короткое внимание, сказал, наверно: «Смотри, сейчас птичка вылетит» — и в эту минуту сфотографировал. О дочери, как и о жене, Андрей ничего не говорил.

Четвертый обитатель вагончика был водитель катка, демобилизованный моряк Маврин. Какой он моряк был — не знаю, морских словечек не произносил, но носил тельнягу, считалось, что демобилизован с флота. Был он тщедушный, щуплый, с заметной лысиной, но почитал себя красавцем, на участке у него была репутация сердцееда. Он часто не ночевал дома, прибегал рано утром, опухший, невыспавшийся, переодевался и отправлялся к своему катку. Иногда он являлся с синяком под глазом или с рассеченной губой, говорил, что подрался с деревенскими, всех раскидал или нарвался на мужа, муж призвал родственников, он и родственников раскидал, но, конечно, и ему перепало. Мне он казался хвастуном и лгуном, колотили его, наверно, сами женщины, чтобы не пристава. Отлежавшись день-другой, он снова отправлялся совершать свои подвиги. Маврин не тратил деньги, как Юра и Андрей, копил на кооперативную квартиру: надо, мол, обзавестись семьей и начать новую жизнь. Про новую жизнь он говорил, когда бывал особенно сильно поколочен.

Вообще, народ тут сборный, со всех концов, нынче здесь, завтра там, многие бродяги по натуре, без кола, без двора, работа тяжелая и в жару, и в мороз, и в грязь, и в слякоть. Обстановка здесь напоминала Ревущий Стан Брет-Гарта, с той разницей, что там была одна женщина, а здесь их было порядочно. Верховодила ими бригадир Мария Лаврентьевна, грузная женщина в брезентовых брюках и зеленой майке без рукавов. Все ее побаивались, даже сам начальник участка Воронов. Она была чем-

то вроде матери этого стана, этакая матрона, прародительница, женщина — патриарх или матриарх — от слова «матриархат». Не знаю, можно ли употреблять такое выражение, надо посмотреть у Ушакова. Будь это монастырь, она была бы игуменьей. Но участок никак не походил на монастырь, а девушки никак не походили на монашек. Они тоже были с бору по сосенке, кто из окрестных деревень, кто из Корюкова, некоторые были жены рабочих, живших в вагончиках, были кадровые, как Мария Лаврентьевна, были какие-то непонятно откуда взявшиеся женщины средних лет или, наоборот, молодые девушки — годовиков по двадцать — двадцать два, здоровые, крепконогие, загорелые, крикливые.

Они задевали каждого проходившего мимо них парня. Задевали и меня. Я старался обходить их стороной, а если обходить не удавалось, то не обращал внимания на их шутки. Не знаю, откуда они узнали про Наташу, возможно, какая-нибудь из них видела, как я входил с Наташей в школу, и к Михееву, и к Агаповым, и теперь они при каждом случае донимали меня Наташей. Увидев меня, говорили:

— Смотрите, девоньки, женишок наш явился.

— Молодую-то какую взял: с домом, с садом?

— Вот беда: был у нас один свободный мужик, и того увели.

— Тебе что: своих не хватает? Смотри, сколько нас тут...

А Мария Лаврентьевна заключала:

— Не трогайте его, девушки, он еще сам красна девица.

Эти девушки, эти молодые женщины, их шутки и намеки, их притягивающая красота — все это волновало меня, все в них было откровенное, зазывное, доступное. Казалось, что все с ними просто и легко, и от сознания, что это может наконец здесь произойти, я немного ошалел.

Но я знал, что это с ними совсем не так просто, как кажется. Когда они вместе, в куче, тут они храбры, веселятся, озоруют, создают вокруг себя такую стихию. Но каждая в отдельности — это совсем другое. Как-то в столовой Маврин положил руку на плечо Ксюше, самой красивой девчонке. Она так отшвырнула его руку, что Маврин чуть со скамейки не слетел. «Куда руки тянешь, паразит, я тебе потяну!» А уж тем более наедине! Тут они недотроги, не подступишься. И потому в отряде ничего такого не было и быть не могло, тут каждая соблюдала себя. Если кто-нибудь приставал к девушке, то на другой день об этом знала вся женская бригада, а от бригады весь участок, и все потешались над незадачливым ухажером. Такие тут нравы. И потому наши ребята предпочитали с ними не важдаться, ходили в Корюков или в ближние деревни. А если уж и важдались, то это была уже настоящая, серьезная любовь, как, например, у Юры с Людой. И хотя девушки эти мне нравились и волновали меня, я не хотел становиться посмешищем, никаких знакомств не заводил, хоть мне и казалось, что кое-кому здесь я нравлюсь.

Про Наташу я тоже старался не думать, хотя и был повод ее увидеть; надо вернуть фотографию солдат. Но нет, так нет! И не было времени: десятого в Корюков приезжает кваликомиссия ГАИ.

Обнадеживало меня то, что я не сдам экзамены заново, а меняю свои права, экзамены я уже сдал, и не где-нибудь, а в Москве. Следовательно, требования ко мне должны быть совсем другие, пониженные, простая формальность, в сущности.

Юра на это сказал:

— Первый раз сдаешь или десятый — никакой разницы нет, спрашивать будут одинаково, а мо-

жет, и побольше, раз ты со стажем — больше должен знать. Так что ты свою любительскую липу лучше припрядь, не показывай.

Я услышал в его словах только презрение к моим любительским правам и не послушался. И зря не послушался.

Я не прозалился на уходе за автомобилем. Я провалился сразу по правилам движения на вопросе:

— Какие документы должен иметь водитель при управлении транспортом? По требованиям каких лиц он обязан их предъявить?

Простейший вопрос! Я на него ответил без запинки:

— При управлении транспортом водитель обязан иметь: водительское удостоверение, путевой или маршрутный лист и талон технического паспорта. И обязан предъявлять их по требованию работников милиции.

Точно так, как это было в университете, экзаменатор воззрился на меня, ожидая продолжения. С той только разницей, что там передо мной сидел солидный доцент, а здесь молоденький лейтенант милиции — автоинспектор.

Продолжать мне было нечего. А излагать собственные мысли не приходится: правила движения — это не Салтыков-Щедрин.

И провалился!

Водитель обязан предъявлять документы не только по требованию работников милиции, но и общественных автоинспекторов.

Подумать только! Общественных автоинспекторов! Кто их знает, этих общественных автоинспекторов?! Я видел машины, на стеклах которых наклеена этикетка «Общественный автоинспектор». Они нарушали правила почище других. И вот из-за этих несчастных общественных автоинспекторов я не получу водительских прав и не пересяду на самосвал.

— Приходите в следующий раз!

Утешил! Следующий раз — это через месяц. Как я явлюсь на участок, как на меня посмотрят ребята, что скажет Воронов?! И еще месяц работать слесарем... Из-за общественных автоинспекторов.

Нас сидело за столом шесть человек, простые ребята с шоферских курсов, колхозники, каждый отвечал по своему билету бойко, точно, правильно — натаскали их на курсах, — а я, единственный с законченным полным средним образованием, уже имеющий права и умеющий водить автомобиль, я провалился! Общественные автоинспектора!

Я был потрясен больше, чем провалом в университет. Там конкурс — несколько человек на место. А здесь никакого конкурса, элементарное дело — и вот, пожалуйста! Я был подавлен, оглушен, уничтожен, раздавлен.

Я подошел к девушке, ведающей бумажным хозяйством комиссии, и попросил вернуть мне мои любительские права. Она отказалась — раз я сдам на профессионала, то мои любительские права гасятся, человек не может иметь двух удостоверений на вождение автомобиля. Значит, я и профессиональных прав не получил и любительских лишился. Я не профессионал и не любитель, кто ж я такой?

Мысль, что я ничего не достиг и все потерял, потрясла меня. Я чуть не плакал, честное слово! Со мной случилось нечто вроде истерики, ей-богу! Я, наверно, выглядел сумасшедшим, во всяком случае, такое испуганное лицо сделалось у девушки. Я кричал, что я не местный, я из Москвы, вот мой

паспорт, завтра уезжаю, любительские права дал ей случайно, я вовсе не менял их, просто захотелось получить профессиональные, у меня никто не отбирал моих любительских прав и не имеет права отбирать, что ж, мне теперь пешком в Москву идти, это беззаконие и произвол!.. У меня был вид шизика, я то орал, то умолял, то грозился, то чуть не плакал. Она с испуганным видом швырнула мне мои любительские права. Я их схватил и поторопился убраться из милиции, пока она не передумала или пока не вмешался какой-нибудь высший чин, на которого моя истерика могла бы и не подействовать.

Возвращаясь из ГАИ, я трогал карман. Ощущение, что любительские права при мне, постепенно успокаивало меня. Черт с ними, с профессиональными правами! С дорогой все равно кончено, не буду же я еще месяц ишачить в слесарях. Вообще я не нашел здесь романтики, которую искал. Вернусь в Москву и уеду в какую-нибудь дальнюю экспедицию, в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию — вот там действительно дым костров.

С таким настроением я и пришел к дедушке. Сегодня ввиду экзаменов меня освободили от работы.

К этой моей неудаче дедушка отнесся так же философски, как и к прошлой — сдашь в следующий раз. Но когда я сказал, что брошу дорогу и вернусь в Москву, он неодобрительно качнул головой.

— Я не слесарь, я шофер. Руля не дают, делать мне здесь нечего. Уж лучше отправлюсь в какую-нибудь дальнюю экспедицию.

— А там тебе дадут руль? — спросил дедушка.

— Может быть, дадут. А если не дадут — все равно. Там Сибирь, освоение новых земель.

— Думаешь, в Сибири лучше?

Дедушка поглаживал бороду, что служило у него признаком скрытого душевного волнения. Он несогласен со мной, вероятно, даже недоволен, осуждает меня за дезертирство. Обидно.

— Думаешь, приятно валяться в грязи под машинами?

— А кто тебе сказал, что жизнь должна быть всегда приятной?

— Работа должна приносить радость, удовлетворение, а на участке мне неинтересно.

— Любая работа приносит радость, если она хорошо сделана, — сказал дедушка.

Зерно истины было в его словах. Но я отступал не перед трудностями. Меня не устраивало мое положение. Я мог бы выполнять настоящую работу, а я на подхвате. Я представил себе физиономию Воронова...

— Меня засмеют на участке, — сказал я.

— Все будут за животики держаться? — усомнился дедушка.

Я дернул плечом: разговор начинал надоедать.

— Делай, как хочешь, — заключил дедушка, — ты взрослый. Жаль только, мало у меня пожил.

У меня сердце сжалось от этих слов. Я не прозел с ним ни одного дня. Сукин я сын! Ведь я его люблю. Все мы эгоисты.

— Если я уйду с дороги, это вовсе не значит, что я должен немедленно уехать отсюда, — сказал я.

Мы помолчали, потом дедушка спросил:

— Слушай-ка, Сережа, что это ты наших корюковских пугаешь?

— Пугаю? Кого я пугаю?

— Старуха Агапова рассказывала. Говорит: ваш внук собирается Корюков сносить.

Дернул меня черт за язык! Здесь не Москва, здесь все друг друга знают, каждое слово переда-

ется, все принимается всерьез, чувство юмора им недоступно. Агапова передала ему и мой треп про институт, где я якобы учусь, как особо одаренный. Дедушка из деликатности умалчивает.

— Я трепался, шутил, дурака валял, а они и уши развесили. Ты пойми — город снесут, можно этому поверить? Дикари какие-то, зулусы. Ты им скажи, что мы раздумали сносить. Пусть живут спокойно.

14

На участке к моему провалу отнеслись равнодушно. Для механизаторов, водителей, трактористов такие происшествия — обычное дело.

Только Юра сказал:

— Ну и дурак!

Имел в виду, что на таком вопросе мог провалиться только идиот. Возразить было нечего: на таком вопросе действительно мог провалиться только круглый болван.

Юра явился к нам в мастерскую на своем самосвале и, сообщив мне, что я дурак, обратился к механику Сидорову:

— Федор Федорович! Могилу перенесли. Воронов приказал везти штакетник и все прочее.

Он опять повернулся ко мне:

— А тебе приказано явиться в контору.

Под навесом нашей мастерской лежал новый штакетник, четыре столбика, восемь узких тесин, маленький деревянный обелиск и красная металлическая звездочка с длинным острием на одном конце, изготовленные нами для новой могилы Неизвестного солдата. Мы погрузили все это на Юрин самосвал и поехали.

Трясаясь в кузове самосвала и придерживая рукой деревянный обелиск, чтобы его не расколотило о железные борта машины, я думал о том, зачем меня вызывает Воронов, тем более в рабочее время. Поглумиться над моим провалом в ГАИ? Он может сделать это вечером, в столовой, не отрывая ни меня, ни себя от дела. Может быть, он вспомнил о своем обещании помочь мне? Ни черта не помог, теперь его мучает совесть, и он хочет что-либо предпринять. Может быть, уже предпринял. Он имеет влияние в ГАИ — проезжие автоинспектора заправляются у нас бензином. И вот теперь, когда Воронова замучила совесть, он что-либо предпринял. Скажем, договорился, что мне просто обменяют права, без экзамена. Или разрешат работать с любительскими правами, хотя бы временно, до будущего экзамена. Ведь водители требуются, не хватает водителей.

Новую могилу Неизвестному солдату выкопали немного в стороне от трассы, на холмике, на довольно видном месте.

Останки солдата были перенесены, и могила уже закидана свежей землей. Возле нее, опираясь на лопаты, стояли Мария Лаврентьевна, наша красotka Ксения и еще две женщины.

Мы врыли столбики, приколотили тесины, набили на них штакетник, поставили обелиск, в его верхушку воткнули звезду.

В небе пронесся реактивный самолет, оставив за собой длинный голубой хвост. Кругом расстилались безмолвные пожелтевшие поля, вдали темнел лес, было тихо, грустно, печально. День был нежаркий, солнечный, ясный, сентябрьский.

— В сорок третьем году, — сказал Сидоров, — мы освобождали эти места. Может, кто из наших ребят. Мы помолчали.

Мария Лаврентьевна смахнула со щеки слезу. Ксения и обе женщины тоже вытерли слезы.

Сидоров снял кепку. Мы с Юрой тоже сняли свои береты.

— Прощай, безвестная душа солдатская, пусть земля тебе будет пухом,— сказал Сидоров.

Потом мы собрали полаты, топоры, молотки, корзину с гвоздями и пошли к машине.

В служебном вагончике, кроме Воронова, были, как обычно, инженер Виктор Борисович и нормировщица Люда.

— А, пришел,— так приветствовал меня Воронов и перебрал бумаги на столе,— слушай, ты писал в военный архив?

Военный архив... Я совсем забыл о нем.

— Да, писал.

— На, читай.

На бумаге со штампом Центрального военного архива было написано, что бывший командир ПРБ-96 гражданин Стручков Ростислав Корнеевич проживает в Москве, служит в Министерстве строительства СССР.

— Прочитал? — спросил Воронов.

— Прочитал.

— Теперь скажи: зачем запрашивал?

— Выяснял.

Воронов повернулся к Виктору Борисовичу:

— Видали его! Выяснял! Нашелся, понимаете, Фенимор Купёр.

Он повернулся ко мне:

— А кто тебя уполномочивал?

— Сам себя уполномочил.

— Ты это брось! — повысил голос Воронов. — Мы свое дело сделали: могилу перенесли, документы сдали. Никто не забыт, ничто не забыто. Понял?

— Понял.

— Теперь розыском пусть занимаются те, кому это положено. А наше дело — строить дорогу. Еще не одну могилу встретим. Подпиши акт!

И кивнул в сторону Виктора Борисовича.

Я подписал акт о переносе могилы Неизвестного солдата. Кроме моей, там стояло еще много подписей, я их не разобрал.

— Вот так,— сказал Воронов,— а эту архивную бумагу снеси в школу. Ты вернул им фотографию?

— Вернул,— соврал я.

— И эту им отдай. И кончай это дело.

Люда, улыбаясь, скосилась на меня:

— Он не может так просто все это кончить. У него там девушка.

— Никакие девушки меня не интересуют,— взорвался Воронов. — Тут могила, память о солдате, а они, видите ли, амуры разводят, секс!

Я остолбенел. Он даже не понимает значения этого слова. И Фенимор Купёр! А еще имеет высшее техническое образование. Вот результат узкой специализации. Об экзаменах и о том, что обещал помочь,— ни слова. Руководитель называется!

— Я не прошел квалификационную комиссию,— объявил я.

Он сначала не сообразил, о чем я говорю, потом сообразил.

— Вот, пожалуйста, полюбуйтесь!

Опять он обращался к Виктору Борисовичу. Но тот мрачно молчал.

— Полюбуйтесь! — продолжал Воронов. — Ему создали условия, дали спальное место в общежитии, а он провалился. А ведь когда пришел, сколько было гонору: руль ему подавай! И немедленно!

Я перебил его:

— Мне надо съездить в Москву.

Он уставился на меня:

— Зачем?

— За теплыми вещами. Становится довольно прохладно. Особенно когда нет условий для ремонта механизмов.

Он нахмурился, как всегда, когда ему вворачивали что-нибудь неприятное.

— Насчет условий ты мне не рассказывай! Условия у нас полевые. И ставки полевые. А не нравится — иди на шоколадную фабрику, там тепло и сладко, и заработаешь на леденцы. У тебя отец, мать есть?

— Ну, допустим...

— Пусть вышлют почтой. А то один за носками поедет, другой за шарфиком.

— Я сам должен съездить за своими вещами,— твердо сказал я.

Последовало заключительное хамство:

— Соскакиваем? На ходу?! Желаю тебе крепкого здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни. Видали мы таких гастролеров.

15

Как бы далеко ты ни заехал, в какую бы глушь ни забивался, когда ты возвращаешься домой, у тебя щемит сердце.

Эти покинутые осенние дачные платформы, одинокие пассажиры, отворачивающие лицо от ветра и от мчащегося мимо них поезда дальнего следования, закрытые до следующего лета привокзальные ларьки, пустые пионерские лагеря, дальние контуры Москвы, ее высотные здания. Улица твоего детства, отчий дом.

Возвращение блудного сына, черт возьми! Ни слова о моей попытке жить самостоятельно, работать на неизвестной, дальней дороге, ни намек, ни тени насмешки, никаких разговоров об этом. Мама целовала меня и обнимала, и я не отстранялся, этот знакомый запах ее кофточки, ее духов... Ее крашенные волосы выглядели трогательно, это ее слабость, ну что же, она женщина, хочет выглядеть помоложе, это так естественно в ее возрасте, только черствая душа может этого не понимать. Отец был при галстукке, как на приеме, и это тоже было трогательно, он никогда дома не ходил в галстук, даже при гостях. На моей кровати лежал новый шерстяной тренировочный костюм, такой, в каких выступали наши олимпийцы. И был праздничный обед: бульон, пирожки с капустой, цыплята табака из кулинарии, и апельсины, и ананас, как громадная сосновая шишка, и бутылка «цинандали».

За столом никаких служебных дел, никаких Крептюковых, разговор шел о дедушке, о Корюкове, о Поронске — это уже мама, она интересуется старинной и собирается съездить в Поронск. И хотя вслед за Поронском возник разговор о дороге, которую я строил, но не о том, почему и зачем я пошел ее строить и почему ушел оттуда, а о новых современных дорожных механизмах, о стоимости погонного километра дорог с твердым покрытием: оказывается, один километр стоит чуть ли не сто тысяч рублей, — и о прочих технических проблемах. Из того, что папа так напирал на технические проблемы, я понял, что они готовят мне что-то техническое, возможно, завод, где работает отец.

После обеда мы смотрели футбол, выиграло «Торпедо», мы были его болельщиками, и вечер закончился прекрасно.

Я принял душ и улегся в постель, свою постель, привычную, удобную, на свои простыни и наволочки, свежие, холодноватые, твердые, накрахмален-

ные, под такой же свежий, накрахмаленный пододеяльник. Это не вагончик! Не пахнет сырой одеждой, грязной обувью, открытыми рыбными консервами. Комфорт, черт побери! С мыслью о комфорте я и уснул.

С мыслью о комфорте я и проснулся. Нет, это не вагончик, где ночью входят и выходят люди, одни на дежурство, другие с дежурства, где одному хочется спать, другому читать и третьему слушать транзистор. В квартире было тихо, папа с мамой ушли на работу, на кухне под белой салфеткой меня ожидал завтрак, и уж, конечно, не такой, как в участковой столовой, под навесом, хотя там шеф-повар из самой Риги.

Корюков... Он отодвинулся далеко-далеко, я был там давным-давно, теперь я дома, в родной стихии. То было случайное, блажь какая-то. Все. Кончено.

Впрочем, не кончено. Я должен повидать Стручкова, обещал дедушке все узнать и написать.

Бедный дедушка! Мысль о нем терзала меня. Он провожал меня точно так же, как и встречал, на той же бричке и на той же лошадке, и бричка и лошадка были ни к чему, вещей у меня не прибавилось, тот же рюкзак. На дедушке был тот же вытертый темный костюм с брюками, заправленными в сапоги. И он так же улыбался мне и гладил по голове, хотя я поступил, как свинья, — уехал.

Когда я приехал в Корюков, мне казалось, что дедушка смотрит на мир хотя и благожелательно, но немного со стороны. Единственное, чем он серьезно, как мне казалось, увлекался, это была работа в общественном совете конного завода, составленном из таких же ветеранов производства, как и он.

Но теперь я понимал, что главным в дедушкиной жизни было другое: именно пенсии, пособия, устройства в больницу, ясли, детский сад, дела в суде, похороны одиноких — тонкие нити жизни, но на них держались человеческие судьбы, и они сходились к дедушке, хотя он не был ни начальством, ни депутатом, ни генералом в отставке. Просто он был уважаемый человек в городе. Наверно, в каждом маленьком городишке есть такой уважаемый человек. В Корюкове им был мой дедушка.

И когда я уезжал, дедушка попросил меня зайти к Стручкову. Нить не должна порваться.

Впрочем, я и сам немного этим интересовался: кто из пяти разгромил штаб? Фотография у меня, я не отдал ее Наташе, она нужна мне для Стручкова.

В Москве несколько министерств строительства: жилищного, транспортного, промышленного, сельского, монтажных и специальных работ и так далее... В каком из них найти Стручкова, мне сказали сразу. Но в этой легкости и скрывалась трудность. Стручкова знали потому, что он был заместителем министра. Узнать о нем было легко, попасть к нему трудно.

В просторном вестибюле, у двери, стояла толстая вахтерша с казенным выражением лица. Мимо нее, предъявляя пропуск, проходили деловые люди с портфелями, папками, свернутыми в рулон чертежами. Я подошел к окошечку, просунул голову в узкое отверстие и попросил дать мне пропуск к товарищу Стручкову.

— Позвоните 28-32! — ответила женщина за окошечком. В этих узких окошечках есть что-то унижающее. Надо изгибаться в три погибели, чтобы увидеть лицо сидящего там человека.

Я набрал номер и услышал в ответ молодой женский голос, по-видимому, секретарши Стручкова.

Я назвал свою фамилию и попросил дать мне пропуск.

— Вы откуда? — спросила секретарша.

— Из Корюкова.

— Откуда, откуда?

Слово «Корюков» ничего ей не говорило, она понятия не имела, что такое Корюков.

— По какому делу?

— Тут, по одному.

— Товарищ, говорите конкретно!

— Конкретно: мне нужно к товарищу Стручкову.

— Товарищ Стручков принимает по средам.

— Но сегодня как раз среда.

— На сегодня запись закончена. Записываю вас на следующую среду. Не задерживайте меня, товарищ. Ваша фамилия?

— Крашенинников.

— Крашенинников, — повторила секретарша, записывая мою фамилию, — двадцать второго, в десять часов утра, пропуск будет в проходной.

И положила трубку.

Из министерства я по Сретенке вышел на площадь Дзержинского, к магазину «Детский мир», куда я ездил раньше с мамой, потом один, потом перестал ездить. По проспекту Карла Маркса спустился вниз, дошел до «Метрополя», постоял у витрин «Интуриста», почитал рекламы международных авиалиний. Иностранцы туристы и их машины выглядели довольно живописно. Я люблю центр Москвы, толпу людей, текущую к ГУМу, ЦУМу, к театральным кассам, к метро, к гостиницам.

В Александровском саду горел Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, лежали на мраморе букетики цветов, на плите было высечено: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Подходили люди, клали цветы, стояли, потом уходили, приходили другие, тоже клали цветы, тоже стояли...

И я подумал о том, другом, который лежит на холмике, у дороги, возле города Корюкова, безвестно погибший и безвестно похороненный нами, без почестей и оркестра. Опять зарастет травой его могила, и не будет на ней ни цветов, ни надписей. А ведь он такой же, как этот. Оба они Неизвестные солдаты.

Нет, черт возьми, у Стручкова должно найтись для него время, будь он не только заместителем министра, будь он самим министром, даже премьер-министром!

Я вернулся в вестибюль и снова позвонил по 28-32.

— Товарищ, — слышался в трубке знакомый голос секретарши, — я вам сказала: вы записаны на двадцать второе, десять часов утра.

— Но у меня очень срочное дело.

— Какое дело? Вы даже не можете его объяснить.

— Доложите товарищу Стручкову: по делу ПРБ-96. Он знает.

Она переспросила:

— ПРБ-96?

— Да, ПРБ-96.

— И он знает?

— Да, очень хорошо знает.

— Подождите.

Я ждал довольно долго, потом в трубке зашуршало, и секретарша сказала:

— Соединяю вас с Ростиславом Корнеевичем. Мужской начальнический голос произнес:

— Я слушаю.

— Товарищ Стручков, — сказал я, — я по поводу Неизвестного солдата.

— Какого Неизвестного солдата?

- Из ПРБ-96.
 - Да? Из ПРБ?.. Как ваша фамилия?
 - Крашенинников.
 - Крашенинников... Что-то я не помню. Вы там служили или родственник?
 - Родственник.
 - И у вас срочное дело?
 - Очень срочное. Я завтра уезжаю.
- Он некоторое время молчал, потом, видно, по другому телефону сказал:
- Выпишите ему пропуск.

16

В глубине большого кабинета стоял громадный письменный стол, сбоку длинный стол для заседаний под зеленым сукном.

Группа людей стояла у стены перед большим красочным планом. Маленький, желчный, лысый человечек водил по нему указкой, сердито говорил:

— Таким образом, план застройки района может быть осуществлен в двух вариантах. Вариант первый, — он провел по плану указкой, — осевая линия застройки пройдет по набережной реки, с некоторым спрямлением ее русла, в пределах отметок 186—189...

Кто в этой группе Стручков? Докладчик?

Но от группы отделился суховатый, подтянутый гражданин лет пятидесяти, пошел к письменному столу и сделал мне знак следовать за ним.

Я последовал.

Докладчик бросил на меня раздраженный взгляд — я оторвал Стручкова — и продолжал что-то бормотать, но я уже не слышал, что именно.

— Что у вас? — спросил Стручков.

— Я из Корюкова, из дорожно-строительного участка, — начал я.

— Вы же сказали, из ПРБ-96? — перебил меня Стручков.

— Это не я из ПРБ, это солдат из ПРБ.

— Какой солдат?

Черт возьми! Он все время меня перебивает, не дает связно изложить.

— Солдат, которого мы нашли при дороге.

Стручков смотрел на меня, как на сумасшедшего.

— Кто он такой, этот солдат?

— В том-то и дело, что никто не знает, кто он.

— Послушайте, — сказал Стручков, — вы сказали, что вы родственник одного из работников ПРБ, вы назвали свою фамилию...

— Крашенинников, — подсказал я.

— Вот именно — Крашенинников. Теперь скажите толком: зачем вы ко мне пришли?

Он поднял голову и сказал людям у стены:

— Товарищи, я сейчас освобожусь.

И опять воззрился на меня, ожидая моего ответа.

Вместо ответа я вынул фотографию солдат и положил ее перед ним.

Он наклонился, рассмотрел фотографию, потом как-то странно посмотрел на меня, опять склонился к фотографии, перевернул, прочитал надпись: «Будем помнить ПРБ-96», — снова посмотрел на меня:

— Откуда вы приехали?

— Из города Корюкова.

— Корюков, — задумчиво проговорил Стручков, — помню такой город. Мы стояли возле него летом сорок второго года, ушли оттуда в сентябре.

— Вот именно, — подхватил я, — именно в сентябре сорок второго года.

Дело начинало, кажется, проясняться.

Стручков снова рассмотрел фотографию, потом посмотрел на меня, потом обратился к своим инженерам:

— Товарищи! Скоро обед, прервемся.

— Ростислав Корнеевич, — плачущим голосом возразил маленький докладчик, — мы должны сегодня принять решение.

— Примем, — пообещал Стручков.

Я сидел в кресле у письменного стола.

Стручков стоял у окна, думал. Вспоминал, что ли, этих солдат?

Он вернулся к столу, сел, снова посмотрел фотографию, потом посмотрел на меня и медленно, подбирая и обдумывая каждое слово, сказал:

— Война сложна: люди гибнут, пропадают без вести, попадают в плен — мы не всегда знаем, при каких обстоятельствах это произошло, свидетелей может не быть или они могли тоже погибнуть, пропасть без вести, попасть в плен. И потому, когда перед нами голые факты, то мы можем судить только по этим фактам, по их логической связи.

К чему он разводит такую антимирию? Я и без него знаю, что война — штука сложная. Никогда не думал, что министры так многоречивы.

Зазвонил телефон. Стручков поднял трубку и, не ответив, положил ее обратно на рычаг. Придаст нашему разговору особенное значение. Меня это заинтриговало.

— Итак, — продолжал Стручков — в таких случаях мы опираемся только на факты. На факты мы вынуждены были опираться и в данном конкретном случае. Эти люди пригнали машины в ремонт. Я их отпустил на один день в город. Они не вернулись ни к нам, ни в свою часть, мы их не нашли и в городе.

Теперь я начинал понимать, к какой мысли старается он меня подвести своими туманными рассуждениями.

— Правда, — продолжал Стручков, — тогда провались немцы. Мы снялись по тревоге и двинулись в направлении Корюкова, то есть туда, куда они ушли. Но ни по дороге в Корюков, ни в самом Корюкове их не встретили, они исчезли. После передислокации на новое место нас запрашивал автобат о судьбе этих шоферов, мы запрашивали комендатуру, но никаких следов их не обнаружили. Они могли попасть в какие-то исключительные обстоятельства — война, прорыв немцев, обвинять их у меня нет оснований, хотя и защищать их тоже не могу. Дело это давнее, забытое, тебя оно никак не может касаться. А кто из них твой родственник?

— Никто. Тут нет моих родственников.

— Ты же сказал родственник?!

— Вы меня не поняли. У меня в Корюкове родственники, дедушка у меня в Корюкове.

— А откуда у тебя эта фотография?

— Из школы. Знаете, школьники разыскивают. Следопыты. Штаб «Дорогой славы отцов».

Стручков облегченно вздохнул:

— А я понял так, что ты родственник одного из этих солдат... Тогда другое дело... Какая там «Дорога славы отцов»... Я помню этого старшину. Такой был щеголь в хромовых сапогах. От работы отлынивал, канючил, в город отпросился. Я их отпустил на один день, а они не вернулись и до города даже не дошли. Устроился, наверно, у какой-нибудь молодки, а тут немцы...

— Вы не помните его фамилии? — спросил я.

Стручков пожал плечами:

— Через ПРБ проходили сотни людей, долго не задерживались: пригонят машины, поработают не-

сколько дней и уезжают. Я вообще ничьих фамилий не знал, а этих тем более — они и часа не работали. И видел я одного старшину. А как попала в школу эта фотография?

Теперь настала моя очередь подбирать слова. То, что я ему сейчас сообщу, будет для него гораздо неожиданнее того, что он сообщил мне.

— Видите ли, — сказал я, — один из этих солдат, по-видимому, старшина... Я поднял глаза на Стручкова, он с интересом слушал меня. — По-видимому, старшина, — повторил я, — разгромил немецкий штаб, закидал его гранатами, вывел из строя большое количество техники и живой силы противника (это уж я прибавил от себя). Немцы его убили. Похоронили его наши женщины, они и нашли у него эту фотографию.

Стручков сидел с замкнутым, бесстрастным лицом. Но мой рассказ, видимо, его поразил.

Секретарша внесла на подносе чай, но, остановленная взглядом Стручкова, попятилась обратно и исчезла за дверью вместе со своим подносом.

— При строительстве дороги мы наткнулись на его могилу, — продолжал я. — Мы ее перенесли, поставили обелиск, но фамилии его мы не знаем, где его родные, кто они, знают ли они, как он погиб, — ничего этого неизвестно. Может быть, его родным сообщили, что он дезертир? — Я не хотел огорчать Стручкова, как и он не хотел огорчать меня. Но все же ужасно обидно за этого солдата.

Стручков опять отошел к окну, постоял, подумал, вернулся к столу, снова посмотрел на фотографию и, как бы собираясь с мыслями, сказал:

— Осень была хорошая, солнечная, золотая была осень. — Потом, видно, собрался с мыслями и уже твердым голосом продолжал: — Архивы ПРБ сохранились, наверно, и архивы автобата, во всяком случае, переписка об исчезновении этих солдат наверняка есть. Я думаю, можно установить их фамилии. Вы когда уезжаете?

Если я ему скажу, что вовсе не уезжаю, то и он не будет торопиться.

— Я уезжаю завтра.

Он покачал головой.

— Надо задержаться дня на два-три.

— Если это очень нужно... — будто бы нехотя согласился я.

— У вас есть где остановиться?

— Есть.

— А то, пожалуйста, моя квартира в вашем распоряжении.

— Нет, спасибо, у меня тут родственники.

— Ну, смотрите... Фотографию оставьте мне, без нее я не сумею опознать людей.

— Но вы мне ее вернете?

— Конечно. Наведу справки и верну. Позвоните мне послезавтра. Вот мой прямой служебный телефон, а вот домашний.

Он вырвал из большого настольного блокнота лист бумаги, написал оба телефона и протянул мне.

— А когда позвонить? — спросил я.

— Позвоните послезавтра, — ответил Стручков.

17

Той же полевой дорогой, которой они пришли в деревню, они возвращались обратно.

Впереди, отдельно от всех, шел Бокарев, обходя лужи и заполненные водой колеи, — ночью прошел дождь. За ним шли Краюшкин, Лыков и Огородников. В некотором отдалении замыкали шествие Вакулин и Нюра.

Солдаты были выбриты, все на них было выстирано, выглажено, подворотнички блестящие.

— По моим вкусовым качествам, — сказал Лыков, — лучше простой деревенской пищи ничего не надо.

— Вкусовые качества бывают у пищи, а не у человека. У человека бывает вкус, — поправил его Огородников.

— Значит, по моему вкусу, — согласился Лыков, — деревенская пища, она хоть и грубая, но полезная.

— Тебя приваживать нельзя, — добродушно заметил Краюшкин, — у тебя память девичья: где обедал, туда и ужинать идешь.

— Ужин не нужен, обед дорогой, — отшутился Лыков. — А не мешало бы денек-другой так похорчиться.

— И не стыдно на бабьих-то харчах! — все так же добродушно поддразнил его Краюшкин.

— Стыдненько, да сытенько, — в тон ему ответил Лыков.

— И в городе можно пообедать, и не хуже, — заметил Огородников.

— Огородников, а ты сам откуда! — спросил Лыков.

— Откуда! — мрачно ответил Огородников. — Из Ленинграда.

— Семья, выходит, в блокаде, — сочувственно констатировал Лыков.

— Догадливый, — усмехнулся Огородников.

— А я вот, — сказал Лыков, — кроме своего колхоза, ничего не видел. Как кончил курсы, посадили на колхозную машину, пилил до самой войны.

— Ну, — сказал Краюшкин, обходя большую лужу, — вся грязь будет наша. Шинель бы не запачкать. — Он подобрал полы шинели под ремень, улыбнулся: — Подоткнулся, точно коров пошел доить.

Едали показались низкие здания МТС.

Вакулин остановился.

— Беги домой, Нюра! Дальше посторонним нельзя.

Нюра молчала, ковыряла мокрую землю голый пяткой, и ямка, которую она выковыривала, тотчас наполнялась водой.

— Писать будешь? — спросил Вакулин.

Она по-прежнему молчала, ковыряла голый пяткой другую ямку.

— Полевая почта 72392, — напомнил Вакулин. — Ну, чего молчишь?

Она посмотрела на него исподлобья:

— Барышень своих целовать не будешь?

— Нет у меня барышень, говорил тебе.

— Говорил... У шофера в каждой деревне барышня.

— Дура ты, дура.

Нюра исподлобья смотрела на Вакулина, положила ему на плечи худые, загорелые руки, прижалась, поцеловала в губы.

— Ну, ну, — Вакулин смущенно оглянулся на товарищей, — нашла место... Ну, прощай! Пиши!

Он догнал своих, когда они входили на территорию МТС. И вместе со всеми растерянно остановился посередине двора — ПРБ здесь больше не было. Под навесами и в цехах валялись негодные части, старые рамы, ржавое железо, промасленные тряпки.

— Ни горы, ни воды, — философски заметил Краюшкин.

— Погнались за девками, — пробормотал Огородников.

— Помолчи уж,— оборвал его Лыков,— все ему не так.

Бокарев раскрыл планшет, посмотрел карту, объявил:

— Пойдем на Корюков, пятнадцать километров в восточном направлении. Там узнаем, где ПРБ.

— Слушайте!— сказал Вакулин.

Они прислушались и услышали отдаленное жужжание... Вдали на шоссе показались три немецких мотоцикла.

— Попали меж косяка и двери,— тем же добродушно-философским тоном заметил Краюшкин.

— Залечь!— приказал Бокарев.

Они легли на землю, приготовили винтовки, вглядываясь в приближающиеся по шоссе мотоциклы. Они шли уступом: первый — по левой стороне дороги, второй — посередине, третий справа — с интервалами, чтобы последующий мотоцикл мог прикрыть огнем предыдущий. На каждом — мотоциклист и два автоматчика, в коляске и на заднем сиденье. Передний мотоцикл был вооружен пулеметом.

— Мотоциклы «БМВ»,— тихо проговорил Лыков.

— «Цундап»,— возразил Огородников.

— Молчать!— грозным шепотом оборвал их Бокарев, не отрывая взгляда от приближающихся мотоциклов.

Мотоциклисты сблизилась у развилки, рассматривали карту, что-то обсуждали. Потом один мотоцикл отделился и, переваливаясь на ухабах полевой дороги и разбрызгивая лужи, медленно поехал в сторону МТС.

Бокарев оглянулся. За навесом — ограда, а там поля, будет нетрудно укрыться в высокой пшенице, немец едет проверить, пуста ли МТС.

Бокарев все хорошо понимал, он был здесь единственный младший строевой командир, он не был даже уверен, умеют ли его шоферы по-настоящему стрелять. Он мог дать приказ уйти. Но он лежал лицом к противнику, над ним хмурое, осеннее родное небо, и вот разъезжает немец и уверен, что никто его не тронет. Он, Бокарев, и его солдаты — хоть небольшой, пусть ненадежный, но заслон, уничтожить разведку — значит сорвать план противника. Немцев девять человек, при них автоматы и пулемет, а у Бокарева вместе с ним всего пять человек, но они видят противника, ждут его, а противник их не видит и не ждет. И это давало им преимущество.

Все было четко и ясно, как на детской картинке. Внизу шоссе дорога. От нее к МТС проселок, расстояния тут с километр. На развилке два немецких мотоцикла, третий, переваливаясь на ухабах и разбрызгивая грязь, медленно приближается к МТС. За МТС — ложбина, по ней до излучины шоссе метров триста — четыреста. А там кювет и кусты вдоль дороги.

Бокарев показал на ложбину и потом на то место, где надо устроить засаду.

— Ползите к тем кустам. Как услышите мой выстрел, открывайте огонь. Беспорядочного огня не вести, только прицельный. В кучу не сбивайтесь, рассредоточьтесь!

Пригибаясь к земле, скрытые за строениями, солдаты перебежали двор, перелезли через ограду, плюхнулись в ложбину и поползли.

Поняли они задачу или нет, хотели они ползти или нет, доползут ли они или не доползут, обнаружат их немцы или нет — ничего этого Бокарев не знал. Справится ли он один с тремя мотоциклистами, приближающимися к МТС, он тоже не знал. Он был сибиряк, охотник и действовал, как охотник: не дать обнаружить себя зверю, обложить его и взять.

Он поднялся и встал за углом сарая. Отсюда ему

были видны и немцы на дороге, и ползущие к ним солдаты, и мотоцикл, едущий к МТС.

Переваливаясь на ухабах и разбрызгивая грязь, мотоцикл приближался. Потом остановился возле футбольных ворот. Они одиноко стояли в стороне от дороги — одни ворота с вытоптанной перед ними травой. Может, рабочие МТС в обеденный перерыв били в одни ворота, а может, существовали раньше и вторые ворота, только сломали их.

Немец, сидевший на заднем сиденье, сошел с мотоцикла и пошел к воротам.

Зачем ему понадобились эти ворота, Бокарев так и не сообразил: они стояли на ровном месте, ничего возле них не было. Но хорошо, что немцы задержались, — ребята все еще ползли по ложбине.

Немец тронул столб, потом перекладину, покачал их — ворота стояли крепко.

Затем он вернулся, и мотоцикл двинулся дальше. Бокарев перевел взгляд на ложбину — солдаты все еще ползли.

Мотоцикл приближался. Немцы были уже отчетливо видны — в касках с пристегнутыми под подбородком ремешками.

Мотоцикл остановился у МТС. Теперь Бокарев видел их лица под касками. Мотоциклист был чернявый, горбоносый, по росту, видать, небольшой. И тот, что сидел на заднем сиденье, тоже был вроде чернявый, или это так падала на его лицо тень от каски. А того, что сидел в коляске, Бокарев разглядеть не мог, коляска была на другой стороне.

Бокарев был отличный стрелок. Он мог первым выстрелом снять мотоциклиста, вторым — немца на заднем сиденье, потом снял бы и третьего, пока тот выбирался бы из коляски. Но делать этого нельзя: ребята еще не доползли до дороги.

Немцы переговаривались, голоса их заглушались стрекотом невыключенного мотора. Как понимал Бокарев, они совещались, кому идти, наверно, надо было идти тому, что в коляске, а он не хотел, пригнулся.

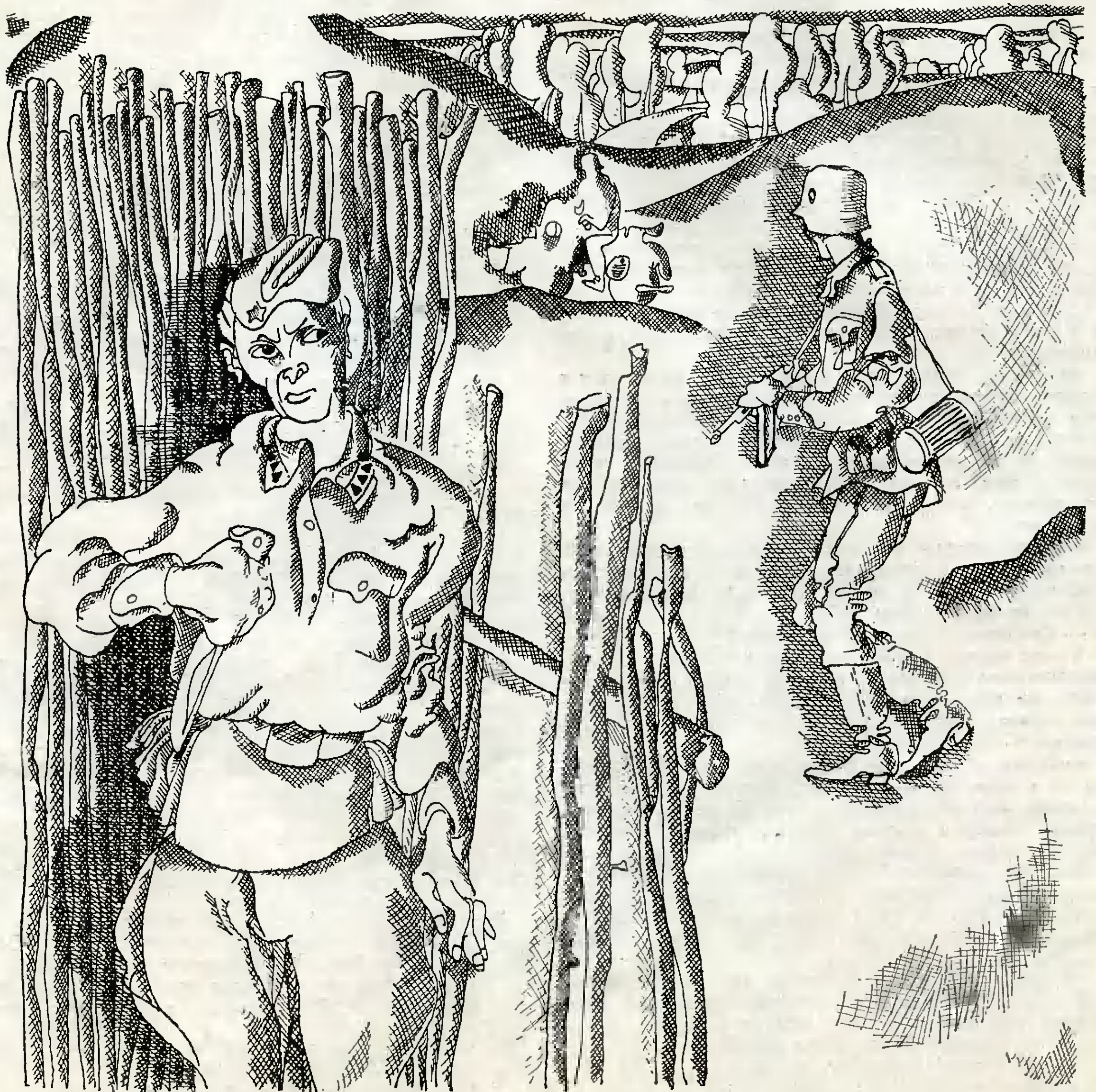
Бокарев пытался рассчитать, предугадать их замысел, сам он мог действовать, только понимая значение каждого их движения. И он следил за каждым их движением, вглядываясь в то же время в ложбину, — его солдаты ползли уже совсем близко к дороге.

Наконец с заднего сиденья сошел тот же немец, что ходил к воротам, — Бокарев отметил это с удовлетворением; этот будет осматривать МТС не так тщательно — только что осмотрел ворота и, видно, спокоен, уверен, что никого здесь нет.

С автоматом наизготовку немец вошел во двор, постоял, осмотрелся, подошел к навесу, осмотрел его, ткнул ногой кусок железа, подошел к окнам цеха — они были в частых, мелких переплетах, заглянул. Потом подошел к двери, вошел в цех... Вышел из цеха.

Бокарев бросил быстрый взгляд на ложбину — солдат уже не видно, значит, ползут по кювету, рассредоточиваются. Теперь, когда он уже больше их не видел, он рассчитывал только время — ползут, рассредоточиваются, занимают позиции для стрельбы, изготавливаются к ведению огня.

Опустив автомат, немец возвращался обратно. Бокарев зажал нож в кулаке, еще теснее прижался к столбу, пропуская немца мимо себя. Немец увидел его. Перед Бокаревым мелькнуло только мгновенное удивление в его глазах. Он левой рукой, как могучим крюком, обхватил его голову, зажал рот, сразу почувствовал на ладони влажное тепло его рта, напор его горячего дыхания — это было одно только мгновение — и правой рукой всадил нож; тело немца повисло в судороге на его руке.



Бокарев все дальше всаживал нож, по самую рукоятку, левой рукой удерживая тело. Потом осторожно опустил на землю, локтем придержал каску, чтобы не загремела, правой рукой перехватил автомат.

Теперь он тянул время, ждал, когда его солдаты изготоятся к стрельбе. Они себя не обнаружили, немцы на шоссе не открыли огня.

— Алло, Ганс!

С автоматом в руке Бокарев прошел вдоль сарая и посмотрел на дорогу.

Оба немца — и мотоциклист и тот, что сидел в коляске, — с автоматами на изготровку стояли против въезда в МТС.

— Алло, Ганс!

Они стояли во весь рост, встревоженно вглядываясь во двор.

— Алло, Ганс!

Немец добавил еще что-то, видно, ругательное, думал, что Ганс разыгрывает их.

Бокарев дал по ним очередь, переводя дуло с одного на другого, пока они еще падали.

В ту же минуту раздались винтовочные выстрелы на дороге: ребята открыли огонь.

Бокарев снял с убитых автоматы, дал очередь по баку — мотоцикл вспыхнул голубым пламенем — и побежал к дороге, не по ложбине, а напрямик, по-лем, заходя в тыл немцам: они развернули мотоциклы и пытались пробиться обратно, сквозь засаду, ведя пулеметный и автоматный огонь.

Бокарев бежал, пригибаясь к земле. Он видел, как врезался в кювет один мотоцикл, с него соскочил немец, пополз к лесу. Второй мотоцикл остановился, пулеметчик, неуязвимый за металлическим щитком, вел с него огонь. Ему в тыл и забегал Бокарев, уже не пригибаясь, чтобы его увидели свои, и с ходу скосил пулеметчика из автомата. Пулемет смолк.

На шоссе лежали три убитых немца, еще двое в кювете, возле перевернутого мотоцикла, один ушел или залег в лесу. Бокарев присел за мотоциклом, вглядываясь в лес, по ту сторону шоссе, прислушиваясь к его тишине, пытаясь уловить треск сучьев или шелест сухих листьев. Теперь они поменялись ролями: немец видит их, а они его не видят.

Все произошло неожиданно, в одну короткую, неоправимую секунду. Он не увидел, а почувствовал, краем глаза заметил: по шоссе бежит Лыков, потом услышал крик:

— Старшина! Товарищ старшина!

Лыков бежал и кричал в том возбужденном состоянии, какое бывает у солдата, только что вышедшего из боя, еще оглушенного, еще пылающего его огнем, бежал в распахнутой шинели, волоча винтовку.

— Ложись, твою...! — Бокарев не то крикнул это, не то сказал, не то подумал. Лыков был обречен, и немец был обречен. Мелькнул из леса огонь выстрела. Бокарев тут же дал по огоньку очередь. Немец умолк. Лыков упал.

Бокарев переполз шоссе, пополз по кювету. Немец лежал, уткнувшись в землю. Бокарев на всякий случай дал по нему очередь, вышел на шоссе, подошел к Лыкову. Он лежал на спине, широко раскинув мертвые руки.

Бокарев подошел к Вакулину. Он сидел, привалившись к откосу кювета, мертвенно-бледный. Краюшкин уже распоясал его, поднял рубашку, и рубашка и кальсоны были залиты кровью.

— Пакет есть? — спросил Бокарев.

— Есть, — ответил Краюшкин.

Огородников все еще лежал в кювете, с винтовкой, нацеленной на шоссе.

— Долго будем лежать! — спросил Бокарев.

Огородников не ответил.

Бокарев нагнулся, тронул его, перевернул.

Огородников был мертв.

18

Почему я вернулся?

Дом меня больше не раздражал, ни отец, ни мать, никто не раздражал: две недели жизни у дедушки успокоили мои нервы, а вагончик отучил просыпаться от звука шлепанцев. Но запах дымящегося асфальта на московских улицах не давал мне покоя.

На дорожных работах в Москве техники не меньше, чем на нашем участке, вероятно, даже больше. И шику больше: рабочие в желтых кофтах, в желтых шлемах. И все же нет того масштаба, нет той перспективы, техника здесь огорожена щитами, защищена предупредительными знаками и фонарями, теряется среди высоких домов, — видишь одни объезды, заторы, пробки, мостки вместо тротуаров. Только чувствуешь запах горячего асфальта, и этот запах влечет тебя туда, на дорогу, где все открыто, все видно, лязгает и грохочет, освещено солнцем и обдувается ветром.

Я скучал по вагончикам, по ребятам, неплохие, в сущности, ребята, этот заносчивый Юра, флегматичный Андрей, щуплый сердцеед Маврин.

И потом — дедушка.

Я не предупредил его о своем приезде, и он меня не встречал на бричке, хотя на этот раз вещичек у меня было порядочно: осеннее и зимнее барахлишко. Я пропер свой чемодан от станции до дедушкиного дома и вошел в дом с бьющимся сердцем.

Дедушка сидел на низком табурете, перетягивал пружины диванчика. Диванчик косо лежал на полу, косо торчали его круглые резные ножки, спиралились пружины, перетянутые шпагатом.

Дедушка повернул ко мне голову, и его черные глаза с синеватыми белками сверкнули по-цыгански. Колоритный старик все-таки!

Опять я ел борщ со сметаной, и гречневую кашу, и творог с молоком и допивал бутылку портвейна, купленную дедушкой к моему первому приезду, и помидоры, и лук, и соленые огурчики. У нас дома все это считалось несовместимым, а дедушка считал совместимым. И когда я рубал, он посматривал на меня, может быть, даже думал, что я вернулся из-за него. И не ошибался: я вернулся из-за него, из-за всего, что было вокруг него. Пусть я опять буду жить в вагончике, все равно дедушка здесь, я в любую минуту могу прийти к нему, остаться ночевать, и он постелит мне на этом диванчике, и лунные блики, преломленные листьями фикуса, причудливым узором будут лежать на полу.

При всей своей выдержке дедушка не смог сдержаться удивления, узнав, что у меня в кармане список пяти солдат. Этого он не ожидал. А список был у меня. Стручков все сделал.

Вручая мне список, Стручков сказал:

— Запросим военкоматы, возможно, кто-нибудь из них жив или живы родственники. Запрос сделаем от министерства, это уыбистрит дело, а обратный адрес укажем твой. Если хочешь, я попрошу подписать министра.

— Я думаю, вашей подписи будет достаточно.

Ответить иначе было бы некорректно.

— Если будет время, сообщи о результатах.

— Обязательно, — пообещал я.

Выйдя из министерства, я сообразил, что следова-

ло обратный адрес указать дедушкин: тогда бы ни Воронов, ни кто другой не совал бы нос в мои дела. Но возвращаться к Стручкову было неудобно.

И вот список солдат у меня. Я положил на стол фотографию и показал дедушке каждого.

— Старшина в центре фотографии — Бокарев Дмитрий Васильевич из Бокаревского района, Красноярского края.

Справа самый молодой — Вакулин Иван Степанович из Рязани. Крайний справа — Лыков Василий Афанасьевич из Пугачевского района, Саратовской области.

Слева самый пожилой — Краюшкин Петр Иванович из Пскова. Крайний слева, средних лет, представительный, — Огородников Сергей Сергеевич из Ленинграда.

В Корюкове были трое, — сказал я, — один у Михеева и два у Агаповых. Кто они? Во-первых, старшина Бокарев, его опознали и Агаповы и Михеев. Во-вторых, Вакулин, на него показал Михеев и имя назвал правильно — Иван. И третий, по-моему, это Краюшкин. На кисете вышита буква «К». Больше ни у кого ни фамилия, ни имя не начинаются на «К». Значит, Бокарев, Вакулин и Краюшкин. Кто же из них Незвестный солдат, кто разгромил штаб? Вакулин отпадает: Михеев это доказал. Остаются старшина Бокарев и Краюшкин.

Слушая мои рассуждения, дедушка поглядывал на фотографию, потом сказал:

— На Огородникове могла быть шинель Краюшкина. Или у Вакулина — документы убитого Лыкова. Все могло быть, вариантов много. Запросили военкоматы — это хорошо. И здесь розыск идет.

Он достал с комода местную газету и протянул мне. Я прочитал такое объявление:

«В 1942 году в нашем городе было произведено нападение на немецкий штаб. При этом был убит советский солдат. Лиц, имеющих что-либо сообщить по этому поводу, просьба зайти или написать в редакцию, Агапову».

— Такое объявление и по местному радио сделано, — добавил дедушка.

— А что за Агапов? — спросил я. — Какой такой Агапов?

— Ты его знаешь, Славик Агапов.

— Этот любитель старины?

— Он.

— Он?! А зачем он суется не в свое дело?

— Заинтересовался. Хочет написать, ведь пописывает, я тебе говорил.

— А что он такого написал? «Евгения Онегина»? «Капитанскую дочку»? Что-то я не слыхал такого писателя.

Я сам пописываю, но никому не говорю об этом, мне стыдно, может быть, я графоман. А есть ребята, еще не написали ни строчки, а уже рассуждают, понимают, о своем творчестве, делятся своими творческими планами, кого-то ругают, кого-то снисходительно хвалят, как собратья по перу. По-видимому, таким писателем и был молодой историк Агапов.

Мне неприятно, что он вязался в это дело. Моей монополии тут нет, но при чем здесь этот хищный очкарик? Его не волновал Незвестный солдат, он был для него лишь поводом, материалом, счастливой находкой, которую можно как-то использовать.

Как там ни говори, я разыскал Стручкова, я достал список солдат, я поднял это дело, я был у Софьи Павловны, в школе, у Михеева, у тех же Агаповых. И вот является тип!

Нет, извините, пусть сам поищет!

Это я твердо решил: пусть сам поищет. Напи-

сал в газете, объявил по радио — прекрасно! Пусть продолжает. Он по своей линии, я по своей.

— Прекрасно! — сказал я. — Пусть дает объявления, пусть пишет, это делу не помешает. Но вот этим, — я показал на список солдат, — я буду заниматься сам.

Дедушка ничего не ответил. Не знаю, одобрил ли он меня. Вероятнее всего, не одобрил. Но он хорошо понял, что я имею в виду. От него юный Агапов не узнает об этом списке.

Дедушка наклонился к фотографии, показал на Бокарева:

— Старшина, видно, орел! А все же на войне бывает самый неожиданный поворот событий.

19

Аа, старшина — орел! Его могила, он разгромил штаб. Вот только кисет с буквой «К»...

Мои разговоры с Михеевым, с Софьей Павловной, с теми же Агаповыми были случайными, неожиданными, я застал людей врасплох, они не подготовились, ничего не возобновили в памяти. А сейчас, по прошествии времени, возобновили.

Но идти к Агаповым я не мог: там Славик. Отпадает. К Софье Павловне? Она живет в одном доме с Наташей, и Наташа может подумать, что я ищу встречи с ней. А я не ищу встречи с ней.

Ладно, схожу к Михееву, а там будет видно.

Михеева я застал опять в саду. Опять он стрелял из двустволки по галкам.

Увидев меня, он опустил ружье.

— До чего вредная птица! Человек плоды из земли добывает, а она портит.

— Безобразия! — согласился я и перешел к делу: — Я к вам насчет Вакулина.

— Какого такого Вакулина?

— Раненого солдата, что у вас лежал.

— А откуда известно, что он Вакулин?

— Суду все известно, — пошутил я.

— Не знаю, не знаю... Вакулин... Он мне своей фамилии не докладывал.

Он произнес это, как мне показалось, нервно, даже раздраженно. Он был не такой прошлый раз, не такой спокойный и деловой, как тогда.

Потом он спросил:

— Фамилию-то где узнал?

— В военном архиве.

— Только его фамилию сообщили?

— Нет, известны фамилии всех пятерых. Тот, кого вы показали, Вакулин.

— А из остальных есть кто живой?

— Этого мы пока не знаем.

— Так, — задумчиво проговорил Михеев, — так чего ты спрашиваешь?

— Как Вакулин попал к вам?

— Раненый он был. Привели его два солдата и ушли. Один из них старшина, другой просто солдат.

Я протянул ему фотографию:

— Есть здесь этот третий солдат?

Он надел очки, долго рассматривал фотографию, потом снял очки, положил их в футляр, вернул мне фотографию:

— Не могу сказать, ошибиться боюсь. Может, кто из этих, а кто, не помню. Ивана помню, старшину помню, а третьего не помню. А зачем он вам?

— Как зачем? Выясняем, чья могила.

— Так ведь могила того, кто штаб разгромил.

— Да.
— А штаб разгромил старшина, я ведь говорил.
— Но вы этого не видели.
— Не видел. Только все сопоставление фактов такое. Старшина разгромил, никто другой.
— Допустим,— согласился я,— но где старшина прятался четыре дня?
— Вот этого я сказать не могу.
— Значит, его прятал какой-то местный житель.
— Весьма возможно. Только как этого жителя найдешь, может, нет его и в живых. В войну кто здесь был? Старики или инвалиды вроде меня. Все почти вымерли, и меня скоро не будет. По радио объявляли и в газете писали, может, и пришел тот, кто старшину прятал. Вам лучше знать,— заключил он, вероятно, предполагая, что я имею отношение к этим объявлениям.

Софью Павловну я застал в той же позиции — у телевизора. Смотрела кинопанораму.

На мой вопрос, действительно ли убитый был такой высокий, как она говорила, она ответила:

— И, милый!.. Как теперь скажешь: высокий он был или невысокий... Не стоял он ведь, а лежал... Ночью дело было. Помнится мне, яму длинную копали. А может, показалось, что длинную, я их никогда в жизни не копала, могилы эти. Может, и не такая уж она длинная была. Торопили нас немцы: давай, давай, шнель!

— Хорошо,— сказал я,— допустим. Ну, а кисет — это точно его?

Она даже обиделась:

— Что же я, свой кисет подсунула? Я и некурящая. В молодых годах выкуришь, бывало, в компании папироску, а чтобы махоркой вонять, кисет, да ты что, милый, в уме?

— Возможно, некоторые мои вопросы и выглядят нелепо, вы меня извините,— сказал я,— но очень запутанное дело, и хочется выяснить.

— Чего же тут запутанного? — удивилась она. — Убили солдата, похоронили, сберегли могилку. Теперь вот, говорят, памятник поставили, хочу пойти посмотреть, да ноги не ходят. Может, кто на машине подвезет.

— И долго тут немцы были?

— С месяц, наверно, были, а то и два, недолго пановали.

Я вышел от Софьи Павловны и во дворе столкнулся с Наташей.

Я далек от мистики, но если подсчитать шансы за и против того, что в те несколько минут, что буду пересекать двор, я встречу Наташу, то они будут выглядеть как единица к ста. И вот, представьте, я с ней столкнулся во дворе.

Но главная мистика заключается в том, что, идя сюда, я знал, что встречу ее. Хотите верьте, хотите нет, но был уверен, что встречу. И встретил.

— А, Наташа, приветик!
— Здравствуй!
— Как жизнь?
— Спасибо,— ответила она.
— Школьнички уселись за парты?.. Куют процент успеваемости? — Она не ответила. — В сущности,— сказал я проникновенно,— это лучшее время нашей жизни.

Она и тут промолчала.

Она была в темном демисезонном пальто, в беретке, в темных туфельках, стройная, смугленькая девчонка, к сердцу которой я так и не нашел дороги. Стоишь перед ней, и чувствуешь другой, чужой и чуждый тебе мир, и не понимаешь, почему это происходит.

— Чего ты на меня дуешься? — спросил я.

— Я? С чего ты взял?

— Я же не слепой.

Она пожала плечами:

— Я отношусь к тебе, как ко всем.

Она честно сказала, спасибо! Она относится ко мне, как ко всем, то есть никак. А я отношусь к ней не так, как ко всем. В этом разница.

Но развивать эту мысль значило настаивать на том, чтобы она относилась ко мне, как я отношусь к ней. Конечно, любовь должна быть настойчивой, ее нужно добиваться, надо преодолевать равнодушные, завоевывать женское сердце. Но я не знал, как это делается. Есть такие упорные, настырные ребята, ухаживают, преодолевают безразличие, завоевывают, добиваются, даже женятся в конце концов. Но я думаю, что в итоге ничего хорошего из этого не может получиться. Если сразу не возникла обоюдная симпатия, то она уже не возникнет, как ни старайся.

— Кстати,— сказал я,— у меня есть список солдат.

Она не поняла сразу:

— Каких солдат?

— Ну тех пяти, что на фотографии.

— Да? — оживилась она. — Как это тебе удалось? Она способна на эмоции! Только не в связи со мной.

— Удалось. Тридцать тысяч курьеров доставили.

— Покажи.

Я показал ей список солдат.

— Отдай его в школу,— сказала она. — Ребята этим будут заниматься.

— А ты не будешь?

— Ведь я в десятом,— ответила она, как мне показалось, даже с некоторым сожалением.

Ах, да! Розысками, штабом занимаются восьмые и девятые классы. Десятые классы готовятся достойно завершить полное среднее образование.

Но я был рад, что сказал ей про список, у меня гора упала с плеч, камень свалился с сердца. Я не скрывал этого списка. А докладывать о нем Агатову я не обязан.

— Ну, бывай,— сказал я.

— До свидания,— ответила она.

(Окончание следует)



Алиага Кюрчайлы

Горсть солнца

От матери впервые мне пришлось
Услышать, что такое солнца горсть.
Заслышав странный гул в высокой мгле,
Мы с матерью пугались на земле.
Мы думали, что это самолет,
Фашистский самолет нам смерть несет.
В землянку тотчас убегали мы.
Глаза болели от кромешной тьмы.
Бывало, не выдерживала мать
И тихо принималась причитать:
Кем суждена нам эта темнота,
Была горсть солнца — отнята и та.

Запомнилась навек горсть солнца мне,
Впиталась в сердце с кровью наравне.
Крупница животворного огня
В сырой землянке вылечит меня.
Я понял: солнце в хлебе и воде,
Оно необходимо всем, везде.
И за решеткой, где густеет мрак,
И в чистом поле, где алеет мак.
Пусть только горсть, пусть капля, но она
Свой свет повсюду излучать должна.

Большое солнце над моей страной,
Не горсть, не капля — яркий шар
сплошной.

Но есть края, где солнца ждут давно,
Но есть края, где даже днем темно.
Случается и так — встает рассвет,
Встает рассвет, а солнца в небе нет.
Не позабыть лишенных солнца дней
И причитаний матери моей.
Я целый век пешком готов брести,
Чтоб людям солнце принести в горсти.

Желанье

1

Когда утрата друга тяжела,
Когда у друга безысходно горе,
Я быть желаю во главе стола
На скорбном и почти безмолвном сборе.



Пусть раньше всех меня увидит он,
Когда глазами обведет застолье,
Пусть знает друг, что, сдерживая стон,
Я вместе с ним одной охвачен болью.

2

Когда у друга в доме торжество,
Я за столом могу присесть и с краю.
Пусть раздаются тосты в честь его,
Пусть музыканты искренне играют.

Пусть он не знает, здесь я или нет,
Пусть будут мне не все знакомы лица,
От счастья друга моего и мне
Достанется хоть малая частица.



К морю выбежал малыш
В ясную погоду,
Он купался и нырял
В ласковую воду.
Он купался и не знал —
В море шторм бывает,
Он не знал, что натиск волн
Скалы разбивает.
Он не видел ничего:
Ни беды, ни горя.
Я-то знаю хорошо:
Море — это море.

Перевел Владимир КАФАРОВ

□ □ □



Фиганет Годжа

Ангара

Река передо мной ползет туманом серым.
Неужто по земле струится Ангара?
Как мысль, она течет без удержу и меры,
Здесь воздух свеж и чист, дождем умыт
с утра.

Тайга отобрала людей плечистых, сильных,
Здесь человек суров, степенен, ей под стать.
Здесь грузный горизонт — дорога туч
обильных,

Далекий берег мне хотя б мечтой
достать,

Беседу завязать со старым рыбаком,
Который в тишине стоит над поплавком.
Не двигаюсь и я, не чувствую прохлады.
Вдруг ветер налетит, листья зашелестят.
Купаться в вышине сухие сосны рады,
Коснуться облаков руками норовят.
В Сибири и любовь доподлинней и шире,
Как сибирячек взгляд, бесхитростна она.

Мне нечего сравнить с Сибирью в этом
мире,
Не может быть она нигде повторена.

Когда смежаются ресницы...

Отрезан взгляд — и радость прочь и горе
прочь тотчас,

Когда смежаются ресницы.
Что отражение мое! Оно в плену у глаз,
Но даже солнца свет на землю не струится,
Когда смежаются ресницы.
Какою болью сердце каждого томится,
Знать не дано.

Но оживает Физули для нас,
Когда смежаются ресницы,
Сиянье глаз твоих — с ним не сравню
алмаз,

И вспыхивают взгляды, как зарницы...
Меня ты низвергаешь всякий раз
С высоких звезд в бездонные темницы,
Когда смежаются ресницы.
Все рушится, всем чаяньям отказ,
Когда смежаются ресницы.
Мир беспрсветен, тает сил запас,
Когда смежаются ресницы.

Перевела Елена АКСЕЛЬРОД



Мамед
Франк

Кричал я...

В несчастный час пришлось родиться мне,
когда горела Родина в огне.
И — крохотный — весь дом я удручал:
я целый день кричал, кричал, кричал.

Сперва меня пытались утешать,
потом досада всех родных взяла:
— Коль он и дальше будет так кричать,
так нам придется бросить все дела!

Соседским детям по моей вине
в те дни досталось тумачов вдвойне.
Старухи злились на внучат: — Смотри,
как тот крикун горластый, не ори!

А я кричал... И грудь пустую мать
пыталась, плача, в сотый раз мне дать.
Была мне капля молока нужна,
но не было ее...

Была война.

Перевела
Светлана СОЛОЖЕНКИНА

Мать

Меняется весь мир.
Все в мире зыбко.
И только не меняется она,
Все та же материнская улыбка
Восходит на устах ее, бледна.
Что означает это,
Я не знаю,—
Печаль иль радость,
Вечер иль рассвет!
Деревья отдают цветенье маю,
А люди — сердце.
Так ушел мой дед.
Он был всю жизнь свидетелем трагедий,
Он видел ярость, гнев,
Он знал любовь.
Ветвилось дерево.
Смеялись дети.
Земля пила росу, дожди и кровь.
И время шло.
И так же в даль глядели
Твои глаза,
В которых синь-тоска.
О, эта амплитуда колыбели —
От материнских рук
И в облака!
Меняется весь мир.
Лишь ты, родная,
Лишь ты одна для нас на целый свет.
Что означает это,
Я не знаю,—
Печаль иль радость,
Вечер иль рассвет!

Быть может...

Когда по небу катится луна
И звезды тихо падают за кемпинг,
У моря ты опять сидишь одна,
Быть может, не одна,
Быть может, с кем-то.
Быть может, это чудится все мне
И сердце зря придумывает муки.
Луна смеется.
И уже во сне
Ты мне свои протягиваешь руки.
И шепчешь слово —
Заповедь цветка...
Но почему вновь сердце ревность гложет!
И чайки плачут,
И дрожит рука.
Быть может, разлюбила ты,
Быть может...
И скалы отдаляются в туман,
И лик луны так обнажен над молом.
И ты идешь ко мне над самым морем,
Над вечностью,
Чье имя — океан.

Перевел Анатолий ПОПЕРЕЧНЫЙ



**Бахтияр
Вагабзаде**



Ужель для счастья только
нам наша жизнь дана?
Но если миру горько —
не наша ли вина!

Не наша ль это участь —
и страх его и боль,
порой и злесь и мучась,
весь век нести с собой!

Да, жизнь — прилив и снова
отлив, и тьма, и свет,
и главное — основа
той, что придет вослед.

Фаэтон

Проходит фаэтон
по улицам Баку.
Проходит фаэтон
по улицам Баку.
Похож на странный сон,
что снится чужаку.
Двадцатый век — и вдруг
из тьмы былых веков
здесь, на асфальте, стук —
негромкий стук подков.
И не могу постичь,
откуда выплыл он,
возницы древний клич...
Проходит фаэтон...
О мерный стук копыт!
Куда ему спешить?
Наш день, наш шумный быт
ему не заглушить.
Но он давным-давно
возник в нас для того,
чтоб памяти окно
открылось для него...

Взгляд бабушки моей
упал на фаэтон,
и встречи юных дней
и даль былых времен
возникли в тот же миг,
не покупая ни в чем.
День свадьбы вдруг возник,
все заслонив плечом.

О, так же, как тогда,
усесться в экипаж
и — в прошлые года!
Да разве это блажь!

Да разве это жест
лишь прихоти пустой?
Нет! Зов знакомых мест,
клич юности святой!
Эпоха длинных лент,
где плещут кружева,
пройдет хоть сотня лет —
для бабушки жива!
По ней — тот полдень жив,
тот вечер. Но зато
вся современность — миф
и попросту ничто.
Пусть экипаж — старье,
не зря грустит она:
иль молодость се
не им увезена!

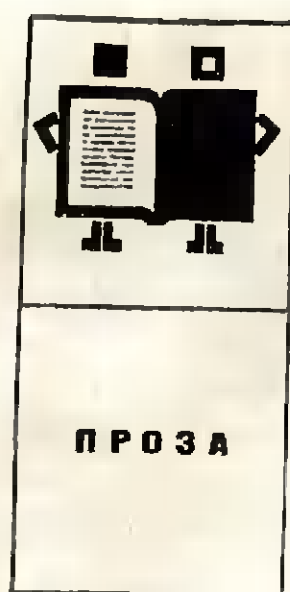
Проходит фаэтон
по улицам Баку...
Проходит фаэтон
по улицам Баку...
Вот встреча двух времен —
проносится в мозгу.
О этот мерный звук,
раздавшийся с утра, —
так по сегодня вдруг
зацокало вчера.

С советом не спешу,
но ты себя спроси:
— Я модный плащ ношу,
я езжу на такси —
ужель регресс меня
погубит на ходу,
когда хоть раз коня
машине предпочту,
когда, качнув ступень,
в небыстрый тронусь путь,
чтоб вникнуть в давний день
и дедов помянуть!..

Поэт

Порой еще слышна такая речь:
— Поэтов же у нас! Сверх всякой меры!
Нет, общество пора предостеречь,
ему нужней врачи да инженеры.
Нашли чего бояться. Экий бред!
Где есть стихи, там есть и убеждения.
А человек мечты — всегда поэт,
пусть ввек не написал стихотворенья...
Нашли о чем жалеть: поэтов тьма!
Жалейте, что бездельников немало!
Строка-то не рождается сама,
так вам пред ней гордиться не пристало.
Из всех творцов поэт милее мне:
он сотни тайн, не ведая предела,
в недостижимой ищет глубине,
тут дело не в словах — тут в мысли дело!
Лишь боль поэта порождает стих,
и эта боль сильна великой силой.
Твержу вам: самый маленький поэт —
великий сын своей Отчизны милой.
Шум рек родных вошел поэту в кровь,
а каждый вздох летит к родимым высям.
Иной и без Отчизны жив-здоров,
но вот уж стих без Родины немыслим...

Перевел Юрий РЯШЕНЦЕВ



Алексей Чупров

ТРИ РАССКАЗА

Рисунки М. Лисогорского.

1. Мячи и роза

1. Обойдя все залы выставки, я остановился в последнем у женского портрета. Фон на портрете был грязно-серым. Верно, художник несколько раз его переделывал, да так и забросил.

Тем ярче смотрелась молодая женщина. Она сидела на садовой скамье в черном бархатном платье и черном, на старинный манер, берете, из-под которого выбивались пепельные волосы.

Лицо ее, с мягко обозначенными скулами, было в три четверти повернуто к зрителю, и она легко улыбалась. Так обычно умеют улыбаться красивые женщины знакомым и приятным им людям.

Но прежде лица и белых тонких рук, сплетенных в пальцы на коленях, я увидел светлую розу, приколотую у нее на груди к почти глухому платью.

— Хороша! — услышал я за своей спиной и обернулся.

Позади, оценивающе склонив голову, стоял щегольски одетый и оттого, несмотря на лысину и брюшко, моложавый человек.

— Хороша! — повторил он, как-то по-особому громко прищелкнув пальцами, и посмотрел на меня. — Так ведь?

Я кивнул.

— Только вот фон... фон... — шагнул он ко мне. — Пространство, что ли, надо было бы дать или что-нибудь этакое, — он опять прищелкнул пальцами, — контрастирующее. Посмотрите сюда. — Он одной рукой вежливо отстранил меня, а другой, оттопырен-

ным мизинцем, указал на картину. — В той части видно, как он работал; вон белое пятно сквозь грязь. А ведь мог великую вещь сделать — Моложавый человек сердито махнул рукой. — Или вот эта роза... К чему она? От нее чем-то прежним пахнет...

Не столько смысл его слов, сколько манера говорить с этим прищелкиванием пальцами раздражала.

Я спросил:

— А кто это?

— Как, вы не знаете?! Это же давний портрет... — И он назвал имя жены известного писателя, который умер много лет назад.

И едва он назвал ее, я, уже не слыша и не замечая ничего, невежливо отошел от него. Я внезапно ясно вспомнил, что был знаком с этой женщиной, однажды разговаривал с ней и здоровался.

2. В ту пору мы жили в центре Москвы.

Наша улица, которую за узость и извилистость даже трудно было назвать улицей, соединяла Бульварное кольцо с Садовым.

Машины здесь проезжали редко; чаще появлялся старьевщик на своей биндюжной лошади, со звоном пустых бутылок в повозке и цоканьем копыт по булыжной мостовой.

Шум города сюда почти не долетал; и трудно было поверить, что это центр, ведь понятие «центр

Москвы» у приезжих, да и у самих москвичей сливается с суетой толпы, нескончаемыми потоками машин и синеватой бензиновой дымкой...

Двор отгораживался от улицы невысокой каменной стеной. К стене лепились сараи, в которых, кроме дров, не было ничего путного.

Двор вместе с забором, линией сараев и домами напоминал построение пехоты против конницы — каре. Но в одном месте — между правым желтым с подтеками флигелем и центральным трехэтажным домом, украшенным по фасаду фальшивыми колоннами, — каре прерывалось высоким, в два человеческих роста забором, который своей добротной прочностью чуждался ветхости нашего двора. Толстые доски забора были и с той и с другой стороны набиты внахлест и перекрывали друг друга.

Если смотреть от ворот, за забором можно было увидеть верхушки яблонь, старые липы и между

ними второй верхний этаж особняка с забавным коньком на крыше и трубой в железных оборках.

Здесь прежде жил знаменитый писатель.

Рассказывали, что до войны дом, поставленный на широкую ногу, отличался хлебосольством. Но с войной и со смертью писателя беззаботное шумство утихло...

Перелезая по ту сторону забора нам, детям, запрещалось строго-настрого. Так повелось издавна.

Сколько было пролито слез, сколько ссор было! Особенно из-за мячей, которые навсегда исчезали в заповедном для нас саду.

3. Тем предлетием я окончил без троек шестой класс и получил, как и было обещано, в подарок от родителей настоящий футбольный мяч.

Теплым зеленым утром я вынес его во двор, сел у палисадника на широкую, прогретую солнцем ска-



мейку и с наслаждением вдохнул в себя запах мяча: запах кожи, краски и отдельный влажный запах белой сыромятной шнуровки.

Из подъезда флигеля вынырнул Сережка Коваленко — мой приятель, старше меня на год.

— Погоняем! — крикнул он, подбегая и легко выбивая из моих рук мяч.

Мы еще не успели вспотеть, как из раскрытого черного окна полуподвала раздался свист, а следом вылезла и подбежала к нам худенькая большеглазая девочка в сарафане — Галка, Сережкина одноклассница.

— Я с вами! — закричала она.

Девчонки не умеют играть в футбол. Даже если всю жизнь их учить этому, они бы не научились. Они могут очень быстро бегать, даже водиться... Но ведь главное в футболе — умный удар. Чтобы он получился, надо бить по мячу либо щечкой — внутренней стороной стопы, либо шведкой — ее внешней стороной, либо оттянутым носком. Девчонки бьют только пыром, отчего мяч взлетает высоко вверх и летит бог знает куда.

Меня они, конечно, поставили на ворота между двух кирпичей у забора, а сами принялись гонять мой мяч по плотно утрамбованной земле нашего двора. И сразу Галке удалось отжухать одиннадцатиметровый.

Сережка тщательно отсчитал шаги, провел носком ботинка борозду черты и поставил на нее мяч.

Я сжался, готовясь к броску.

Заправски — сбоку по дуге — Галка разбежалась и ударила...

Мяч на мгновение завис над забором и опустился где-то там... в саду.

— Дура! — закричал я Галке. — Дура, лезь теперь.

У нее поджались губы и глаза сузились.

— Подумаешь, — сказала она и, обхватив руками смуглые углы плеч, отошла как ни в чем не бывало и уселась на скамейку болтать ногами.

Я подошел, сжав кулаки, и наступил на ее тень.

Между нами, лицом ко мне, встал Сережка.

Из сарая я вытащил тяжелую, с прогнилыми ступенями лестницу, сыrovато пахнущую грибами, доволоч ее до забора, приставил к нему и осторожно полез вверх.

Повиснув на руках на другой стороне, я покрутил головой, никого не увидел и мягко спрыгнул в еще мокрые от росы лопухи и полынь.

4. Сад отцвел. Только старая, узловатая в стволе груша роняла вокруг себя белые лепестки.

И особняк, и черные стволы лип, и темно-зеленые со светло-фиолетовыми пышными хлопьями кусты сирени были видны сквозь шелестящую завесу отполированных солнцем серых ветвей и плотных листьев яблонь.

Со стороны трех вокзалов донесся протяжный низкий гудок.

Еще не думая о том, как выбираться отсюда, я принялся разыскивать мяч и быстро нашел его в невысокой траве.

Я даже не обрадовался: теперь надо было лезть через забор, чего я без лестницы не мог сделать, или идти искать выход.

Неожиданно меня окликнули. Я повернулся. Ко мне спокойно шла высокая женщина средних лет в длинном черном халате с большими яркими цветами и птицами.

— Мальчик, вы к кому? Ко мне? — спросила она строгим голосом, но улыбаясь при этом.

Невозможность бегства и это «вы» навели на меня панику.

— Здравствуйте, — пробормотал я и заковырял носком сандалета землю. — Мой мяч... Сюда...

— Понимаю, — сказала она и замолчала.

Из-за забора меня пронзительным свистом позвал Сережка.

— Елена Алексеевна, — сказала женщина и подала мне ладонью вверх руку. — Это, верно, вам свистят?

— Вячеслав, — назвался я отчего-то своим полным именем и быстро дотронулся до ее пальцев.

— Значит, Слава, — сказала женщина. — Дело в том, Слава... Ах, да как же я вам это объясню... Дело в том... — Она вскинула к небрежной прическе руки, и черный шелк просторных рукавов соскользнул к предплечьям, обнажая белизну кожи. — Нет, лучше идите за мной...

Она повернулась и легко пошла по дорожке между свежеекопанных яблонь, отводя осторожно по пути неподатливые ветви.

С них сыпалась роса, и мне то и дело доставалось несколько капель за шиворот.

В воздухе, как пенный след за кораблем, плыл ясно различимый, теплый запах духов.

— Вы зайдете или хотите подождать? — спросила женщина, останавливаясь на лужайке перед домом и оглядываясь на меня, загородив ладонью глаза от солнца.

— Подожду, — ответил я грубоватым голосом, пытаясь скрыть непроходящее смущение.

— Только, чур, ждать, а не бежать, — погрозила она мне пальцем.

Не успел я осмотреться, как женщина приоткрыла скрипучую маленькую дверь (верно, черный ход) и, распахнув ее ногой, вышла, неся в руках глубокую ивовую корзину, покрытую серым холстом.

Она поставила корзину передо мной и, легко передохнув, сдернула холстину.

В корзине были мячи.

Женщина присела на корточки и принялась их перебирать.

Я с недоумением смотрел на нее сверху вниз и видел седые проблески в необычных пепельных волосах, и тонкие брови, и черные ресницы, и пудру на носу.

Мячи были самые разные. Тряпичные, военных лет; и какой-то плотный гуттаперчевый, несколько теннисных, которыми так удобно играть в штандарт, и резиновые двухцветные — красное с синим; лежал здесь и деревянный пистолет, завороненный тушью, и кукла-самоделка...

— Это ваше, — сказала женщина и, запрокинув голову, снизу посмотрела на меня.

— Нет... Что вы! — возразил я с испугом. — Моих игрушек здесь нет... Только пистолет этот... кажется...

— Не ваше, но все равно ваше, — упрямо сказала она, поморщилась и наклонила голову.

Я подумал, что она сейчас заплачет; и мне стало не по себе.

— Я собирала... Ждала, что кто-нибудь придет за ними. Я ждала... — И спросила очень звонко: — Вы возьмете?

Я молча кивнул.

Женщина помогла мне донести корзину до калитки.

5. Теперь, изредка встречая ее на улице, я здоровался. Она, к моей радости, отвечала и спрашивала с особенной приятной улыбкой:

— Что же вы не заходите?

Потом просто здоровалась, с годами уже не узнавая...

2. М и т я - М и т я

1. Просыпаться в понедельник Мите ох как трудно! И все неприятно: и свет лампы, и шум электрического чайника, и радиомузыка за стеной у соседей.

Даже голос мамин и ее: «Дима вставай!» — неприятны. И почему опять — Дима? Раньше всегда был Митя-Митя. Это папа придумал. Папу зовут Митя, и его — Митя.

Папа любил подкидывать его и кричал при этом: «Митя-Митя!» — так что первое «Митя» приходилось на сладкий и замирательный миг, когда он был в самом верху, а второе «Митя!» он слышал, уже оказываясь в тугих отцовских руках и обретая привычную устойчивость.

Недавно папа уехал, и теперь мама зовет его просто Дима.

Вот и встал.

На линолеуме босым ногам зябко, как в холодной луже, а тапочки непонятно где. Ищи теперь... Ага, под папиным столом.

В приоткрытую дверь из кухни тянет запахом пережаренного лука... Опять будет картошка с луком и вареное всмятку яйцо...

Мама идет.

Мамины тапочки не шаркают, как у старушки Елены Ивановны, и не топают, как у старого ее сына, Тимофея Ильича, а так: чирк-чирк,—легко!

Сейчас мама зайдет в комнату с шипучей сковородкой и скажет: «Ты еще не умывался...»

Мама вошла, держа ухват со сковородой двумя руками, и рассердила лицо, насупилась:

— Ты еще не умывался?

Какая она угадливая, мама!..

Под локтем у нее прижата газета.

Свежая газета всегда пахнет чем-то, вроде простого мыла, и ее приятно нюхать.

Митя прокрался, будто он идет мимо мамы в ванную... и выхватил газету.

Ах, какой запах!

Из листов газеты упала открытка.

Митя и мама нагнулись одновременно, но Митя-то ближе к полу.

Вот так открытка! Гладкая, голубая! На ней море, и пляж желтый, и люди раздетые. Жара! Здорово!

А на другой стороне крупными печатными буквами написано: МИТЮША — и еще какие-то слова помельче, а совсем в конце так же крупно: ПАПА.

Сердце у Мити забилося, ему даже жарко стало.

— А мне папа прислал, а мне море прислал! — прыгая и размахивая открыткой, запел Митя.

Он приплясывал, и крутился, и сперва даже не услышал, как мама сказала: «Дай сюда...»

— Дай сюда! — повторила мама.

Митя остановился, посмотрел на нее и отдал ей открытку.

— Вслух прочитай,—попросил Митя.

Он думал, что мама скажет обычное: «Ну и хитрец, такой большой, а мама за него читать должна...»

Но мама, сжав губы, словно играла с ним в молчанку, взяла открытку и разорвала ее, сперва пополам, потом еще, и еще, и еще... И сыпала на стол обрывки из разжатого кулака.

Вот как просто. Море было, и пляж, и люди на песке; и — трах! — ничего!

— Делай все быстрее, мы не укладываемся со временем,— сказала мама тихо.

— Отдай мою открытку.

— Тебе она не нужна.

— Отдай мою хорошую открытку.

— Возьми,—указывая на стол, пожала плечами мама.

Митя схватил клочки в горсть, размахнулся... и открытка рассыпалась на полу.

Белое и голубое... Даже красиво!

— Отдай открытку! — закричал Митя и услышал свой голос.

У Мити задрожала нижняя губа, и подбородок сморщился ямочками.

Мама крепко взяла Митю за руку и повела умываться.

2. За окном голые ветви деревьев обсыпаны ледяными ягодами дождя. «Наш город северный,— говорил Мите папа,— а есть еще города южные, и в них всегда тепло...»

Где папа?

Митя думал об этом все время — и на музыкальных занятиях и на лепке.

Стали играть в жмурки, и ему выпало водить.

Воспитательница туго завязала ему глаза полотенцем и несколько раз повернула цепкими руками за плечи.

Митя стоял посреди светлого зала в темноте и думал о папе; он даже видел его перед собой, видел, как папа распахивает дверь и входит в их комнату.

— Чертков! Ну, что же ты?! Води... — нетерпеливо сказала воспитательница.

Митя, растопырив руки, пошел по залу искать аукующих детей.

За обедом Митя решил, что надо обязательно найти папу, только не знал еще, как это сделать.

В спальне на «мертвом часе» Митя с головой залез под одеяло.

Он должен обязательно разыскать папу и рассказать ему, как мама шлепнула его сегодня утром ни за что, и как потом, когда шли в детский сад и он ненарочно вступил в лужу, мама сказала, что он со зла забрызгал ее грязью, и так дернула за руку, что, будь рука чуть послабее, она бы оторвалась...

— Чертков,— глухо за одеялом сказала воспитательница,— ты что там делаешь? Где у тебя руки?

Она отдернула Митино одеяло, положила Митю на бок, сложила ему руки под щеку и крепко закутала под самый подбородок.

Митя крепко зажмурился и решил, что он убежит к папе; он хотел не спать и придумать, как это можно сделать получше.

Папа, наверное, на юге — на открытке была жара. Если добраться до вокзала и сесть там на поезд, а на поезд одного не посадят, у него нет билета... а он попросится у какого-нибудь дяденьки, и тот возьмет его; и если сесть на поезд и доехать до самого конца, до юга, где море, а там пусть в милицию заберут,— он скажет милиционеру папину фамилию и имя, и папу найдут... И он все расскажет папе... И они заживут вместе.

3. Когда Митя проснулся, дождь кончился, и после полдника их группу повели гулять.

В старом парке было голо и пусто. И уже были сумерки.

Скамейки, которые на той неделе еще стояли по бокам длинных аллей, сегодня сбились в голубое стадо на детской площадке.

Ветер то налетал, и тогда было слышно, как шумят ветви и скрипит старое дерево, то утихал, и тогда становилось теплее.

Играли в салочки.

Мите не хотелось носиться со всеми.

Мысль о побеге к отцу, конечно, должна была быть тайной, но Митя страстно желал рассказать кому-нибудь о ней, и это желание было сладким.

Митя подошел к воспитательнице и спросил:

— Полина Андреевна, скажите, пожалуйста, а вот на поезде куда доехать можно?

— Довсюда, — ответила Полина Андреевна и отвернулась, потому что в это время Светка Полякова, устав водить, нарочно споткнулась и заплакала.

За спиной Полины Андреевны Митя отошел сперва к черному, отсырелому стволу толстого дерева, потом перебежал за трансформаторную будку, постоял там немного с быстро бьющимся сердцем, затем прокрался по поляне, мягко застеленной мокрыми, опалыми листьями, нырнул в плотную стену кустарника, выбрался из нее и очутился рядом с оградой.

В одном месте две соседние круглые пики частоты чугунной черной решетки были слегка искривлены, и Митя пролез на улицу.

4. В трамвае горел свет, и на мостовой по бокам вагона мчался и раскачивался его раскроенный отпечаток.

В ребристый пол вагона было ввинчено много металлических колец. Митя сидел, рассматривал их и думал, для чего они.

— Проезд оплачивать будем? — крикнула Мите со своего высокого сиденья кондукторша.

У нее сумка с медными планками елозила по толстому пальто.

— Я маленький, — сказал Митя.

— Маленький... Не слепая покамест... Куда тебя несет, маленький?

— Я к тете Вере еду. Она больна. Мама велела... — сказал Митя, хотя тетя Вера была не у него, а у Антошки; их кровати стояли рядом в спальне детского сада; и она была здорова. — Она у вокзала живет.

— Эх уж эти матери нынешние! Поросю бы им не дала воспитывать; мыслимо ли, мальчишку через весь город слать?..

— И не говорите... — подхватила Митина соседка в сером платке. — У них нынче одна забота: навьется, напмажется и айда на танцульки...

Мите стало обидно за маму и даже стыдно, будто эта женщина знала ее и на нее махнула так, с усмешкой, рукой.

Митя встал, чтобы пересесть.

— Сиди, мальчик, сиди, — сказала женщина, сама приподнимаясь и усаживая его за плечи. — До вокзала еще ехать и ехать...

5. Высокий зал ожидания понизу был занят людьми, которые сидели и лежали на скамьях, стульях, чемоданах; а остальное его пространство до потолка было наполнено гулом разговоров этих людей и острым запахом привокзального ресторана.



Под потолком, рядом с сияющей люстрой, на длинной нитке висел розовый воздушный шар.

Он то и дело дергался, как поплавочек. Это смеялся мальчик-пассажир, к пальцу которого была привязана нить.

Во множестве людей Митя старался отыскать того человека, к которому можно было бы подойти.

Из дверей ресторана вышел коренастый, хорошо одетый белобрысый мужчина. Он в распахнутом пальто, с непокрытой головой небрежно и легко шел через толпу.

И оттого, что он так шел мимо озабоченных людей, и оттого, что при этом он был так белобрыс, мгновенно и тепло расположил Митю.

Он протиснулся к мужчине и, задржав голову, сказал:



— Дяденька...
— Чего тебе? — улыбнулся мужчина.
— Вы уезжаете?
— Покидаю сей град...
— А куда вы едете?
— На юг еду...
— Возьмите меня с собой... мне надо...
— С собой? — Мужчина присвистнул. — Вот ты даешь...

Митю толкнули, и мужчина сильной рукой придвинул его к себе.

— Давай сядем...

На скамейке, еще за полмига до этого плотно занятой людьми, волшебным образом обнажился коричневый полированный край.

— Значит, на юг махнуть желаешь? — весело глядя Мите в глаза, спросил мужчина. — Солнца захотелось, или жена заела, или выговор по партийной линии схлопотал?..

— Я папу ищу, — перебил его Митя. — Папа уехал и не приезжает.

— Папу? — переспросил мужчина, нахмурясь, и не заметил, как Митя преданно кивнул. — Папу...

Мужчина достал блестящую папиросную пачку, мгновенным фокусом распечатал ее, встряхнул, и выскочила сигарета.

— А ты что же, из детдома, матери нет?

— Есть...

— Тогда ты, товарищ, по-моему, не дело затеял... — Он красиво воткнул сигарету в толстые губы, спрятал пачку и похлопал рукой по карманам.

«Зажигалка?!» — замер в ожидании Митя.

— Ах да, здесь курить не положено... Конечно, не дело... У папы, может быть, дела свои какие-нибудь. Работа, к примеру... Для пользы общества и твоей, значит, с мамой пользы... Работа — это такая штука, что отдай, и все тут...

Мужчина разломал пальцами сигарету, белое с

табаком кинул в урну, и у него остался золоченый бумажный фильтр, похожий на тяжелую пулю. Он поиграл ею в ладони и бросил следом... В урне не зазвенело...

— Такие пироги... Ясно?

«Не возьмет», — понял Митя.

— Дяденька, возьмите меня, пожалуйста. Я не помешаю... Я не есть могу.

Мужчина, поддернув рукав, посмотрел на часы.

— Двадцать минут осталось, — сказал он и встал. — Ты посиди... И чтоб никуда, — погрозил он Мите пальцем и теплой ладонью провел по его щеке. — Я сейчас...

Полная женщина рядом с Митей посмотрела долгим взглядом вслед белобрысому мужчине; вытащила маленькое зеркальце, помадный карандаш и, выкрутив его карминовое жальце, дважды провела плавно по нижней губе, а затем, приглядываясь в круглый холод зеркальца, она тщательно подкрасила верхнюю губу, словно подвела усы.

Митя улыбнулся.

Мама тоже красила губы.

Митя внезапно вспомнил ее и подумал, что она, наверное, уже пришла за ним в детский сад.

Что же она делает, раз его нет?

Ушла домой или его ждет?

А чего его ждать, если он, может быть, уедет сейчас с этим веселым и белобрысым?

— А, вот он, разбойник!

Митя поднял голову.

Белобрысый мужчина стоял рядом с синим милиционером.

— Ну, браток, тебя, небось, теперь и УГРО знает... Прославился, можно сказать, — забасил милиционер.

— Совпадают приметы? — спросил белобрысый.

— Приметный мужик; глазища вон какие... — сказал милиционер и пожал мужчине руку. — Спасибо.

— Чего уж там... Ты иди,— сказал мужчина Мите,— и не обижайся. Вырастешь, сам во всей диалектике разберешься... Давай лапу.

Он протянул Мите руку.

Митя не привык так прощаться, и он постеснялся теперь, когда много людей стояло и смотрело на них, подать незнакомому человеку свою руку. Он покраснел до слез.

— Характер! — весело кивая на Митю, сказал мужчина.

6. Милиционер ввел Митю в раздевалку детского сада.

Митя, щурясь от света, сквозь радугу ресниц увидел маму. Она сидела на малышковской низенькой банкетке, опустив голову на связанные в пальцах руки.

Она глянула на вошедших из-под челки прически, будто не узнавая Митю.

«Это я, Дима», — хотел сказать он.

Мама поднялась и быстро шагнула к ним.

— Митя! — закричала она сквозь слезы. — Митя!..

3. Впервые в мире

1. Варя и Катя шли по мягкой пыли вечерней деревенской улицы. Изнанка их резиновых сапог была отвернута на голенища коричневыми манжетами. У Вари эти манжеты туго охватывали икры, а при каждом Катином шаге сапоги хлопали на ее легких ногах.

В руках девушки несли одинаковые лакированные туфли с низкими каблуками. Катя держала по туфле в руке и размахивала ими, Варя же несла свои в чуть откинутой правой руке, крепко сжимая туфли пальцами, и пальцы устали.

— Глянь-ка,— сказала Катя,— в клубе света нет, а мы спешим.

— Он, верно, энергию экономит. Сегодня до ночи — из второй бригады должны приехать, танцы репетировать...

— Что ж мы про Мишку Ивану Донатовичу говорить станем?

— А все как есть.

— Свое предложение внести не побоишься?

— Меня не убудет... Черемухи что-то захотелось; запаха ее. Я вот...

— Вечно у тебя глупости... Весной осени охота; а нынче, от те на — черемуха спонадобилась. На кой ляд...

— Я вот думаю, почему же все устроено так: черемушин запах сладкий-сладкий, а, к примеру, у капусты такого запаха нет...

— Надо было тебе десятилетку кончать, а потом в институт подаваться, все бы и выведала...

— Да нет, про такое в учебниках нету...

2. Посреди сумрака бревенчатого зала на любимом своем табурете-вертушке сидел Иван Донатович Ястребов, заведующий клубом.

Табурет этот, вертушка, бог весть как попал сюда. Такие белые табуреты с тяжелыми металлическими сиденьями обычно стоят в лабораториях и зубо-врачебных кабинетах. Если винт табурета хорошо и регулярно смазывать, то, сидя на нем и отталкиваясь одной ногой, можно карусельничать до веселого головокружения — то вверх, то, наоборот, вниз.

Иван Донатович был в том возрасте, который называют возрастом Иисуса Христа, то есть ему было тридцать три года; и, хотя при этом Иван Донатович был рыж, он не считал свою жизнь конченной.

От дверей раздалось робкое покашливание; не

оборачиваясь, Иван Донатович оттолкнулся одной ногой и произнес:

— Смелее, юноши, смелее...

Табурет остановился на третьем витке, но неудачно, так что Ивану Донатовичу пришлось еще чуть подтолкнуться, чтобы очутиться лицом к вошедшим.

— А, это вы... Ну что, нашли Михаила?

— Найти-то нашли,— сказала Варя,— да проку...

— Как понимать-думать, в смысле — запил?

— В тыщу раз хуже...

— Жениться удумал? — прищурился Иван Донатович.

— В город податься хочет.

— Кто?!

— Да он, он... Мишка Глазов, кто ж еще,— зачастила Катя.— Мать с утра перед ним на коленях, как перед образом, стоит... Ни в какую...

— Интересно,— вставая с белого табурета, сказал Иван Донатович.

Сложив руки на груди, так что под парусиной пиджака обозначилась тугая спина, он сделал несколько решительных шагов назад и вперед.

— Выражаясь по-русски, он нас дезавуирует... Наплевал Михаил Глазов на наш самодеятельный коллектив...

— Вот именно, Иван Донатович,— сказала Катя.— Кто же теперь Отелло играть станет?

— Развал культпросветработы,— прижал пальцы к вискам Иван Донатович.— А я уже по инстанции... классик на селе, так сказать, Шекспир в гостях у тружеников полей... Чуяло мое сердце, с частушками останемся... Горит воспитательная работа. Может, мне на Глазова воздействовать?

Катя махнула рукой.

— Ясенько... Что ж, попробую сам в Отеллину шкуру влезть; не срывать же задумку... Режиссер — это весь театр, от пожарника до примы... Давайте пока частушки.

Варя и Катя зашли в темный дальний угол и сели на скамью переобуться.

— Чего ж ты молчишь?

— Да полно тебе...

— Эх, ты... «Я, я...», а сама...

— Чего вы там шепчетесь? — спросил Иван Донатович, вновь оседлав свой табурет и покручиваясь на нем раздраженно.

— Да вот Варька,— выходя из угла, сказала Катя,— в Отеллы хочет, а сказать не смеет.

— Чего, чего? Кто в Отеллы?

— Она это дело, пьесу, значит, назубок знает. Шпарит прямо по нему, по Шекспиру, без шпаргалок... А этот отрывок, ну, который у нас, где он сильно ревнует, она особенно душевно за них за двух рассказывает, за негра и за девушку эту... Прямо жалко.

— Очень интересно... Дорофеева, ну-ка, хватит скрываться по углам, шагай к рампе.

Варя, другая, в лакированных туфлях, вышла на середину.

Иван Донатович поднялся с табурета, подошел к закатному окну и задумался там.

— А чего,— обернулся он к девушкам.— Очень даже ничего! — Иван Донатович, пританцовывая, подошел к Варе.— Это ж впервые, получается, в мире... Чтобы... Да... Это же не то что в районе, в области осветить должны! А? Молодец! Молодец, товарищ Дорофеева; я всегда внутренним монологом считал, что чего-то в тебе есть... А?!

Иван Донатович обошел Варю, осматривая.

— Все так...— вздохнул он.— Только...

— Я вправду постараюсь,— сказала Варя и покраснела.

— ...и даже сажай мы тебя чище негра отделаем... да только вот бюст твой куда мы спрячем?!

Иван Донатович осторожно дотронулся до Вари.

— Конечно, по всем законам эстетики такое не прятать надо...

Варя наклонила голову.

— Ей это дело латами бы какими-нибудь замаскировать,— сказала Катя.

— Разумно... Вот здесь и вот здесь... Решено и подписано... Теперь сперва частушки, а потом Варю попробуем.

Иван Донатович перенес свой табурет поближе к сцене, занавешенной синим бархатом.

— А девушку эту, Дездемону, можно мне исполнить? — спросила робко Катя.

— Поглядим там. Пока пойдя свет включи...

3. Варя и Катя встали перед синим бархатом, отчужденно глянули друг на дружку и завели: Катя тоненько, с дребезжанием, а Варя бари-
тонисто, сильно:

Председатель, председатель,
ты про все у нас страдатель.
Не страдаешь лишь пока
про надон молока.
Вот вечер сбежал бугай...
Председатель, не ругай.
Охудели все коровы...
А бугай такой здоровый...

— Стоп, стоп,— захлопал в ладоши Иван Донатович.— Это, девушки, пожалуй, слишком смело. На концерт, глядишь, кого из района принесет. И потом... председатель у нас не хухры-мухры, а заслуженных кровей, зачем его травмировать?

— Да не обидится, товарищ Лагутенков,— сказала Катя.— Он уже их у нас на ферме слышал.

— На ферме — не на народе... Да и не в обиде дело...— Иван Донатович встал и прошелся перед сценой.— Работника искусств чьи-нибудь обиды страшить не должны. Мы пахари сердец и сеятели мысли... А над частушками еще есть время подумать...

— Дальше исполнять? — спросила Варя.— Только баян бы надо, всухую не поется.

— Потягушки ваши любовные я каждый божий вечер под окнами слышу... Давайте Отелло.

4. На сцене составили стулья. Иван Донатович притащил свой белый табурет.

— Он будет ночной столик изображать, а я — изменницу,— сказал он и, взяв толстый однотомник Шекспира, лег на стулья.— Минуточку, сейчас постараюсь вписаться в образ.

Иван Донатович поершил свои жесткие волосы, несколько раз глубоко вздохнул, полистал книгу и сказал:

— Попробуем отсюда:

Никогда он этого не скажет.

Варя плавно наклонилась над ним и тихо и тяжело сказала:

— Теперь не скажет. Рот его закрыт.
То сделал честный Яго.

Иван Донатович для удобства перевернулся на бок и, подперев голову рукой, продолжал:

— О, мне страх мой
Подсказывает правду! Он убит?

Варя отступила на шаг, отвернулась от него и, глядя в пол, сказала:

— Будь жизнями все волосы его,
Мое отмищенье всё бы их пожрало.

— Ты поспокойнее, Варвара,— беспечно сказал Иван Донатович,— текст ты знаешь... Значит, так:

Он оклеветан! Я погибла!

Варя снова шагнула к нему и сказала громким шепотом:

— Шлюха!
Ты предо мною слезы льешь по нем?

Иван Донатович усмехнулся и прочитал:

— О, прогони меня, но дай мне жить!

Варя растопырила пальцы, протянула руки, будто пытаюсь схватить Ивана Донатовича за горло, и прошипела:

— Сгинь, шлюха.

Иван Донатович сел, заглянул в книгу и пальцем нашел строку:

— Убей хоть завтра! Дай пожить сегодня!

Варя вдруг схватила его за плечи, повалила на стулья и зарычала:

— Ты борешься...

— Эй, Варвара, ты чего? Отпусти!

— Хоть полчаса! —

быстро за Дездемону сказала Варя и, не отрываясь от Ивана Донатовича и глядя на него почернелыми глазами, медленно произнесла:

— Я начал, я и кончу.

Однотомник с «Отелло» в переводе Лозинского упал на пол, загремел белый табурет.

— О, дай прочесть мне хоть молитву! —

подсказала восхищенная Катя.

— Поздно...— выдохнула Варя.

Иван Донатович забил каблуком по стулу и зама-
хал руками.

— Варь, Варь,— задергала Варю Катя,— там уже за сценой кричать должны.

Варя отпустила Ивана Донатовича, разогнулась и тяжело вздохнула.

Иван Донатович поднялся со стульев, по-куриному встряхнулся и закричал:

— К едрене фене этих ваших Отелл и Шекспиров... Оставляю одни частушки!



**Андрей
Вознесенский**



ЛЕД-69

Из дневника полярного геолога

Андрей Вознесенский принес в редакцию «Юности» свою новую поэму. Она посвящена памяти московской студентки Светланы Поповой, трагически погибшей в лыжном походе.

Нельзя без волнения читать письмо отца Светланы поэту:

«Поэту Андрею Вознесенскому.

Случилась большая беда.

...В районе Мончегорска в лыжном походе погибла студентка 2-го курса биологического ф-та МГУ Светлана Попова. Светланке было 20 лет, она одинаково хорошо знала математику и литературу. Ее интересовало все: Эйнштейн и евангелие, славянский язык и эсперанто, проблемы биологии и проблемы литературы. Светлая, солнечная, с большой волей, совершенно бесстрашная (нам казалось, что у нее нет инстинкта самосохранения) и с хрупким телом, которое она стремилась привести в соответствие со своим духом. Одета, как мальчишка, в брюки и ковбойку, чуждая человеческому и женскому тщеславию, она вечно была окружена мальчишками и девчонками. Кипели споры, рождались идеи. Такой она была и такой вечно останется в нашей памяти.

И вот капитан Блад, как она себя звала в детстве, погиб.

Почему же пишу о Светлане именно Вам?

Получилось так, что Ваши стихи были ее последними словами, последней силой, последней надеждой побороть смерть.

Светланка, замерзая в снеговике, без спального мешка, всю последнюю ночь читала наизусть Ваши «Антимиры». Об этом рассказал спасенный товарищ Светы — Володя Рубон. Она любила Ваши стихи.

Мы до сих пор не верим в ее смерть, хотя сами похоронили ее на Востряковском кладбище, и не знаю, когда время заставит поверить. Нам страстно хочется, чтобы она жила. И к Вам обращаюсь с горячей просьбой: помогите ей жить, а нам верить, что она жива.

Напишите что-нибудь в память поклонницы Вашей поэзии, Вашего таланта.

Знаю, стихи по заказу не пишутся. Но если будет у Вас такое настроение, если письмо создаст у Вас образ моей милой Светланы, умершей стоя, не сломленной страхом и страданиями смерти, с Вашими стихами на остывающих губах, тогда пишите.

Не примите мою скорбную просьбу за недостойную суету. Ваш талант согревал ее в последние часы жизни и, если можете, согрейте и вдохните в нее жизнь и сейчас. С глубоким уважением к Вам Попов (отец Светы).

Московская обл., Белые Столбы».

Светлана Попова в своем сочинении на вступительных экзаменах в МГУ (видно, не случайно она выбрала тему «Жизнь») писала: «Наука не цель, а средство, служащее нравственным принципам, идеалам... «Разум чего-то стоит лишь на службе у любви».

Светлану волновало все, что делает жизнь прекрасной. И она была полна тревоги за человека, за природу, размышляла об ответственности людей за красоту. Поэтому не случайно в поэме звучат предупреждающие ноты об опасности, грозящей природе, красоте, Человеку. Например, земная атмосфера так насыщена вредными испарениями, что при анализе льда в Антарктиде обнаружены осадки элементов бензина. В Швеции выпал снег алого цвета, виной тому оказался химический завод в Руре. Люди, ослепленные корыстью, наживой, азартом, не заботятся о последствиях.

В поэме говорится о реальных фактах. Действительно, американцы подарили нашим полярникам призму льда, образованного в 1917 году. Современный уровень науки позволяет рассчитать время образования льдов.

Стихи написаны ямбом, зрительно построены таким образом, что слова как бы замерзают в слоях льда.

«Лед-69» — первая часть задуманного автором триптиха.

Пролог

Геолог Леонид Сельверстов:
«Сверххлестно,
на антарктической метстанции
нам дали в дар американцы
куб, брызнувший иллюминацией —
«Лед-1917-й»!

Ошеломительно чертовски
похолодевшим пищеводом
хватить согретый на спиртовке
глоток семнадцатого года!

Уходит время и стареет,
но над планетою, гудя,
как стопка вымытых тарелок,
растут ледовые года.

Все это вспомнил я, когда
по холодильнику спецльда
Меня вела экскурсовод,
студентка с личиком калмычки,
волнуясь, свитерок колышя.
И вызывала нужный год,
как вызывают лифт отмычкой.

Льдина первая

Лед! —

Страшон набор карандашный —
год черный и красный год,
— лед, лед —

лед тыща девятьсот кронштадтский,
шахматный, в дырках лед!
— лед, лед, лед —

лед тыща семьсот трефовый
от врытых по пояс мятежников,
— лед, лед, лед, лед —

лед тыща девятьсот блефовый
невылупившихся подснежников,
— лед, лед, лед, лед, лед —

июньский сорок проклятый,
гильзовая коррозия,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед —

лед статуи генерала,
облитого водой на морозе!
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

лед тыща девятьсот зеленый,
грибной, богатый
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

лед тыща девятьсот соленый
от крови с сапог поганых,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

лед тыща восемьсот звенящий,
трехцветный, драгунский,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

в соломе потелый ящик —
лед тыща шестьсот Бургундский!
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, —

лед тыща семьсот паркетный,
России ледовый сон
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
и малахитовых колонн

штаны зеленые, вельветовые
(книзу расширенный фасон)!
«И чуть-чуть вздутые на коленях», —
добавила экскурсовод.

Лед
тыща триста фиолетовый,
шелк католических сутан,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
меч холодный, потом согретый,
где, не дыша, лежат валетом:
Изольда, меч, Тристан.

И жмут соловьи отпетые —
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
чтоб лед растопить и лечь:
Изольда, Тристан, меч.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Год активного солнца,
букашкой в янтаре
лодочка наша засохла
в лимонной ломкой заре.
«Ау, — скажу я, — друг мой тайный,
в году качаешься хрустальном,
дыханье одуванчиком храня...»

Но тут экскурсовод меня
одернула и покраснела
и продолжала пояснения:
«Дыханье сонное народов
и испаренья суеты,
как нервный газ, пронзивший воды,
осядут, взмыв до небосвода,
и образуют льды.
И взвешивают наши вины
на белоснежной широте,
как гири черные, пингвины,
откашливая ДДТ.
Лед цепкой памятью наслоен.
Лишь 69-й сломан».

Лед первой телепередачи,
я, бабушка в туфлях с опушкой,
— след, след, след, след, след, след, след, след —

ссадина на льду предательском:
стреляя, поскользнулся Пушкин.
[Осунулась экскурсовод.]
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

туманный, как в трубе подзорной,
год тыща сколько-то позорный
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

остался круглый пузырек
на месте футбольного мяча.
Где стадион и где народ!
Ничья.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, —

Эскимосская накидка,
словно авиаоткрытка,
алым шита по бокам...
Прошлым! Будущим векам!
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, —

Жизнь вмерзла в лед гренландский сизый
доской со словом «город Сызрань»...
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Невинный, как цимбалы, плот.
Но краска в щелях. Эшафот.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

И неоплаченной цены
лед неотпущенной вины.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Особый лед, где весело
проспиртованное население.
С носами — как в пломбировке клубника.
Наверно, прошлый век. Глубинка.
Рыбачков ледовое попоище,
и по уши
мальчонка в проруби орет: «Живой я!»
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
Ты вздрогнула, экскурсовод!

Поводырек мой, бука, муза,
архангелок с жаргоном вуза,
мы с нею провели века.
Она каким-то гнетом груза
томила. Но была легка
в бесплотной солнечной печали,
как будто родинки витали
просто в луче. Ее движенья
совсем не оставляли тени.
Кретин! Какая тень на льду!
Иду.

Швед. Трон. Скальд. Свет. Крот. Клад.
Скиф. Скот. Скит. Бог.
«Кинг» — блок. Гольд. Кольт. Скелет.

До дна промерзшая Лета.
Консервированная История.
Род человеческий в брикетах.
Касторовый
лед
исторических беспутств, запущенный гнилой
аквариум.

Пусть.
Мы разговариваем.

Она: «Я так люблю, когда
гляжу, как рыбка из-под льда —
Измайловского катка
проносится цветастый верх
в царапинах, как фейерверк!
Вон шапочка, как земляника.
Взгляните-ка...»

Лед
тыща девятьсот сорок распадный.
Полет. Полет. Полет. Полет. Полет.
И в баре бледный пилот:
«Без льда, — кричит, — не надо, падла!»
Он завтра в монастырь уйдет.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

И скользко, как по полынье,
ступает парень по Луне,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
ТВ: над демонстрацией цветастой —
взлет тыща девятьсот вьетнамский,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Прозрачно, как анис червивый,
замерзший бюрократ в чернильнице
— льет, льет, льет, льет, льет, льет, льет, льет —

Искусственный
горячий лед пустых дискуссий.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, кит, лед, лед —

Код. Код. Код. Код. Код. Код. Код. Код. Код.
[Джеймс Бонд в чреве кита.]
«Я замммерз.
Я замморж...»
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Лед тыща девятьсот шестьдесят пятый,
все в синих болоньях, красивые,
в троллейбусы целлофановые вмяты,
как свежемороженые слизы.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
Зеркало мод:
Камзол. Парик. Колготки. Шлейф кокотки.
Зад скрыт, а бюст — наоборот.
Год, может, девятьсот какой-то!
А может — тыща восемьсот!
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Отхаркивает печенег
радиоактивные осадки.
И над Стокгольмом красный снег
стоит червонною девяткой.

Льдина вторая

Лед тыща девятьсот хоккейный.
Мазило — гений!
Игра «кто больше не забудет».
Счет {—3} : {—18}.
Вратарь елозит на коленях
с воротами, как с сетчатым сачком,
за шайбочкой. А та — бочком, бочком!
Класс!
В глаз. В рот. Пасс. Бьет! Гол!! Спас!!! Асс. Ась!
Мат. Счет! Вмят. В лед.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Захлопала экскурсовод
и ключик выронила. Ой!
Я поднял. [В шестьдесят девятый
летели лыжники, как ватой,
объаты Кольскою зимой.]
Она повисла на залястье:
«Я вас прошу! Там нет запчасти...
Не нажимайте! В этом марте...»
Но поздно. Я нажал. Она
разжала пальцы: «Вновь вина
и снова — ваша», — сказала
и в лед, как ящерка, скользнула.

[Сквозь экран в метель летели лыжники,
вот одна отбилась в шапке рыженькой.
Оглянулась. Снегом закрутило
личико калмыцкое ее.]
Господи! Да это ж Катеринка!
Катеринка, преступление мое.

Потерялась, потерялась, Катеринка!
Во поле, калачиком, ничком.
Бросившие женщину мужчины
дома пробавляются чайком.

Оступившись, ты в ручей проваливаешься.
Валенки во льду, как валуны.
Катеринка, стригунок, бравадочка,
не спасли тебя «Антимиры»!

Спутник тебя волоком шарашит.
Но кругом метель и гололедь.
Друг из друга сделавши шалашик,
чтобы не заснуть и обогреть,

ты стихи читаешь, Катеринка.
Мы с тобой считали «Слово — бог».
«Апельсины,— шепчешь,— апельсины»...
Что за бог, когда он не помог?

Я слагал кощунственно и истово
этих слов набор.
Неотложней мировые истины:
«Помощь». «Товарищи». «Костер».

И еще четвертая: «Мерзавцы».
Только это все равно уже тебе.
Задышала. Замерла. По замерзает
строчка Мэрлин на обманутой губе.

.

Вот и все. Осталась фотокарточка.
С просьбою в глазу.
От которой, коридором крадучись,
я остаток жизни прохожу.

Эпилог

Утром вышла девочкой из дому,
а вернулась рощею, травой.
По живому топчем, по живому —
по живой!

Вскрикнет тополь под ножом знакомо —
по живому!

По тебе, выходит, бьют патроны,
тебя травят химией в затонах,
от нее, сестра твоя и ровня,
речка извивается жаровней.

Сжалась церковь под железным ломом —
по живому,
жгут для съемок рыжую корову,
как с глазами синими солому, —
по живому!

Мучат не пейзажную картинку —
мучат человека, Катеринку.

«Лес, пусти ее хоть к маме на каникулы!»
«Ну, а вы детей моих умыкивали!»
Сами режут рощу уголовно,
как под сердце жеребенку луговому —
по живому!»

Плачет мое слово по-земному,
по живому, по еще живому.

Глава поэта

Где был я в твою полночь, Катеринка!

Охотничью окончив вечеринку,
цепочкой цепенели у реки
рассветные кабании стрелки.

Под Нальчиком. Февраль. Третьего дня.
Я помню гильзу около меня.
Сгорая от внимательных твоих,
читаю свой охотничий дневник:

«3 ФЕВРАЛЯ 1969 г.

Он прет
на тебя, великолепен.

Собак
по пути позарезав.

Лупи!
Ну, а ежели не влепишь —
Нелепо перезаряжать!

Он черен.
И он тебя заметил.

Он жмет
по прямой, как глиссера.

Уже
между вами десять метров.
Но кровь твоя четко-весела.

Очнусь — стол как операционный.
Кабанья застольная компания
на 8 персон.
И порционный,
одетый в хрен и черемшу,
как паинька,
на блюде ледяной, саксонской,
с морковочкой, как будто с соской,
смирный, голенький лежу,
кусочек льда в ноздрях держу.

Кабарашни порхают меж подсвечников.
Копытца их нежны, как подснежники.
Кабабушка тянется к ножу.
В углу продавил четыре стула
центр тяжести литературы.
Лежу.

Внизу, элегически рыдая,
полны электрической тоски,
коты с окровавленными ртами,
вжимаясь в скамьи и сапоги,
визжат, как точильные круги!

[А коротышка-кот с башкою стрекозы
порхая капронными усами,
висел над столом и, гнусавя,
просил кровяной колбасы.]

Озяб фаршированный животик.
Гарнир умирающий поет.
И чаши торжественные сводят
над нами хозяйева болот.

Кругом умирали культуры —
садовая, парниковая, византийская,
кукурузные кудряшки Катутла,
крашенные яйца редиски
[вкрутую],
селетка, нарезанная, как клавиатура
перламутрового клавесина,
попискивала.
Но не сильно.

А в голубых листах капусты,
как с рокотовских зеркал,
в жемчужных париках и бюстах
век восемнадцатый витал.

Скрипели красотой атласной
кочанные ее плеча,
мечтали умереть от ласки
и пугачевского меча.

Прощальной позолотой
петергофская нимфа лежала,
как шпрота,
на черством ломте пьедестала.

Вкусно порубать Расина!

И, как гастрономическая вершина,
дрожал на столе
аромат Фета, застывший в кувшинках,
как в гофрированных формочках для желе.

И умирало колдовство
в настойке градусов под сто.

Пируйте, восьмерка виночерпиев.
Стол, грубо сколоченный, как плот.
Без кворума Тайная Вечеря.
И кровь предвкушенная и плоть.

Погашены подсвечники и сини
гляделочки в черной щетине.
Клыки их вверх дужками закручены.
И рыла тупые над столом —
как будто в мерцающих уключинах
плывет восьмивесельный паром.

Так вот ты, паромщик Харона
и Стикса пустынные воды.
Хреново!
Хозяева, алаверды!
Лишь светлячок порхает над паромом —
как слюдяной поводырек судьбы.

Я пью за страшную свободу
отплыть, усмехнувшись, в никуда.
Мишени несбывшейся охоты,
рванем за усопшего стрелка!

Чудовище по имени Надежда,
я гнал за тобой, как следопыт.
Все пули уходили, не задевши.
Отходную! Следует допить.

За неуловимое Искусство,
но пью за отметины дробин.
Закусывай!
Не мсти, что по звуку не добил.

А ты кто? Я тебя, дитя, не знаю.
Ты обозналась! Ты — вина чужая!

Молчит она. Она не ест, не пьет.
Лишь на губах поблескивает лед...

А это кто? Ты! Ты ж меня любила.
Я пью, чтобы в тебе хватило силы
взять ножик в чудовищных гостях.
Простят убийство —
промах не простят.

Пью кубок свой преступный, как агрессор
и вор,
который, провоцируя окрестности,
производил естественный отбор!

Зверюги прощенье ощутили,
разлукою и хвоей задышав.
И слезы скакали по щетине,
и пили на брудершафт.

Очнулся, я, видимо, в бессмертье.
Мы с ношей тащились по бугру.
Привязанный ногами к длинной жерди,
отдав кишки жестяному ведру,
качался мой хозяин на пиру!

И по дороге, где мы проходили,
кровь свертывалась в шарики из пыли...

...Ты смотришь отчужденно, Катеринка.
Не осуждаешь. Но — вдали как дымка.
И корчатся от судного стыда
мои стихи, а значит, и судьба.

Мы, Катеринка, жизнь мою листаем,
утехи, эксцентричные слова,
вдруг на минутку,
где строка живая —
ты тоже вдруг становишься жива.

И говоришь, колясь в щеку шерстинкой,
остриженная моя сестричка,
ты говоришь: «Раз поздно оживить,
скажи про жизнь, где свежесть ежевик,
где псина Джой, стремительный, как электричка,
не верит, рыжий, ждет шагов моих...»
И трогаешь последнюю страничку
стихов «Молитва». Кончился дневник.

Молитва

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

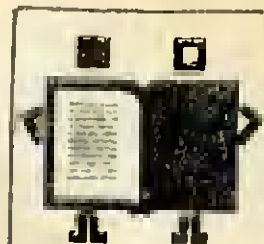
Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасеньи —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской
как спирт ударят нашатырный
послегрозовые сады —
с ума бы не сойти!

**Я прошу шершавый шар планеты,
чтобы не разрушил, не пронзил
детство обособленное это,
новой жизни
радужный пузырь!**



Арк. Стругацкий
Бор. Стругацкий



ПРОЗА

ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

«Как сообщают, в округе Винги, близ города Мюр, опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждый. Падкая на сенсации бульварная пресса поспешила объявить их пришельцами из космоса...»

Из газет.

Глава 1

Я оставил машину, вылез и снял черные очки. Все было так, как рассказывал Згут. Отель был двухэтажный, желтый с зеленым, над входом красовалась траурная вывеска «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». Высокие ноздреватые сугробы по сторонам крыльца были утыканы разноцветными лыжами — я насчитал семь штук, одна была с ботинком. С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной в руку. В крайнее правое окно первого этажа выглянуло чье-то бледное лицо, и тут парадная дверь отворилась, и на крыльце появился лысый коренастый человек в рыжем меховом жилете поверх лавсановой рубашки. Тяжелой, медлительной поступью он приблизился и остановился передо мною. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса. На меня он не смотрел. Его меланхолический взгляд был устремлен куда-то в сторону и исполнен печального достоинства. Несомненно, это был сам Алек Сневар, владелец отеля и долины Бутылочного Горлышка.

— Там... — произнес он неестественно низким и глухим голосом. — Вон там это произошло. — Он простер указующую руку. В руке был штопор. — На той вершине...

Я повернулся и, прищурившись, поглядел на сизую, жуткого вида отвесную стену, ограждавшую долину с запада, на бледные языки снега, на иззубренный гребень, четкий, словно нарисованный на сочно-синей поверхности неба.

— Лопнул карабин, — все тем же глухим голосом продолжал владелец. — Двести метров он летел по вертикали вниз, к смерти, и ему не за что было

зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал. Никто не слышал его. Может быть, он молился. Его слышал только бог, и земля дрогнула, когда он грохнулся об нее вместе с сорока двумя тысячами тонн кристаллического снега...

— Привет от инспектора Згута, — сказал я, и владелец тут же охотно прервал себя.

— Вот достойный человек! — сказал он с живостью и весьма обыкновенным голосом. — Я вижу, он не забыл наши вечера у камина.

— Он только о них и говорит, — сказал я и повернулся было к машине, но хозяин схватил меня за руку.

— Ни шагу назад! — строго произнес он. — Этим займется Кайса. Кайса! — трубно взревел он.

На крыльцо выскочила собака — великолепный сенбернар, белый с желтыми пятнами, могучее животное ростом с теленка. Как я уже знал, это было все, что осталось от Погибшего Альпиниста, если не считать некоторых мелочей, экспонированных в номере-музее. Я был бы не прочь посмотреть, как этот кобель с женским именем станет разгружать мой багаж, но хозяин твердой рукою уже направлял меня в дом.

Мы прошли через сумрачный холл, где ощущался теплый запах погасшего камина и тускло отсвечивали лаком модные низкие столики, свернули в коридор налево, и хозяин плечом толкнул дверь с табличкой «Контора». Я был усажен в уютное кресло, и хозяин распахнул на столе громоздкий гробсбук.

— Прежде всего разрешите представиться, — сказал он, сосредоточенно обскабливая ногтями кончик пера. — Алек Сневар, владелец отеля и механик. Вы, конечно, заметили ветряки на выезде из Бутылочного Горлышка?

— Ах, это были ветряки?..



— Да. Ветряные двигатели. Я сам сконструировал их и сам построил. Вот этими руками.

— А куда нести? — спросил у меня за спиной пронзительный женский голос.

Я обернулся. В дверях с моим чемоданом в руке стояла этакая кубышечка, пышечка этакая лет двадцати пяти, с румянцем во всю щеку.

— Это Кайса, — сообщил мне хозяин.

Кайса немедленно залилась краской и, поведя плечами, закрылась ладонью.

— Н-ну-с... Так я помещу вас в номер четыре. Это лучший номер в отеле. Кайса, отнеси чемодан господина... м-м...

— Глебски, — сказал я.

— Отнеси чемодан господина Глебски в четвертый номер... Поразительная дура, — сообщил он с какой-то даже гордостью, когда кубышечка скрылась. — В своем роде феномен... Итак, господин Глебски? — Он выжидательно взглянул на меня.

— Петер Глебски, — продиктовал я. — Инспектор полиции. В отпуске. На две недели. Один.

Хозяин прилежно записывал все эти сведения огромными корявыми буквами, а пока он писал, в контору, цокая когтями по линолеуму, вошел сенбернар. Он поглядел на меня, подмигнул и вдруг с грохотом, словно обрушилась вязанка дров, упал около сейфа, уронив морду на лапу.

— Это Лель, — сказал хозяин, завинчивая колпачок авторучки. — Сapi-

енс. Все понимает на трех европейских языках. Блох нет, но линяет.

Лель вздохнул и переложил морду на другую лапу.

— Пойдемте, — сказал хозяин, вставая. — Я провожу вас.

Мы поднялись в коридор второго этажа и повернули налево. У первой же двери хозяин остановился.

— Здесь, — произнес он прежним глухим голосом. — Прошу.

Он распахнул передо мною дверь, и я вошел.

— С того самого незабываемого страшного дня... — начал он и вдруг замолчал.

Номер был неплохой, хотя и несколько мрачноватый. Шторы были приспущены, на кровати почему-то лежал альпеншток. Пахло свежим табачным дымом. На спинке кресла посередине комнаты висела чья-то брезентовая куртка, на полу рядом с креслом валялась газета.

— Гм... — сказал я озадаченно. — По-моему, здесь уже кто-то живет.

Хозяин безмолвствовал. Взгляд его был устремлен на стол. На столе ничего особенного не было, только большая бронзовая пепельница, в которой лежала трубка с прямым мундштуком. Кажется, «данхилл». Из трубки поднимался дымок.

— Живет... — произнес наконец хозяин. — Живет ли?..

Рисунки Г. Новожилова

Я не нашелся, что ответить ему, и ждал продолжения. Чемодана моего нигде не было видно, но зато в углу стоял клетчатый саквояж с многочисленными гостиничными ярлыками. Не мой саквояж.

— Здесь, — окрепшим голосом продолжал хозяин, — вот уже шесть лет, с того самого незабываемого страшного дня, все пребывает так, как он оставил перед своим последним восхождением...

Я с сомнением посмотрел на курящуюся трубку.

— Да! — сказал хозяин с вызовом. — Это его трубка. Это вот его куртка. А вот это его альпеншток...

— А вот это его газета, — сказал я. Я отчетливо видел, что это позавчерашний «Мюрский вестник».

— Нет, — сказал хозяин. — Газета, конечно, не его.

— У меня тоже такое впечатление, — согласился я.

— Газета, конечно, не его, — повторил хозяин. — И трубку, естественно, раскурил здесь не он, а кто-то другой.

Я пробормотал что-то о недостатке уважения к памяти усопших.

— Нет, — задумчиво возразил хозяин, — здесь все сложнее. Здесь все гораздо сложнее, господин Глебски. Но мы поговорим об этом позже. Пойдемте в ваш номер.

Однако, прежде чем мы вышли, он заглянул в туалетную комнату, открыл и снова закрыл дверцы стенового шкафа и, подойдя к окну, похлопал ладонями по портьерам. По-моему, ему очень хотелось заглянуть также и под кровать, но он сдержался. Мы вышли в коридор, и хозяин распахнул передо мною дверь четвертого номера.

Номер мне сразу понравился. Все здесь сияло чистотой, воздух был свеж, на столе ни пылинки, за промытым окном снежная равнина и сиреневые горы. В спальне хозяйничала Кайса. Чемодан мой был раскрыт, вещи аккуратно разложены и развешаны, а Кайса взбивала подушки.

— Ну вот вы и дома, — сказал хозяин. — Располагайтесь, отдыхайте, делайте, что хотите. Лыжи, мази, снаряжение — все к вашим услугам, внизу; обращайтесь при необходимости прямо ко мне. Обед в шесть, а если вздумаете перекусить сейчас или освежиться — я имею в виду напитки, — обращайтесь к Кайсе. Приветствую вас.

И он ушел.

Кайса все трудилась над постелью, доводя ее до немыслимого совершенства, а я достал сигарету, закурил и подошел к окну. Я был один. Благословенное небо, всеблагий господи, наконец-то я был один! Я знаю, нехорошо так говорить и даже думать, но до чего же в наше время сложно устроиться таким образом, чтобы хоть на неделю, хоть на сутки, хоть на несколько часов остаться в одиночестве! Сам я этого не читал, но вот сын утверждает, будто главный бич человека в современном мире — это одиночество и отчужденность. Не знаю, не уверен. Либо все это поэтические выдумки, либо такой уж я невезучий человек. Во всяком случае, для меня две недели отчужденности и одиночества — это как раз то, что нужно. И это просто прекрасно, что мне хорошо с самим собой, с моим собственным телом, еще сравнительно нестарым, еще крепким, которое можно будет поставить на лыжи и бросить вон туда, через всю равнину, к сиреневым отрогам, по свистящему снегу, и вот тогда станет совсем уже прекрасно...

— Принести что-нибудь? — спросила Кайса. — Угодно?

Я посмотрел на нее, и она опять повела плечом и закрылась ладонью. Была она в пестром платье в обтяжку, которое топорщилось на ней спереди и сзади, в крошечном кружевном фартуке, руки у нее бы-

ли голые, сдобные, и шею охватывало ожерелье из крупных деревянных бусин.

— Кто у вас тут сейчас живет? — спросил я.

— Где?

— У вас. В отеле.

— В отеле? У нас тут? Да живут здесь...

— Кто именно?

— Ну кто? Господин Мозес живут с женой. В первом и втором. И в третьем тоже. Только там они не живут. А может, с дочерью. Не разобрать. Красавица, все глазами смотрит...

— Так-так, — сказал я, чтобы ее подбодрить.

— Господин Симонэ живут. Тут вот, напротив. Все на бильярде играют и по стенам ползают. Шалуны они, только унылые. На психической почве. — Она снова покраснела и принялась поводить плечами.

— А еще кто? — спросил я.

— Господин дю Барнстокр, гипнотизеры из цирка...

— Барнстокр? Тот самый?

— Не знаю, может, и тот. Гипнотизеры... И Брюн.

— Кто это Брюн?

— Да с мотоциклом они, в штанах.

— Так, — сказал я. — Все?

— Еще кто-то живет. Только они просто так... Стоят просто. Не спят, не едят, только на постое стоят...

— Не понимаю, — признался я.

— А и никто не понимает. Стоят, и все. Газеты читают. Давеча туфли у господина дю Барнстока утащили. И еще следы оставляют... Мокрые...

— Ну ладно, — сказал я со вздохом. — Не поняла тебе тебя, Кайса. И не надо. Пробежусь-ка я лучше на лыжах.

Я раздавил окурки в девственно чистой пепельнице и отправился в спальню переодеваться.

Глава 2

Возле самого отеля еще пытались ходить на лыжах, но в остальном снежный покров долины был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня.

Я попрыгал на месте, пробуя крепления, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажавшись от солнца и наслаждения, с каждым выдохом выбрасывая из себя скуку прокуренных кабинетов, затхлых бумаг, слезливых подследственных и брюзжащего начальства, тоску заунывных политических споров и бородатых анекдотов, мелочных хлопот жены и наскоков подрастающего поколения, унылые заслякоченные улицы, провонявшие сургучом коридоры, пустые пасти угрюмых, как подбитые танки, сейфов, выцветшие голубенькие обои в столовой, и выцветшие розовенькие обои в спальне, и забрызганные чернилами желтенькие обои в детской, — с каждым выдохом освобождаясь от самого себя, казенного, высокоморального, до скрипучести законопослушного человечка со светлыми пуговицами, внимательного мужа и примерного отца, хлебосольного товарища и приветливого родственника, радуясь, что все это уходит, надеясь, что все это уходит безвозвратно, что отныне все будет легко, упруго, кристально чисто, в бешеном, веселом, молодом темпе, и как же это здорово, что я сюда приехал... Молодец, Згут, умница, Згут, спасибо тебе, Згут, хоть ты и лупишь своих «медвежатников» по мордам... и какой же я еще крепкий, ловкий, сильный — могу вот так, по идеальной прямой, сто тысяч километров по идеальной прямой, а могу вот так, круто вправо, круто влево, выбросив из-под лыж тонну снега... А ведь я уже три года не ходил на лыжах,

с тех самых пор, как мы купили этот проклятый новый домик... А, черт с ним со всем, не хочу я об этом сейчас думать, черт с ней, со старостью, черт с ним, с домиком, и черт с тобой, Петер, Петер Глебски, законолюбивый чиновник, спаси тебя бог...

Потом волна первого восторга схлынула, и я обнаружил, что стою возле дороги, мокрый, задыхающийся, с ног до головы запорошенный снежной пылью. Я снял перчатку, вытер лицо и вдруг услышал трескучий грохот, словно шел на посадку спортивный биплан. Я едва успел протереть очки, как он пронесся мимо меня — не биплан, конечно, а громадный мотоцикл из этих, новых, которые пробивают стены и губят больше жизней, чем все насильники, грабители и убийцы, вместе взятые. Он обдал меня ошметками снега, очки снова залепило, и я едва успел заметить тощую согнутую фигуру, развевающиеся черные волосы и торчащий, как доска, конец красного шарфа...

Когда я подъехал к отелю, мотоцикл остывал перед крыльцом. Рядом на снегу валялись громадные кожаные перчатки с раструбами. Я воткнул лыжи в сугроб, почистился и снова посмотрел на мотоцикл. До чего все-таки зловещая машина! Так и чудится, что в следующем году отель станет называться «У Погибшего Мотоциклиста». Хозяин возьмет вновь прибывшего гостя за руку и скажет, показывая на проломленную стену: «Сюда. Сюда он врезался на скорости сто двадцать миль в час и пробил здание насквозь. Земля дрогнула, когда он ворвался в кухню, увлекая за собою сорок два кирпича...»

Посередине холла стоял невообразимо длинный и очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. Заложив руки за спину, он строго выговаривал тощему, гибкому существу неопределенного пола, изящно развалившемуся в глубоком кресле. У существа было маленькое бледное личико, наполовину скрытое огромными черными очками, масса черных спутанных волос и пушистый красный шарф.

Когда я закрыл за собою дверь, длинный человек замолчал и повернулся ко мне. У него оказался галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо, украшенное аристократическим носом. Секунду он разглядывал меня, затем сложил губы куриной гузкой и двинулся мне навстречу, протягивая узкую белую ладонь.

— Дю Барнстокр, — почти пропел он. — К вашим услугам.

— Неужели тот самый дю Барнстокр? — с искренней почтительностью осведомился я, пожимая его руку.

— Тот самый, сударь, тот самый, — произнес он. — С кем имею честь?

Я отрекомендовался, и тут он вдруг схватил меня за ладонь.

— Какая прелесть! Инспектор! Где вы это нашли? В пальцах у него оказалась синенькая фиалка. И пахло фиалкой. Я заставил себя поаплодировать, хотя таких вещей не люблю. Существо в кресле зевнуло во весь маленький рот и закинуло одну ногу на подлокотник.

— Из рукава, — заявило оно хриплым басом. — Хилая работа, дядя.

— Из рукава! — грустно повторил дю Барнстокр. — Нет, Брюн, это было бы слишком элементарно. Это действительно была бы, как вы выражаетесь, хилая работа.

Он положил фиалку на раскрытую ладонь, поглядел на нее, задрал брови, и фиалка пропала.

— Вы мастерски владеете лыжами, господин Глебски, — продолжал дю Барнстокр. — Я следил за вами из окна. И, надо сказать, получил истинное наслаждение.

— Ну что вы! — пробормотал я. — Так, бегал когда-то...

— Дядя, — воззвало вдруг существо из недр кресла. — Сотворите лучше сигаретку.

Дю Барнстокр, казалось, спохватился.

— Да! — сказал он. — Позвольте представить вам, господин Глебски: это Брюн, единственное чадо моего дорогого покойного брата... Брюн, дитя мое!

Дитя неохотно выбралось из кресла и приблизилось. Волосы у него были богатые, женские, а впрочем, может быть, и не женские, а, так сказать, юношеские. Ноги, затянутые в эластик, были тощие, мальчишеские, а впрочем, может быть, совсем наоборот — стройные девичьи. Куртка же была размера на три больше, чем требовалось. Чадо равнодушно улыбнулось мне розовым, нежным ртом и осведомилось сипло:

— Хорошо мы вас шуганули? Там, на дороге...

— Мы? — переспросил я.

— Ну, не мы, конечно. Буцефал. Он это умеет... Все очки ему заклепил, — сообщило оно дяде.

— В данном случае, — любезно пояснил дю Барнстокр, — Буцефал — это мотоцикл, безобразная и опасная машина, которая...

— Сигаретку бы, — напомнило дитя.

Дю Барнстокр удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он их свел опять, между пальцами у него дымилась сигарета, и он протянул ее чаду. Чадо затянулось и капризно буркнуло:

— Опять с фильтром...

— Вы, наверное, захотите принять душ после вашего броска, — сказал мне дю Барнстокр. — Скоро обед...

— Да, — сказал я. — Конечно. Прошу прощения.

У себя в номере я умылся, переоделся и, взяв сигарету, завалился на диван. Мною овладела приятная истома, и на несколько минут я даже задремал. Разбудил меня чей-то взвизг и зловещий, рыдающий хохот в коридоре. Я подскочил. В ту же минуту в дверь постучали, и голос Кайсы промяукал: «Кушать, пожалуйста!» Я откликнулся в том смысле, что да-да, сейчас иду, и спустил ноги с дивана, напялив туфли. «Кушать, пожалуйста!» — донеслось издали, а потом еще раз: «Кушать, пожалуйста!» — а потом снова короткий взвизг и призрачный хохот. Мне даже послышалось бряцанье ржавых цепей.

Я причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица, как-то: рассеянное любезное внимание, мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к решительно любым знакомствам и ухмылка типа «гы». Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты для чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел.

Дверь номера напротив была распахнута. В проеме, у самой притолоки, упираясь ступнями в одну филенку, а спиной — в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась вполне непринужденной. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь.

— Здравствуйте, — сказал я, помолчав. — Вам помочь?

Тогда он мягко, как кошка, спрыгнул на пол и, продолжая отдавать честь, встал передо мною по стойке «Смирно».

— Честь имею, инспектор, — сказал он. — Разрешите представиться: старший лейтенант от кибернетики Симон Симонэ.

— Вольно, — сказал я, и мы пожали друг другу руки.

— Собственно, я физик, — сказал он. — Но «от кибернетики» звучит почти так же плавно, как «от ин-

фантерии». Получается смешно.— И он неожиданно разразился тем самым ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах.— Собственно говоря,— продолжал он,— я приехал сюда ползать по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег. Вот я и лажу по дверям, по стенам...— Он вдруг замолчал и взял меня под руку.— Проект «Мидас», слышали? Совершенно секретно. Четыре года без отпуска. Вот врачи и прописали мне курс чувственных удовольствий.— Он снова захохотал, но мы уже дошли до столовой. Оставив меня, он устремился к столику, где были расставлены закуски.— Держитесь за мной, инспектор! — гаркнул он на бегу.— Торопитесь, а не то друзья и близкие Погибшего съедят всю икру...

За столом уже сидели дю Барнстокр и чадо его покойного брата. Дю Барнстокр изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, стремительно мело овощной суп.

Во главе стола царила незнакомая мне дама ослепительной и странной красоты. Лет ей было не то двадцать, не то сорок, нежные, смугло-голубоватые плечи, лебединая шея, огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами, пепельные, высоко взбитые волосы, бесценная диадема — это была, несомненно, госпожа Мозес, и ей, несомненно, было не

место за этим простоватым табльдотом. Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журналах и в супербоевиках.

Хозяин, оглядев стол, уже направлялся ко мне с подносом в руке. На подносе, в хрустальной граненой рюмке, жутко голубела знаменитая фирменная настойка на лепестках эдельвейса.

— Боевое крещение! — объявил хозяин, приблизившись.— Набирайте закуску поострее.

Я повиновался. Я положил себе маслин и икры. Потом я посмотрел на хозяина и положил пиксель — маленький маринованный огурчик. Потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол-лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух (еще пару затхлых кабинетов и коридоров) и вылил настойку в рот. Я содрогнулся. Все смотрели на меня, и потому я содрогнулся только мысленно и откусил половину огурчика. Хозяин крикнул. Симонэ тоже крикнул. Госпожа Мозес произнесла хрустальным голосом: «О! Это настоящий мужчина». Я улыбнулся и засунул в рот вторую половину огурчика, горько сожелея, что они не бывают величиной с дыню. «Дает!» — отчетливо произнесло чадо.



— Госпожа Мозес! — произнес хозяин. — Разрешите представить вам инспектора Глебски.

Пепельная башня во главе стола чуть качнулась, поднялись и опустились чудные ресницы. Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам — так у меня пекло в животе, — но она улыбнулась, и мне сразу полегчало.

Разговор за столом направлял хозяин. Говорили о загадочном и непознанном, а точнее, о том, что в отеле происходят в последние дни странные вещи. Меня, как новичка, посвятили в подробности. Дю Барнстокр подтвердил, что действительно, дня два назад у него пропали туфли, которые обнаружились только к вечеру в номере-музее. Симонэ, похотывая, сообщил, что кто-то читает его книги — по преимуществу специальную литературу, делает на полях пометки — по преимуществу совершенно безграмотные. Хозяин, заходясь от удовольствия, поведал о сегодняшнем случае с дымящейся трубкой и газетой и добавил, что ночами кто-то бродит по дому. Госпожа Мозес, несколько не чинясь, охотно подтвердила эти сообщения и добавила, что вчера ночью кто-то заглянул к ней в окно. Симонэ похвастался, будто он вот спит по ночам как мертвый, и ничего такого не слышал, а чадо хрипло объявило — к сведению всех присутствующих, — что оно, чадо, в общем, ничего особенного против этих штучек-дрючек не имеет, оно к этим фокусам-покусам привыкло, но совершенно не терпит, когда посторонние валяются на его, чадиной, постели.

Атмосферу сладкой жути, воцарившуюся за столом, нарушил господин физик.

— Приезжает как-то один майор в незнакомый город, — объявил он. — Останавливается в гостинице и велит позвать...

Внезапно он замолчал и огляделся.

— Пардон, — произнес он. — Я не уверен, что в присутствии дам, — тут он поклонился в сторону госпожи Мозес, — а также юно... э-э... юношества, — он посмотрел на чадо, — э-э...

— А, дурацкий анекдот, — сказала чадо с пренебрежением. — «Все прекрасно, но не делится пополам». Этот?

— Именно! — воскликнул Симонэ и разразился хохотом.

— Делится пополам? — улыбаясь, спросила госпожа Мозес.

— Не делится! — сердито поправило чадо.

— Ах, не делится? — удивилась госпожа Мозес. — А что именно не делится?

Дитя открыло было рот, но дю Барнстокр сделал неумовимое движение, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого дитя тут же сочно откусило.

— В конце концов, удивительное происходит не только в нашем отеле, — сказал дю Барнстокр. — Достаточно вспомнить, например, о знаменитых летающих неопознанных объектах...

Чадо с грохотом отодвинуло стул, поднялось и, продолжая хрустеть яблоком, направилось к выходу. Я все размышлял, у кого бы спросить, мальчик это, черт возьми, или девочка, а дю Барнстокр продолжал журчать:

— ...Джордано Бруно, господа, был сожжен не зря. Космос, несомненно, обитаем не только нами. Вопрос лишь в плотности распределения разума во Вселенной. Будь я математиком, господа, я бы попытался установить вероятность хотя бы того, что наша Земля является объектом чьего-то научного внимания...

«Самого дю Барнстокра спросить как-то неловко, — размышлял я. — Кайса — дура. У Симонэ спросить — пережить лишний вал загробного веселья... Впро-

чем, что это я? Мне-то какое до этого дело?.. Жаркого еще взять, что ли?..»

— ...Согласитесь, — журчал дю Барнстокр. — Мысль о том, что чужие глаза внимательно и прилежно изучают нашу старушку планету через бездны космоса...

— Подсчитал, — сказал Симонэ. — Если они умеют отличать населенные системы от ненаселенных, то это будет единица минус «е» в степени минус единица.

— Неужели так и будет? — сдержанно ужаснулась госпожа Мозес, одаряя Симонэ восхищенной улыбкой.

Симонэ заржал, словно дворняга загавкала. Он даже на стуле задвигался. Глаза его увлажнились.

— Сколько же это будет в численном выражении? — осведомился дю Барнстокр, переждав сей акустический налет.

— Приблизительно две трети, — ответил Симонэ, вытирая глаза.

— Но это же огромная вероятность! — с жаром сказал дю Барнстокр, но тут дверь в столовую за моей спиной загрохотала и задрезжала, как будто ее толкали плечом с большой силой. Я обернулся. На пороге возникла удивительная фигура. Массивный пожилой мужчина с совершенно бульдожьим лицом, облаченный в какое-то нелепое подобие средневекового камзола цвета семги. Одну руку он держал за спиной, в другой сжимал высокую металлическую кружку.

— Супу! — прорычал он, глядя перед собой мутными глазами.

Возникла короткая суэта. Госпожа Мозес с какой-то недостойной торопливостью бросилась к столу с супами, хозяин отвалился от буфета и принялся совершать руками движения, означающие готовность всячески услужить, а господин Мозес — ибо, несомненно, это был он, — торжественно вздрагивая щеками, пронес свою кружку к стулу напротив госпожи Мозес и там уселся, без малого не промахнувшись мимо сиденья.

— Погода, господа, нынче снег, — объявил он. Госпожа Мозес поставила перед ним суп, он сурово заглянул в тарелку и отхлебнул из кружки. — О чем речь? — осведомился он.

— Господин Симонэ подсчитал нам вероятность... — начал дю Барнстокр.

— Чушь, — сказал господин Мозес. — Математика — это не наука, Барн... Барл... дю! А это кто? — спросил он, выкатывая на меня правый глаз. Мутный какой-то глаз, нехороший.

— Позвольте представить, — поспешно сказал хозяин. — Господин Мозес — инспектор Глебски.

— Инспектор... — проворчал Мозес. — Фальшивые квитанции, подложные паспорта... — Он снова строго посмотрел в тарелку и отхлебнул из кружки. — Хороший суп сегодня, — сообщил он. — Ольга, убери это и дай какого-нибудь мяса. Но что же вы замолчали, господа? Продолжайте, продолжайте, я слушаю.

— По поводу мяса, — сейчас же сказал Симонэ. — Некий чревоугодник заказал в ресторане филе...

— Филе. Так! — одобчительно сказал господин Мозес, пытаясь разрезать жаркое одной рукой. Другую руку он не отнимал от кружки.

— Официант принял заказ, — продолжал Симонэ, — а чревоугодник в ожидании своего любимого блюда разглядывает девиц на эстраде...

— Смешно, — сказал господин Мозес. — Очень смешно пока. Соли маловато. Ольга, подай сюда соль. Ну-с?

Симонэ заколебался.

— Пардон, — сказал он нерешительно. — У меня тут появились сильнее опасения...

— Так. Опасения, — удовлетворенно повторил господин Мозес. — А дальше?

— Все, — сказал с унынием Симонэ и откинулся на спинку стула.

Мозес воззрился на него.

— Как все? — спросил он с негодованием. — Но ему принесли филе?

— М-м... Собственно... Нет, — сказал Симонэ.

— Это наглость, — сказал Мозес. — Надо было вызвать метрдотеля. — Он с отвращением отодвинул от себя тарелку. — На редкость неприятную историю вы рассказали нам, Симонэ.

— Уж какая есть, — сказал Симонэ, бледно улыбаясь.

Мозес отхлебнул из кружки и повернулся к хозяину.

— Сневар, — сказал он. — Вы нашли негодяя, который крадет туфли? Инспектор, все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна. Что вы думаете по поводу этих краж?

— Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих.

— Странная мысль, — неодобрительно сказал Мозес.

— Нисколько, — возразил я. — Во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои.

— О да! — произнес хозяин глухим голосом. — Конечно, в доме только свои. Но он был для Леля не просто своим. Он был для него богом, господом!

Мозес уставился на него.

— Кто он? — спросил он строго.

— Он. Погибший.

— Не забивайте мне голову, — сказал Мозес. — А если вы знаете, кто занимается этими вещами, то посоветуйте ему — настоятельно посоветуйте! — прекратить. Вы меня понимаете? — Он обвел нас налитыми глазами. — Иначе я тоже начну шутить! — рявкнул он.

Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если Мозес тоже начнет шутить.

Потом госпожа Мозес отставила тарелку, приложила к прекрасным губам салфетку и, подняв глаза к потолку, сообщила:

— Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок!

Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству. Я встал и сказал твердо:

— Благодарю вас, господа. До ужина.

Глава 3

— **П**редставления не имею, кто он такой, — произнес хозяин, разглядывая стакан на свет. — Записался он у меня в книге коммерсантом, путешествующим по собственной надобности. Но он не коммерсант.

Мы сидели в каминной. Жарко полыхал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный. Полутьма была уютная, красноватая, совершенно домашняя. На дворе начиналась пурга, в каминной трубе посвистывало. В доме было тихо, только временами издали, как с кладбища, доносились взрывы рыдающего хохота да резкие, как выстрелы, трески удачных хлопотоссов. На кухне Кайса позвякивала кастрюлями.

— Коммерсанты обычно скупы, — продолжал хозяин задумчиво. — А господин Мозес не скуп, нет.

«Могу ли я осведомиться, — спросил я его, — чьей рекомендации обязан я честью вашего посещения?» Вместо ответа он вытащил из бумажника стокровый билет, поджег его зажигалкой, раскурил от него сигару и, выпустив дым мне в лицо, ответил: «Я Мозес, сударь. Альберт Мозес! Мозес не нуждается в рекомендациях. Мозес везде и всюду дома». Что вы на это скажете? Путешествует по собственной надобности... По моей долине не путешествуют. У меня здесь ходят на лыжах или лезут по скалам. Здесь тупик. Отсюда никуда нет дороги.

Я совсем лег в кресле и скрестил ноги. Было необычайно приятно расположиться таким вот образом и с самым серьезным видом размышлять, кто такой господин Мозес.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Тупик. А что делает в этом тупике знаменитый господин дю Барнстокр?

— О, господин дю Барнстокр — это совсем другое дело. Он приезжает ко мне ежегодно вот уже тринадцатый год подряд. Он без ума от моей настойки. А господин Мозес, осмелюсь заметить, постоянно навеселе, а между тем за все время не взял у меня ни бутылки.

Я значительно хмыкнул и сделал хороший глоток.

— Изобретатель, — решительно сказал хозяин. — Изобретатель или волшебник.

— Вы верите в волшебников, господин Сневар?

— Алек, если вам будет угодно. Просто Алек.

Я поднял стакан и сделал еще один хороший глоток в честь Алека.

— Тогда зовите меня просто Петер, — сказал я.

Хозяин торжественно кивнул и сделал хороший глоток в честь Петера.

— Верю ли я в волшебников? — сказал он. — Вы видели мои вечные двигатели?

— Нет. Они работают?

— Иногда. Мне приходится часто останавливать их, слишком быстро изнашиваются детали... Кайса! — заорал он вдруг так, что я вздрогнул. — Еще стакан горячего портвейна господину инспектору!

Появилась Кайса, очень румяная и слегка растрепанная. Она подала мне стакан портвейна, сделала книксен, хихикнула и удалилась.

— Пышечка, — пробормотал я машинально. Все-таки это был уже третий стакан. Хозяин добродушно хохотнул.

— Неотразима, — признал он. — Даже господин дю Барнстокр не удержался и ущипнул ее вчера за подбородочек. А уж что делается с нашим физиком...

— По-моему, наш физик положил глаз на госпожу Мозес...

— Госпожа Мозес... — задумчиво произнес хозяин. — А вы знаете, Петер, у меня есть довольно веские основания предполагать, что она не госпожа и не Мозес.

Я не возражал. Подумаешь...

— Вы, вероятно, уже заметили, — продолжал хозяин, — что она гораздо глупее Кайсы. И потом... — Он понизил голос. — По-моему, Мозес ее бьет.

Я вздрогнул.

— Как бьет?

— По-моему, плеткой. У Мозеса есть плетка. Арапник. Едва я его увидел, как сразу задал себе вопрос: зачем господину Мозесу арапник? Вы можете ответить на этот вопрос?

— Ну, знаете, Алек... — сказал я.

— Я не настаиваю, — сказал хозяин. — Я ни на чем не настаиваю. Но должен вам заметить... — Он прислушался.

— Машина, — сказал он. — Слышите?

Он поднялся, подхватил меховой жилет и направился к выходу. Я устремился за ним.

На дворе бушевала настоящая метель. Перед



крыльцом стояла большая черная машина, возле нее в отсветах фар размахивали руками и ругались.

— Двадцать крон!—вопили фальцетом.—Двадцать крон и ни грошем меньше! Вы что, не видели, какая дорога?

— Да за двадцать крон я куплю тебя вместе с твоим драндулетом! — визжали в ответ.

Хозяин ринулся с крыльца.

— Господа! — загудел его мощный голос.— Это все пустяки!..

— Из-за пятерки удавиться готов! Мне еще назад возвращаться!

— Пятнадцать, и ни гроша больше! Вымогатель!

Мне стало холодно, я вернулся к камину, взял стакан и направился в буфетную. В холле я задержался — дверь распахнулась, и на пороге появился громадный, залепленный снегом человек с чемоданом в руке. Он сказал «бр-р-р», мощно встряхнулся и оказался светловолосым викингом. Румяное лицо его было мокрое, на ресницах белым пухом лежали снежинки. Заметив меня, он коротко улыбнулся, показав ровные чистые зубы, и произнес приятным баритоном:

— Олаф Андварафорс. Можно просто Олаф.

Я тоже представился. Дверь снова распахнулась, появился хозяин с двумя баулами, а за ним — маленький, закутанный до глаз человек, тоже весь залепленный снегом и очень недовольный.

— Проклятые хапуги! — говорил он с истериче-

ским надрывом.— Подрядились за пятнадцать. Ясно, кажется,— по семь с половиной с носа...

— Господа, господа!..— приговаривал хозяин.— Все это пустяки... Прошу вас сюда, налево... Господа!..

Маленький человечек, продолжая кричать про разбитые в кровь морды и про полицию, дал себя увлечь в контору, а викинг Олаф пробасил: «Скряга...» — и принялся оглядываться с таким видом, словно ожидал здесь обнаружить толпу встречающих.

— Кто он такой? — спросил я.

— Не знаю. Взяли одно такси. Другого не было.

Он замолчал, глядя через мое плечо. Я оглянулся. Ничего особенного там не было. Только чуть колыхалась портьера, закрывающая вход в коридор, который вел в каминную и к номерам Мозеса. Наверное, от сквозняка.

Глава 4

Кутру метель утихла. Я поднялся на рассвете, когда отель еще спал, выскочил в одних трусах на крыльцо и, крякая и вскрикивая, хорошенько обтерся свежим, пушистым снегом, чтобы нейтрализовать остаточное воздействие трех стаканов портвейна. Солнце едва высунулось из-за хребта, и длинная синяя тень отеля протянулась через долину. Я заметил, что третье окно справа на втором этаже распахнуто настежь. Видимо, кто-то не желал даже ночью

терять возможность вдыхать целебный горный воздух.

Я вернулся к себе, оделся, запер дверь на ключ и сбежал в буфетную. Кайса, красная, распаренная, уже возилась на кухне у пылающей плиты. Она поднесла мне кружку какао и сандвич, и я уничтожил все это, стоя тут же в буфетной и слушая краем уха, как хозяин мурлыкает какую-то песенку у себя в мастерских. Только бы никого не встретить, думал я. Утро слишком хорошо для двоих. Думая об этом утре, об этом ясном небе, о золотом солнце, о пустой пушистой долине, я чувствовал себя таким же скрягой, как давешний, закутанный до бровей в шубу человечиска, закативший скандал из-за пяти крон. (Хинкус, ходатай по делам несовершеннолетних, в отпуске по болезни.) И я никого не встретил, кроме сенбернара Леля, который с доброжелательным безразличием наблюдал, как я застегиваю крепления, и утро, ясное небо, золотое солнце, пушистая белая долина — все это досталось мне одному.

Когда, совершив десятимильную пробежку к реке и обратно, я вернулся в отель перекусить, жизнь там уже была ключом.

В буфетной у Кайсы я не без труда выяснил, что душ в отеле работает только на первом этаже, и поспешил за свежим бельем и полотенцем. Но как я ни спешил, я все же опоздал. Душ оказался уже занят, из-за двери доносился плеск струй и неразборчивое пение. Перед дверью стоял Симонэ, тоже с полотенцем через плечо. Я встал за ним, а за мной сейчас же пристроился господин дю Барнстокр. Мы закурили. Симонэ, давась от смеха, оглядываясь по сторонам, принялся рассказывать анекдот про холостяка, который поселился у вдовы с тремя дочками. С первой дочкой он разделался быстро, а об остальных мы, к счастью, так ничего и не узнали, потому что в холле объявилась госпожа Мозес, которая спросила у нас, не проходил ли здесь господин Мозес, ее супруг и повелитель. Господин дю Барнстокр галантно ответил, что, увы, нет. Симонэ, облизнувшись, впился в госпожу Мозес томным взором, а я прислушался к голосу, доносившемуся из душевой, и высказал предположение, что господин Мозес находится там. Госпожа Мозес встретила это предположение явным недоверием. Она улыбнулась, покачала головой и поведала нам, что в особняке на Рю де Шаннель у них две ванны — одна золотая, а другая платиновая, и когда мы не нашли, что на это ответить, сообщила, что пойдет поищет господина Мозеса в другом месте. Симонэ, гоготнув, тут же вызвался сопровождать ее, и мы с дю Барнстокром остались вдвоем, но ненадолго, ибо к нам тут же присоединился господин Хинкус, ходатай, который немедленно принялся раздражаться в том смысле, что деньги вот дерут за двоих, а душ вот работает только один. Господин дю Барнстокр успокоил его: извлек у него из полотенца два леденцовых петушка на палочке. Хинкус немедленно замолчал и даже, бедняга, переменялся в лице. Он принял петушки, сунул их в рот и уставился на великого престижиста с ужасом и недоверием. Господин же дю Барнстокр, очень довольный произведенным эффектом, пустился развлекать нас умножением и делением в уме многозначных чисел.

А в душе все шумели струи, и только пение прекратилось, сменившись неразборчивым бормотанием. С верхнего этажа, тяжело ступая, сошли рука об руку господин Мозес и белокурый викинг Олаф. Сойдя, они расстались. Господин Мозес, прихлебывая на ходу, унес свою кружку к себе за портьеры, а викинг, не говоря ни слова, встал в наш строй. Я посмотрел на часы. Мы ждали уже больше десяти минут.

Хлопнула входная дверь. Мимо нас, не задерживаясь, пронеслось навстречу неслышными скачками чадо, оставив за собой запахи бензина, пота и духов. И тут до моего сознания дошло, что из кухни слышатся голоса хозяина и Кайсы, и какое-то странное подозрение впервые осенило меня. Я в нерешительности уставился на дверь душевой. Хинкус вдруг что-то неразборчиво пробормотал и, толкнув Олафа плечом, устремился в холл.

— Послушайте, — сказал я. — Кто-нибудь приехал нынче утром?

— Только вот эти господа, — сказал дю Барнстокр. — Господин Андварафорс и господин... э-э... вот этот маленький господин, который только что ушел...

— Мы приехали вчера вечером, — возразил Олаф.

Я и сам знал, когда они приехали. На секунду в воображении моем возникло видение скелета, мурлыкающего песенки под горячими струями и моющего у себя под мышками. Я рассердился и толкнул дверь. В душевой никого не было. Шумела пущенная до отказа горячая вода, пар стоял столбом, на крючке висела знакомая брезентовая куртка Погибшего Альпиниста, а на дубовой скамье под нею бормотал и посвистывал старенький транзисторный приемник.

— Кэ дьябль! — воскликнул дю Барнстокр. — Хозяин!

Поднялся шум. Бухая тяжелыми башмаками, прибежал хозяин. Вынырнул, словно из-под земли, Симонэ. Перегнулось через перила чадо с окурком, прилипшим к нижней губе. Из холла опасно выглянул Хинкус.

— Это невероятно! — возбужденно говорил дю Барнстокр. — Мы стоим здесь и ждем никак не менее четверти часа!..

— А у меня опять кто-то на постели валялся, — сообщило сверху чадо. — И полотенце мокрое.

В глазах Симонэ прыгало дьявольское веселье.

— Господа, господа... — приговаривал хозяин, делая успокаивающие жесты. Он заглянул в душевую и прежде всего выключил воду. Затем он снял с крючка куртку, взял приемник и повернулся к нам. Лицо у него было торжественное. — Господа! — произнес он глухим голосом. — Я могу только засвидетельствовать факты. Это ЕГО приемник, господа. И это ЕГО куртка...

Я молча отстранил хозяина, вошел в душевую и запер за собой дверь. Уже содрав с себя одежду, я сообразил, что очередь, собственно, не моя, а Симонэ, но никаких угрызений совести не ощутил. Он же и устроил, подумал я со злостью. Пусть теперь постоит. Сколько воды зря пропало...

Когда я вышел из душевой, публика в холле продолжала обсуждать происшествие. Ничего нового, впрочем, не говорилось, и я не стал задерживаться. На лестнице я миновал чадо, по-прежнему висящее на перилах. «Сумасшедший дом!» — сказало оно мне с вызовом. Я промолчал и пошел прямо к себе в номер.

Под влиянием душа и приятной усталости злость моя совершенно улеглась. Я придвинул к окну кресло, выбрал самую толстую и самую серьезную книгу и уселся, задрав ноги на край стола. На первой же странице я задремал и пробудился, вероятно, часа через полтора — солнце переместилось изрядно, и тень отеля лежала теперь под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек, и я спросонок подумал, что это, должно быть, унылый шалун Симонэ — прыгает там с трубы на трубу и регочет. Я снова заснул, потом книга свалилась на пол, я вздрогнул и проснулся окончательно. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек — один, по-видимо-

му, сидел, другой стоял. Загорают, подумал я, и отправился умываться. Пока я умывался, мне пришло в голову, что неплохо было бы выпить чашечку кофе для бодрости. Я закурил и вышел в коридор. Было уже что-то около трех.

На лестничной площадке я встретился с Хинкусом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота, лицо у него было белое до зелени, глаза не мигали, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды. Увидев меня, он сильно вздрогнул и приостановился.

— Загораєте? — спросил я из вежливости. — Смотрите не сгорите. Вид у вас нездоровый.

Проявив таким образом заботу о ближнем, я, не дожидаясь ответа, пошел вниз. Хинкус топал по ступенькам следом.

— Захотелось вот выпить, — проговорил он хрипловато.

— Вы бы все-таки оделись, — посоветовал я. — Вдруг там госпожа Мозес...

— Да, — сказал он. — Натурально. Совсем забыл.

Он остановился и принялся торопливо натягивать рубашку и куртку, а я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне и потребовал чего-нибудь покрепче.

— Симонэ тоже там? — спросил я. Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом.

— Где? — отрывисто спросил Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку.

— На крыше.

Рука у Хинкуса дрогнула, бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал:

— Нет. Никого там нет.

Я с удивлением посмотрел на него. Губы у него были поджаты, он наливал себе вторую рюмку.

— Странно, — сказал я. — Мне почему-то показалось, что Симонэ тоже там, на крыше.

— А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось, — грубо ответил ходатай по делам, выпил и налил снова.

— Что это с вами? — спросил я.

Некоторое время он молча смотрел на полную рюмку.

— Так, — сказал он наконец, — неприятности. Могут быть у человека неприятности?

Было в нем что-то жалкое, и я смягчился.

— Да, конечно, — сказал я. — Извините.

Он хлопнул третьей рюмку и вдруг сказал:

— Послушайте, а вы не хотите позагорать на крыше?

— Да нет, спасибо, — ответил я. — Боюсь сгореть. Кожа чувствительная.

Он подумал, взял бутылку, навинтил колпачок.

— Воздух там хорош, — произнес он. — И вид прекрасный. Вся долина, как на ладони... Горы...

— Пойдемте сыграем в бильярд, — предложил я. — Вы играете?

Он впервые посмотрел мне прямо в лицо маленькими больными глазами.

— Нет, — сказал он. — Я уж лучше подышу воздухом.

Затем он снова отвинтил колпачок и налил себе четвертую рюмку. Я доел ростбиф, выпил кофе и собрался уходить. Хинкус тупо разглядывал свою рюмку с бренди.

— Смотрите не свалитесь с крыши, — сказал я ему.

Он криво ухмыльнулся и ничего не ответил. Я снова поднялся на второй этаж. Стука шаров не было слышно, и я толкнулся в номер Симонэ. Никто не

отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса, и я постучался туда. Симонэ там тоже не было. Дю Барнстокр и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Они были очень увлечены.

Я извинился и закрыл дверь. Ладно, погоняю шары в одиночку. В сущности, никакой разницы нет. Даже еще лучше. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице, придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес. Увидев меня, она улыбнулась совершенно обворожительно.

— Вы тоже загорали? — ляпнул я, потерявшись.

— Загорала? Я? Что за странная мысль? — Она пересекла площадку и приблизилась ко мне. — Какие странные предположения вы высказываете, инспектор!

— Не называйте меня, пожалуйста, инспектором, — попросил я. — Мне до такой степени надоело слышать это на работе...

— Я о-бо-жаю полицию, — произнесла госпожа Мозес, закатывая прекрасные глаза. — Эти герои, эти смельчаки... Вы ведь смельчак, не правда ли?

Как-то само собой получилось, что я предложил ей руку и повел в бильярдную. Рука у нее была белая, твердая и удивительно холодная.

— Сударыня, — сказал я. — Да вы совсем замерзли...

— Нисколько, инспектор, — ответила она и тут же спохватилась: — Простите, но как же мне вас называть?

— Может быть, Петер? — предложил я.

— Это было бы прелестно. У меня был друг Петер, барон фон Готтескнехт. Вы не знакомы?.. Однако тогда вам придется звать меня Ольгой. А если услышит Мозес?

Мы прошли через столовую и оказались в бильярдной. В бильярдной был Симонэ. Почему-то он лежал на полу в неглубокой, но широкой нише. Лицо у него было красное, волосы взлохмачены.

— Симон! — воскликнула госпожа Мозес и приложила ладони к щекам. — Что с вами?

В ответ Симонэ заклекотал и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку.

— Боже мой, да вы убьетесь! — закричала госпожа Мозес.

— В самом деле, Симонэ, — сказал я с досадой. — Вы сломаете себе шею.

Однако шалун и не думал убиваться и ломать себе шею. Он добрался до потолка, повисел там, все более наливаясь кровью, потом мягко прыгнул вниз и отдал нам честь. Госпожа Мозес зааплодировала.

— Вы просто чудо, Симон, — сказала она. — Как муха!

— Ну что, инспектор, — сказал Симонэ, чуть задыхаясь. — Сразимся во славу прекрасной дамы? — Он схватил кий и сделал фехтовальный выпад. — Я вас вызываю, инспектор Глобски!

С этими словами он повернулся к бильярдному столу и, не целясь, с таким треском залепил восьмерку в угол через весь стол, что у меня в глазах потемнело. Однако отступать было некуда. Я угрюмо взял кий.

— Сражайтесь, господа, сражайтесь, — сказала госпожа Мозес. — Прекрасная дама оставляет залог победителю. — Она бросила на середину стола кружевной платочек. — А я вынуждена покинуть вас. — Она послала нам воздушный поцелуй и удалилась.

— Чертовски завлекательная женщина, — заявил Симонэ. — С ума можно сойти. — Он подцепил кием платочек, погрузил нос в кружева и закатил глаза. — Прелесть!.. У вас, я вижу, тоже без всякого успеха, инспектор?



— Вы бы побольше путались под ногами,— мрачно сказал я, собирая шары в треугольник.— Кто вас просил торчать здесь, в бильярдной?

— А зачем вы, голова садовая, повели ее в бильярдную? — резонно возразил Симонэ, разбивая пирамиду.

— Не в буфетную же мне ее вести...— проворчал я и пошел вокруг стола, выбирая шар полегче.

— Глядите-ка,— сказал Симонэ. Он стоял у окна и заглядывал куда-то вбок.— Какой-то дурак сидит на крыше... Пardon! Два дурака. Один стоит, я принял его за печную трубу.

— Это Хинкус,— проворчал я, пристраиваясь поудобнее для удара.

— Хинкус — это такой маленький и все время брзжит,— сказал Симонэ.— Ерундовый человечек. Вот Олаф — это да. Истый потомок древних конунгов, вот что я вам скажу, инспектор Глебски.

Я наконец ударил. И промазал. Совсем несложный шар промазал. Обидно. Я осмотрел конец кия, потрогал наклейку. Наклейка была в порядке.

— Не разглядывайте, не разглядывайте,— сказал Симонэ, подходя к столу.— Нет у вас никаких оправданий.

Он ударил. Потом еще раз ударил. Хлестко, с треском, с лязгом. Я застонал и пошел к окну, чтобы не видеть этого. Симонэ еще раз ударил и сказал:

— Pardon. Действуйте, инспектор.

Тень сидящего человека запрокинула голову и подняла руку с бутылкой. Я понял, что это Хинкус. Сейчас отхлебнет как следует и передаст бутылку стоящему. А кто это, собственно, стоит?

— Вы будете бить или нет? — спросил Симонэ.— Что там такое?

— Хинкус надирается,— сказал я.— Ох, свалится он сегодня с крыши...

Хинкус основательно присосался, а затем принял прежнюю позу. Угощать стоявшего он не стал. Кто же это такой? А, так это же чадо, наверное... Я вернулся к столу, выбрал шар полегче и опять промазал.

— Вы читали мемуары Кориолиса о бильярдной игре? — спросил Симонэ.

— Нет,— сказал я мрачно.— И не собираюсь.

— А я вот читал,— сказал Симонэ. Он в два удара кончил партию и наконец разразился своим жутким хохотом. Я положил кий поперек стола.

— Вы остались без партнера, Симонэ,— сказал я

мстительно.— Можете теперь сморкаться в свой приз в полном одиночестве.

Симонэ взял платочек и торжественно сунул его в нагрудный карман.

— Прекрасно,— сказал он.— Чем мы теперь займемся?

Я подумал.

— Пойду-ка я побреюсь. Обед скоро.

Мы вышли в коридор и сразу же наткнулись на чадо любимого покойного брата господина дю Барнстокра. Чадо загородило нам дорогу и, нагло поблескивая вытаращенными черными окулярами, потребовало сигаретку.

— Как там Хинкус? — спросил я, доставая пачку.— Здорово надрался?

— Хинкус? Ах, этот...— Чадо закурило и, сложив губы колечком, выпустило дым.— Ну, надраться не надрался, но зарядился основательно и еще взял бутылку с собой.

— А вы тоже с ним заряжались?—спросил Симонэ с интересом.

Чадо пренебрежительно фыркнуло.

— Черта с два! Он меня и не заметил. Ведь там была Кайса...

Тут мне пришло в голову, что пора наконец выяснить, парень это или девушка, и я раскинул сеть.

— Значит, вы были в буфетной? — спросил я вкрадчиво.

— Да. А что? Полиция не разрешает?

— Полиция хочет знать, что вы там делали.

— И научный мир тоже,—добавил Симонэ. Кажется, та же мысль пришла в голову и ему.

— Кофе пить полиция разрешает?—осведомилось чадо.

— Да,— ответил я.— А еще что вы там делали?

Вот сейчас... Не может же оно сказать: «Я закусывало»...

— А ничего,—хладнокровно сказала чадо.— Кофе и пирожки с кремом. Вот и все мои занятия в буфетной.

— Сладкое перед обедом вредно,—с упреком сказал Симонэ. Он был явно разочарован. Я тоже.

— Ну, ладно,—пробормотал я.— Пойду побреюсь.

— Может быть, есть еще вопросы? — спросило чадо нам вслед.

— Да нет, бог с вами,—сказал я.

Хлопнула дверь: чадо удалилось в свой номер.

— Схожу-ка и я перекушу,—сказал Симонэ, останавливаясь возле лестничной площадки.— Пойдемте, инспектор, до обеда еще час с лишним...

Я отказался, и мы разошлись. Симонэ застучал ботинками по ступенькам, а я направился в свой номер. В тот момент, когда я проходил мимо номера-музея, там послышался треск, что-то с грохотом повалилось, разбилось что-то стеклянное, и послышалось недовольное ворчание. Я заглянул в номер и обнаружил там господина Мозеса. Господин Мозес, высоко задрав одной рукой край ковра, а в другой сжимая свою неизменную кружку, с отвращением глядел на опрокинутую тумбочку и на черепки разбитой вазы.

— Проклятый притон! — прохрипел он при виде меня.— Грязное логово!

— Что вы тут делаете? — спросил я.

Господин Мозес немедленно взвинтился.

— Что я тут делаю? — взревел он, изо всех сил рванув ковер на себя. При этом он чуть не потерял равновесие и повалил кресло.— Я ищу мерзавца, который шатается по отелю, ворует вещи у порядочных людей, топает по ночам в коридорах и заглядывает в окна к моей жене! Какого дьявола я должен этим заниматься, когда в доме торчит полицейский?

Он отшвырнул ковер и повернулся ко мне. Я даже попятился.

— Может быть, я должен объявить награду? — продолжал он, взвинчивая себя все круче.— Извольте, объявляю. Сколько вам нужно, вы, инспектор? Пятьсот? Тысячу? Извольте: полторы тысячи крон тому, кто найдет мои пропавшие золотые часы! Две тысячи крон!

— У вас пропали часы? — спросил я, нахмурившись. Шутки кончились. Золотые часы — это не зойлочные туфли и не занятый душ.

— Да!

— Когда вы видели их в последний раз?

— Сегодня рано утром. Они лежали на столе. Я подумал.

— Советую вам,—сказал я наконец,—написать формальное заявление. Тогда я вызову полицию.

Мозес уставился на меня, и некоторое время мы молчали. Потом он отхлебнул из кружки и сказал:

— На кой черт вам заявление и полиция? Я вовсе не хочу, чтобы мое имя трепали вонючие газетчики. Почему вы не можете заняться этим сами? Я же объявил награду. Хотите задаток?

— Мне неудобно вмешиваться в это дело,—возразил я.— Я не частный сыщик, я государственный служащий.

— Ладно,—сказал он вдруг.— Я подумаю...— Он помолчал.— Может быть, они сами найдутся. Хотелось бы надеяться, что это очередная глупая шутка. Но если часы не найдутся до завтра, утром я напишу это заявление.

На том мы и порешили. Мозес пошел к себе, а я к себе.

Не знаю, что новенького обнаружил Мозес у себя в номере. У меня новенького было полно. Во-первых, на двери косо висел лозунг «Когда я слышу слово «культура», я вызываю мою полицию». Лозунг я, конечно, содрал, но это было только начало. Стол в моем номере оказался залит уже застывшим гуммиарабиком — поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же,—и в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Записка. Совершенно дурацкая записка. Корявыми печатными буквами было написано: «Господина инспектора Глебски извещают, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господина инспектора убедительно просят принять какие-нибудь меры».

Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял ее содержание. Потом я закурил сигарету и оглядел номер. Следов, конечно, я никаких не заметил. Я расправил смятый лозунг и сравнил его с запиской. Буквы лозунга были тоже печатные и тоже корявые, но выписаны они были карандашом. Впрочем, с лозунгом и так все было ясно — это была, конечно, чадова работа. Просто шутка. Один из тех дурацких лозунгов, которые французские студенты писали на стенах Сорбонны. С запиской же дело обстояло значительно хуже. Мистификатор мог подсунуть записку под дверь, мог воткнуть ее в замочную скважину, просто положить на стол и придавить, например, пепельницей. Нужно было быть кретином или полным дикарем, чтобы ради дурацкой шутки загадить такой хороший стол. Кретинов здесь полно, это верно... но не до такой же степени! Я еще раз перечитал записку, изо всех сил затянулся и подошел к окну. Вот тебе и отпуск, подумал я. Вот тебе и долгожданная свобода...

Солнце было уже совсем низко, тень отеля протянулась на добрую сотню метров. На крыше, запрокинув голову и присосавшись к бутылке, по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист господин Хинкус. Он был один.

Я остановился перед номером Хинкуса и осторожно огляделся. Коридор был, как всегда, пуст. Из бильярдной доносился треск шаров — там был Симонэ. Дю Барнстокр и Олаф сидели в номере у Олафа. Чадо возилось с мотоциклом. Мозесы были у себя. Хинкус сидел на крыше. Пять минут назад он спустился в буфетную, взял еще бутылку, зашел в номер, облачился в шубу и теперь намерен, вероятно, дышать чистым воздухом по крайней мере до обеда. А я стоял перед его номером, пробовал в замочной скважине ключи из связки, которую утащил из конторки хозяина, и готовился совершить должностной проступок.

Пятый или шестой ключ мягко щелкнул, и я проскользнул в номер. Я сделал это так, как обычно делают герои шпионских боевиков, — других способов я не знал. Солнце уже почти зашло за хребет, но в номере было довольно светло. Вид у номера был нежилой, кровать не смята, пепельница пуста и чиста, а оба баула стояли прямо посередине комнаты.

Содержимое первого, более тяжелого баула сразу насторожило меня. Это был типичный фальшивый багаж: какое-то тряпье, драные простыни и наволочки и пачка книг, подобранных самым нелепым образом. Настоящий багаж содержался во втором бауле. Здесь было три смены белья, пижама, несессер, набор авторучек, пачка денег — солидная пачка, больше моей — и две дюжины носовых платков. Была там также небольшая серебряная фляжка — пустая, футляр с темными очками и бутылка с иностранной наклейкой — полная. А на самом дне баула, под бельем, я нашел массивные золотые часы и маленький дамский браунинг.

Я сел на пол и прислушался. Пока все было тихо, но времени на размышление у меня оставалось крайне мало. Я оглядел часы. На крышке была выгравирована какая-то сложная монограмма, золото было настоящее, червонное, с красноватым отблеском, циферблат был украшен знаками зодиака. Это были, несомненно, пропавшие часы господина Мозеса. Потом я оглядел пистолет. Никелированная безделушка с перламутровой рукояткой, строго говоря, вообще не оружие... Взор, все это вздор. Гангстеры не обременяют себя такой чепухой. И если на то пошло, гангстеры не воруют часов, даже таких тяжелых и массивных. Настоящие гангстеры, с именем и репутацией.

Так-так-так... Давай-ка быстренько сформулируем. Никаких доказательств, что Хинкус — опасный гангстер, маньяк и садист, и сколько угодно доказательств, что кому-то очень хочется выдать его за гангстера. Празда, фальшивый багаж...

Я снова прислушался. В столовой звенели посудой — Кайса уже накрывала на стол. Кто-то топтал мимо дверей. Голос Симонэ зычно осведомился: «А где же инспектор? Где он, наш храбрец?» Пронзительно взвизгнула Кайса, леденящий хохот сотряс этаж. Пора было удирать. Я торопливо разрядил обойму, сунул патроны в карман, а пистолет и часы вернул на дно баула. Я едва успел выскочить и повернуть ключ, как в другом конце коридора появился дю Барнстокр.

— Дорогой инспектор! — провозгласил он. — Победа, слава, богатство! Таков всегдашний удел дю Барнстокров.

Я пошел ему навстречу, и мы сблизились возле дверей его номера.

— Обчистили Олафа? — сказал я.

— Представьте себе, да! — сказал он, счастливо улыбаясь. — Наш милый Олаф слишком уж методи-

чен. Играет, как машина, никакой фантазии. Даже скучно... Кстати, милый инспектор. Вы знаете, какую новую шутку учинил наш дорогой покойник? Зайдемте-ка на минуточку ко мне...

Он втащил меня к себе в номер, пихнул в кресло и предложил сигару.

— Где же она? — пробормотал он, похлопывая себя по карманам. — Ага! Вот, извольте взглянуть, что я получил сегодня. — Он протянул мне смятый клочок бумаги.

Это опять была записка. Корявыми печатными буквами, с орфографическими ошибками, там было написано: «Мы вас нашли. Я держу вас на мушке. Не пытайтесь бежать и не делайте глупостей. Стрелять буду без предупреждения. Ф.». Стиснув зубами сигару, я перечитал это послание дважды и трижды.

— Прелестно, не правда ли? — сказал дю Барнстокр, охорашиваясь перед зеркалом.

— Как она к вам попала?

— Ее подбросили в номер к Олафу, когда мы играли. Олаф отправился в буфет за спиртным, а я сидел и курил сигару. Раздался стук в дверь, я сказал: «Да-да, войдите», — но никто не вошел. Я удивился, и вдруг я увидел, что у двери лежит эта записка. Видимо, ее подсунули под дверь.

— Вы, конечно, выглянули в коридор и, конечно, никого не увидели, — сказал я.

— Ну, мне пришлось довольно долго выкарабкиваться из кресла, — сказал дю Барнстокр. — Пойдемте? Откровенно говоря, я основательно проголодался.

Я положил записку в карман, и мы отправились в столовую, захватив по дороге чадо.

Кажется, все уже были в сборе. Госпожа Мозес обслуживала господина Мозеса, Симонэ и Олаф топтались возле стола с закусками, хозяин разливал настойку. Дю Барнстокр и чадо отправились на свои места, а я присоединился к мужчинам. Симонэ злобешевым шепотом рассказывал Олафу о воздействии эдельвейсовой настойки на человеческие внутренности. Олаф, добродушно хмыкая, поедая икру. Тут вошла Кайса и принялась тарыхтеть, обращаясь к хозяину:

— Они не желают идти, они сказали, раз не все собрались, так и они не пойдут. А когда все соберутся, тогда они и придут. Они так и сказали... И две бутылки пустые...

— Так походи и скажи, что все собрались, — приказал хозяин.

— Они мне не верят, я и так сказала, что все собрались, а они мне...

— О ком речь? — отрывисто спросил господин Мозес.

— Речь идет о господине Хинкусе, — ответил хозяин. — Он все еще пребывает на крыше, а я...

— Чего там на крыше! — сильным басом сказала чадо. — Вон он, Хинкус! — И оно указало вилкой на Олафа.

— Дитя мое, вы заблуждаетесь, — мягко произнес дю Барнстокр, а Олаф добродушно осклабился и прогудел:

— Олаф Андварафорс, детка. Можно просто Олаф.

— А почему тогда он?.. — Вилка протянулась в мою сторону.

— Какого дьявола, Сневар?! — сказал Мозес. — Не хочет идти — пусть торчит на морозе.

— Уважаемый господин Мозес, — произнес хозяин с достоинством. — Именно сейчас весьма желательно, чтобы все были в сборе. Я имею сообщить моим уважаемым гостям весьма приятную новость... Кайса, быстро!

— Да не идут они...

Я поставил тарелку с закуской на столик.

— Погодите, — сказал я. — Сейчас я его приведу.

Выходя из столовой, я услышал, как Симонэ ска-

зал: «Правильно! Пусть-ка полиция займется своим делом»,— после чего залился кладбищенским хохотом, сопровождавшим меня до самой чердачной лестницы.

Я поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь и оказался в круглом, сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками для отдыха вдоль стен. Здесь было холодно, странно пахло снегом и пылью, горой громоздились сложенные шезлонги. Фанерная дверь, ведущая на крышу, была приоткрыта.

Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега, вокруг павильончика снег был утопан, а дальше, к покосившейся антенне, вела тропинка, и в конце этой тропинки неподвижно сидел в шезлонге закутанный Хинкус. Левой рукой он придерживал на колене бутылку, а правую прятал за пазухой, должно быть, отогревал. Лица его почти не было видно, оно было закрыто воротником шубы и козырьком меховой шапки, только настороженные глаза поблескивали оттуда, словно тарангул глядел из норки.

— Пойдемте, Хинкус,— сказал я.— Все собрались. Ждут вас.

— Все? — хрипло спросил он.

Я кивнул и огляделся. Солнце скрылось за хребтом, снег в долине казался лиловатым, в темнеющее небо поднималась бледная луна. Краем глаза я заметил, что Хинкус внимательно следит за мной.

— А чего меня ждать? — спросил он.— Начинали бы...

— Хозяин хочет сделать нам какой-то сюрприз.

— Сюрприз... — сказал Хинкус и покашлял.— Туберкулез у меня,— сообщил он вдруг.— Врачи говорят, мне все время надо на свежем воздухе... и мясо черномясой курицы...

Мне стало его жалко.

— Черт возьми,— сказал я искренне.— Сочувствую вам. Но обедать-то все-таки тоже нужно...

— Нужно, конечно,— согласился он и встал.— Пообедаю и опять сюда вернусь.— Он поставил бутылку в снег.— Как вы думаете, врут доктора или нет? Насчет свежего воздуха...

— Ну-ну, Хинкус,— сказал я.— Туберкулез теперь лечат. Это вам не девятнадцатый век.

— Да, наверное,— вяло согласился он. Мы свернули в коридор. В столовой звенела посуда, гудели голоса.— Вы идите, я шубу сброшу,— сказал он, останавливаясь у своей двери.

Я кивнул и вошел в столовую.

— А где арестованный? — громогласно спросил Симонэ.

— Все в порядке,— сказал я.— Сейчас придет.

Дю Барнстокр что-то рассказывал о магии чисел. Госпожа Мозес ахала. Симонэ отрывисто похохотывал. «Бросьте, Бардл... Дюбр... — гудел Мозес.— Все это — средневековый вздор». Я налил себе хорошую порцию супу, и тут появился Хинкус. Губы у него дрожали, и опять он был какой-то зеленоватый. Его встретил взрыв приветствий, а он, торопливо обведя стол глазами, как-то неуверенно направился к своему месту между мною и Олафом. В это время хозяин постучал ножом о край тарелки.

— Господа! — торжественно провозгласил он.— Прошу минуточку внимания! Теперь, когда мы все собрались здесь, я позволю себе сообщить вам приятную новость. Идя навстречу многочисленным пожеланиям гостей, администрация отеля приняла решение устроить сегодня праздничный бал Встречи Весны. Конца обеда не будет! Танцы, господа, вино, карты, веселая беседа!

Симонэ с треском ударил в костлявые ладони. Госпожа Мозес тоже зааплодировала. Все оживи-

лись, и даже неуступчивый господин Мозес, сделав основательный глоток из кружки, просипел: «Ну, карты — это еще куда ни шло...» А дитя стучало вилок о стол и показывало мне язык. Розовый такой язычок, вполне приятного вида. И в самый разгар этого шума и оживления Хинкус вдруг придвинулся ко мне и зашептал в ухо:

— Слушайте, инспектор, вы, говорят, полицейский... Что мне делать? Полез я сейчас в баул... за лекарством. Мне велено пить перед обедом микстуру какую-то... А у меня там... ну, одежда кое-какая теплая, жилет меховой, носки там... Так ничего этого у меня не осталось. Тряпки какие-то не мои, белье рваное... и книжки...

Я осторожно опустил ложку на стол и посмотрел на него. Глаза у него были круглые, празное веко подергивалось, и в глазах был страх. Крупный гангстер. Маньяк и садист.

— Ну, хорошо,— сказал я сквозь зубы.— А чего вы от меня хотите?

Он сразу как-то увял и втянул голозу в плечи.

— Да нет... ничего... Я только не понимаю, это шутка или как... Если кража, так ведь вы полицейский... А может быть, конечно, и шутка, как вы предполагаете?

— Да, Хинкус,— сказал я, отведя глаза и снова принимаясь за суп.— Тут все шутят. Считайте, что это шутка, Хинкус.

Глава 6

К моему немалому удивлению, затея с вечеринкой удалась. Пообедали быстро и неосновательно, и никто не покинул столовой, кроме Хинкуса, который, пробормотав какие-то извинения, поплелся обратно на крышу промывать легкие горным кислородом. Я проводил его взглядом, испытывая что-то вроде угрызений совести. Мельком я подумал, что для ходатая по делам, даже по делам несовершеннолетних, у Хинкуса слишком уж бедный лексикон. Я отогнал эту мысль и старательно загоготал вместе с Симонэ над какой-то его очередной суконной остротой, которую не расслышал. Я залпом проглотил полстакана бренди и налил еще. В голове у меня зашумело.

Между тем веселье началось. Кайса еще не успела собрать грязную посуду, а господин Мозес и дю Барнстокр, делая друг другу приглашающие жесты, проследовали к карточному столику с зеленым сукном, появившемуся вдруг в углу столовой. Хозяин включил оглушительную музыку. Олаф и Симонэ одновременно устремились к госпоже Мозес, и поскольку та оказалась не в силах выбрать кавалера, они принялись отплясывать втроем. Чадо снова показало мне язык. Правильно! Я вылез из-за стола и, ступая по возможности твердо, понес к этой разбойнице... к этому разбойнику бутылку и стакан.

— Танец, мадемуазель? — произнес я, плюхнувшись на стул рядом с чадом.

— Я не танцую, сударыня,— лениво ответило чадо.— Бросьте трепаться и дайте сигаретку.

Я дал ему сигаретку, хватил еще бренди и принялся объяснять этому существу, что его поведение — по-ве-де-ни-е! — аморально, что так нельзя. Что я когда-нибудь его выпорю, дайте мне только срок. Или, добавил я, подумав, привлеку за ношение неподобающей одежды в местах общественного пользования. Развешивание лозунгов, сказал я. Нехорошо. На дверях. Шокирует и будирует. Будирует!

Чадо отвечало мне что-то, и довольно остроумно, то хриловатым мальчишеским баском, то нежным

девичьим альтом. Голова у меня шла кругом, и скоро мне стало казаться, что разговариваю я сразу с двумя собеседниками. Где-то тут обретался испорченный, вставший на неправильный путь подросток, который все время хлобыстал мое бренди и за которого я нес ответственность как работник полиции и старший по чину. И где-то тут же пребывала очаровательная, пикантная девушка, которая, слава богу, ну совершенно не походила на мою старуху и к которой я, кажется, начинал испытывать чувства более нежные, нежели отеческие. Отпихивая все время ввязывавшегося в разговор подростка, я изложил девушке свои взгляды на брак как на добровольный союз двух сердец, взявших на себя определенные моральные обязательства. И никаких велосипедов-мотоциклов, добавил я строго. Условимся об этом сразу же. Моя старуха этого не выносит. Мы условились, я откинулся на стуле и оглядел зал.

Все шло прекрасно. Законы и моральные нормы не нарушались. Никто не вывешивал лозунгов, не писал записок, не крал часов. Музыка гремела. Дю Барнстокр, Мозес и хозяин резались в тринадцать без ограничения ставок. Госпожа Мозес лихо отплясывала с Симонэ что-то совершенно современное. Кайса убирала посуду. Тарелки, вилки и Олафы так и вились вокруг нее. Вся посуда на столе находилась в движении — я едва успел подхватить убегающую бутылку и облил себе брюки.

Это была ошибка. Девушка обиделась и куда-то пропала, а подросток остался и принялся хамить. Но тут ко мне подошла госпожа Мозес и пригласила меня на танец, и я с удовольствием согласился. Через минуту у меня появилась твердая уверенность в том, что я болван, что судьбу свою мне надлежит связать с госпожой Мозес и только с ней. С моей Ольгой. У нее были божественно мягкие ручки, нисколько не обветренные и совсем без цыпок, и она охотно позволяла целовать их, и у нее были прекрасные, хорошо различимые глаза, не скрытые никакой оптикой, и от нее очаровательно пахло, и у нее не было родственника-брата, грубого, разбитного юнца, не дающего слово сказать. Правда, кругом все время почему-то оказывался Симонэ, унылый шалун, но с этим вполне можно было мириться, поскольку он не был родственником. Потом я как-то внезапно протрезвел и обнаружил, что нахожусь с госпожой Мозес за портьерой у окна. Я держал ее за талию, а она, склонив голову мне на плечо, говорила:

— Посмотри, какой очаровательный вид!..

Это неожиданное обращение на «ты» смутило меня, и я принялся тупо рассматривать вид, раздумывая, как бы это поделикатнее убрать руку с ее талии, пока нас тут не застучали. Впрочем, вид действительно не был лишен очарования. Луна, наверное, уже поднялась высоко, вся долина казалась голубой в ее свете, а близкие горы словно висели в неподвижном воздухе. Тут я заметил унылую тень несчастного Хинкуса, сгорбившегося на крыше, и пробормотал:

— Бедняга Хинкус...

Госпожа Мозес слегка отстранилась и удивленно посмотрела на меня снизу вверх.

— Бедняга? — спросила она. — Почему бедняга?

— Он тяжело болен, — объяснил я. — У него туберкулез, и он страшно боится.

— Да-да, — подхватила она. — Вы тоже заметили? Он все время чего-то боится. Какой-то подозрительный и очень неприятный господин. И совсем не нашего круга...

Я горестно покачал головой и вздохнул.

— Ну вот, и вы туда же... — сказал я. — Ничего подозрительного в нем нет. Просто несчастный, оди-

нокий человек. Очень жалкий. Вы бы посмотрели, как он то и дело зеленеет и покрывается потом.

Тут портьера с треском раздвинулась, и перед нами возникло чад. Не глядя на меня, оно неуклюже шаркнуло ногой и сипло произнесло:

— Пермете ву...

— Битте, мой мальчик, — очаровательно улыбаясь, отозвалась госпожа Мозес, подарила мне очередную ослепительную улыбку и, обхваченная чадом, заскользила по паркету.

Я вздохнул и вытер лоб платком. Стол был уже убран. Тройка картежников в углу продолжала резаться. Симонэ лупил шарами в бильярдной, Олаф и Кайса испарились. Музыка гремела вполсилы, госпожа Мозес и Брюн демонстрировали незаурядное мастерство. Я осторожно обошел их стороной и направился в бильярдную.

Симонэ приветствовал меня взмахом кия и, не тратя ни секунды драгоценного времени, предложил мне пять шаров форы. Я снял пиджак, засучил рукава, и игра началась. Я проиграл огромное количество партий и был за это наказан огромным количеством анекдотов. На душе у меня стало совсем легко. Я хохотал над анекдотами, которых почти не понимал, ибо речь в них шла о каких-то кварках, левожающих коровах и профессорах с иностранными именами, я пил содовую, не поддаваясь на уговоры и насмешки партнера, я преувеличенно стонал и хватался за сердце, промахиваясь, я исполнялся торжества, попадая, я придумывал новые правила игры и с жаром их отстаивал, я распоясался до того, что снял галстук и расстегнул воротник сорочки. По-моему, я был в ударе. Симонэ тоже был в ударе. Он клал невообразимые и теоретически невозможные шары, он бегал по стенам и даже, кажется, по потолку; в промежутках между анекдотами он во все горло распевал песни математического содержания; он постоянно сбивался на «ты» и говорил при этом: «Пардон, старина! Проклятое демократическое воспитание!»

Через раскрытую дверь бильярдной я мельком видел то Олафа, танцующего с чадом, то хозяина, несущего к карточному столику поднос с напитками, то раскрасневшуюся Кайсу. Музыка все гремела, игроки азартно вскрикивали, то объявляя пики, то убивая червы, то козыряя бубнами. Время от времени слышалось хриплое: «Послушайте, Драбл... Бандрл... дю!...», и негодующий стук кружки по столу, и голос хозяина: «Господа, господа! Деньги — это прах...», и раздавался хрустальный смех госпожи Мозес и ее голосок: «Мозес, что вы делаете, ведь пики уже прошли...» Потом часы пробили половину чего-то, в столовой задвигали стульями, и я увидел, как Мозес хлопает дю Барнстокра по плечу, и услышал, как он гудит: «Игра была хороша, Барн... дю... Вы опасный противник. Спокойной ночи, господа! Пойдемте, дорогая...» Потом, помнится, у Симонэ вышел, как он выразился, запас горючего, и я сходил в столовую за новой бутылкой бренди, решив, что и мне пора пополнить кладовые веселья и беззаботности.

В зале все еще играла музыка, но уже никого не было, только дю Барнстокр, сидя спиной ко мне за карточным столиком, задумчиво творил чудеса с двумя колодами. Он плавным движением узких белых рук извлекал карты из воздуха, заставлял их исчезать с раскрытых ладоней, пускал колоды из руки в руку мерцающей струей, веером рассыпал их в воздухе перед собой и отправлял в небытие. Меня он не заметил, а я не стал его отвлекать. Я просто взял с буфета бутылку и на цыпочках вернулся в бильярдную.

Когда в бутылке осталось чуть больше половины, я мощным ударом выбросил за борт сразу два шара

и порвал сукно на бильярде. Это было уже слишком.

— Все,— сказал я и положил кий.— Пойду подышу свежим воздухом.

Я миновал столовую, теперь уже совсем пустую, спустился в холл и вышел на крыльцо, а затем прошелся взад-вперед по расчищенной дорожке перед фасадом отеля. Светилось желтым окно кухни, светилось розовым окно в спальне госпожи Мозес, горел свет и у дню Барнстокра и за портьерами в столовой, а остальные окна были темны, и окно в номере Олафа было раскрыто настежь, как и утром. На крыше одиноко торчал закутанный с головой в шубу страдалец Хинкус, несчастный, согнутый под бременем своего страха.

— Хинкус! — тихонько позвал я, но он не шевельнулся. Может быть, дремал, а может быть, не слышал сквозь теплые наушники и поднятый воротник.

Я замерз и с удовольствием ощутил, что теперь наступило самое время выпить горячего портвейна. Я вернулся в холл и, встретив хозяина, посвятил его в свой замысел.

— Это идея,— сказал он.— Ступайте в каминную, Петер, а я пойду распоряжусь.

Я последовал его приглашению и, устроившись перед огнем, принялся греть озябшие руки. Я слышал, как хозяин ходит по холлу, как он что-то бубнит Кайсе и опять ходит по холлу, щелкая выключателями, потом шаги его затихли, и в столовой смолкла музыка. Грузно ступая по ступенькам лестницы, он спустился в холл и прошел в буфетную.

Я закурил сигарету, бросил спичку в камин, и в этот самый момент пол слегка дрогнул под моими ногами, жалобно задребезжали стекла, и я услышал отдаленный мощный грохот. Я подскочил и машинально поглядел на часы — было десять часов две минуты. Я ждал, весь напрягшись. Грохот не повторялся. Где-то наверху с силой хлопнула дверь, звякнули кастрюли на кухне. Кайса громко сказала: «Ой, господи!» Я поднялся, но тут раздались шаги, и в каминную вошел хозяин с двумя стаканами горячего пойла.

— Слыхали? — спросил он.— Обвал в горах. И не очень далеко... Подождите-ка, Петер.

Он поставил стаканы на каминную полку и вышел. Я взял стакан и снова уселся в свое кресло. Я был совершенно спокоен. Обвалы меня не пугали, а портвейн, вскипяченный с лимоном и корицей, был превыше всяческих похвал. Хорошо! — подумал я, устраиваясь поудобнее.

Вернулся хозяин. Он взял свой стакан, сел рядом и некоторое время молча смотрел на раскаленные угли.

— Дело швах, Петер,— глухо и торжественно произнес наконец он.— Мы отрезаны от внешнего мира.

— Завалило дорогу?

— Да. Сейчас я попробовал связаться с Мюром. Телефон не действует. Это может означать только то, что означало уже несколько раз за последние десять лет: обвалом забило Бутылочное Горлышко, вы его проезжали, единственный проход в мою долину.

Он отпил из стакана.

— Я сразу понял, что к чему,— продолжал он.— Грохот донесся с севера. Теперь нам остается только ждать. Пока о нас вспомнят, пока организуют рабочую бригаду...

— Воды у нас хватит,— задумчиво сказал я.— А вот не впадем ли мы в людоедство?

— Нет,— сказал хозяин с видимым сожалением.— Разве что вам захочется разнообразить меню.

— А как насчет топлива? — спросил я.

— У нас всегда есть в резерве мои вечные двигатели.

— Гм...— сказал я.— Они деревянные?

Хозяин взглянул на меня с упреком.

— Почему вы не спросите, Петер, как у нас с выпивкой?

— А как?

— С выпивкой,— гордо сказал хозяин,— у нас особенно хорошо. Одной только фирменной настойки у нас сто двадцать бутылок.

Некоторое время мы молча смотрели на угли, спокойно прихлебывая из стаканов. Потом хозяин вдруг сказал:

— Одно меня беспокоит, Петер, если говорить серьезно. У меня такое впечатление, что я потерял хороших клиентов.

— Каким образом? — спросил я.— Наоборот, восемь жирных мух запутались в вашей паутине. Какая реклама! Все они потом будут рассказывать, как чуть не съели друг друга...

— Это так,— самодовольно признался хозяин.— Об этом я уже подумал. Но ведь мух могло быть и больше, сюда вот-вот должны были приехать друзья Хинкуса...

— Друзья Хинкуса? — удивился я.

— Представьте себе. Он звонил в Мюр на телеграф и продиктовал телеграмму.— Хозяин поднял палец и торжественно продекламировал: «Мюр, отель «У Погибшего Альпиниста». Жду, поторопитесь».

— Вот уж никогда бы не подумал,— пробормотал я,— что у Хинкуса есть друзья.

Глава 7

К полуночи мы с хозяином прикончили кувшин горячего портвейна, обсудили, как бы поэффектнее оповестить остальных гостей о том, что они замурованы заживо, и решили несколько мировых проблем, а именно: обречено ли человечество на вымирание (да, обречено, однако нас к тому времени уже не будет); является ли сенбернар Лель разумным существом (да, является, однако убедить в этом дураков-ученых не представляется возможным); угрожает ли Вселенной так называемая тепловая смерть (нет, не угрожает ввиду наличия в сарае у хозяина вечных двигателей как первого, так и второго рода); какого пола Брюн (здесь я доказать ничего не сумел, а хозяин высказал и обосновал странную идею, будто Брюн вообще не имеет пола).

Кажется, именно в эту минуту сенбернар Лель, дремавший у наших ног, вдруг вскочил и глухо гавкнул. Хозяин воззрился на него.

— Не понял! — строго сказал он.

Лель гавкнул два раза подряд и направился в холл.

— Ага,— сказал хозяин, поднимаясь.— Кто-то пожаловал.

Мы последовали за Лелем. Мы были исполнены гостеприимства. Лель стоял перед ларадной дверью. Из-за двери доносились странные скребущие и скулящие звуки. Я схватил хозяина за руку.

— Медведь! — прошептал я.— Гризли! Ружье есть? Быстро!

— Боюсь, что это не медведь,— глухим голосом произнес хозяин.— Боюсь, что это наконец он. Надо отпереть.

— Не надо! — возразил я.

— Надо. Он заплатил за две недели, а прожил всего одну. Мы не имеем права. У меня отберут лицензию.

За дверью скреблись и прискуливали. Лель вел себя странно: он стоял к двери боком и смотрел на нее с вопросительным выражением, то и дело шумно

потягивая воздух носом. Именно так должны вести себя собаки, впервые встретившиеся с привидением, но хозяин смело протянул руку и отодвинул за-сов.

Дверь отворилась, и к нашим ногам медленно сползло облепленное снегом тело. Мы бросились к нему, втащили в холл и перевернули на спину. Облепленный снегом человек застонал и вытянулся. Глаза его были закрыты, длинный нос побелел.

Хозяин, не теряя ни секунды, развил бешеную деятельность. Он разбудил Кайсу, велел ей греть воду, влил в рот незнакомцу стакан горячего портвейна, растер ему лицо шерстяной рукавицей, а затем объявил, что нужно отнести его в душевую. «Берите его под мышки, Петер, — распорядился он, — а я возьму за ноги...» Я выполнил приказание и ощутил некоторый шок: оказалось, что незнакомец был однорукий, правой руки у него не было до самого плеча. Мы перетащили беднягу в душевую, уложили на скамью, а затем прибежала Кайса в одной рубашке, и хозяин объявил мне, что дальше справится сам.

Я вернулся в каминную и допил свой портвейн. Голова у меня была совершенно ясная, я был способен анализировать и сопоставлять с необыкновенной быстротой. Одет незнакомец был явно не по сезону. На нем был кургузый пиджачок, брюки дудочками и модельные туфли. В здешних местах так мог быть одет только человек, едущий на автомобиле. Тут я понял: он ехал сюда на автомобиле и попал в лавину в Бутылочном Горлышке. Это был приятель Хинкуса, вот кто! Надо разбудить Хинкуса...

Я выскочил из каминной и побежал на второй этаж. Свет в коридоре был погашен, я довольно долго искал выключатель, а потом еще дольше стучал в дверь к Хинкусу. Хинкус не отзывался. «Да ведь он все еще на крыше!» — ужаснулся я и стремглав помчался к чердачной лестнице. Так и есть, сидит на крыше. Он сидел в прежней позе, нахохлившись, уйдя головой в огромный воротник и сунув руки в рукава.

— Хинкус! — гаркнул я.

Он не пошевелился. Тогда я подбежал к нему и потряс за плечо. Я обалдел. Хинкус вдруг как-то странно осел, мягко подавшись у меня под рукой.

— Хинкус! — растерянно сказал я, непроизвольно подхватывая его.

Шуба раскрылась, из нее вывалилось несколько комьев снега, свалилась меховая шапка, и только тогда я понял, что Хинкуса нет, а есть только снежное чучело, облаченное в его шубу. Вот в этот момент я и протрезвел окончательно. Я быстро огляделся. Яркая маленькая луна висела прямо над головой, и все было видно, как днем. На крыше было много следов, и все это были следы одинаковые, не разберешь, чьи. Рядом с шезлонгом снег был промят, разбросан и разрыт — то ли здесь боролись, то ли просто собирали снег для чучела. Снежная доли-



на, насколько хватал глаз, была пуста и чиста, темная полоса дороги уходила на север и терялась в серо-голубой дымке, скрывающей устье Бутылочного Горлышка.

«Стоп!» — подумал я, стараясь держать себя в руках. Попробуем сообразить, зачем Хинкусу понадобилась вся эта бутафория. Несомненно, чтобы мы думали, будто он сидит на крыше. А он в это время находился совсем в другом месте и обделявал какие-то свои делишки... лжетуберкулезник, лжебедняга... Какие же делишки и где? Я снова внимательно осмотрел крышу, попытался разобраться в следах, ничего не понял, медленно спустился на второй этаж, снова постучался к Хинкусу, и снова никто не отозвался. На всякий случай я нажал на ручку. Дверь отворилась. Готовый ко всяким неожиданностям, вытянув перед собой руку, чтобы предупредить возможное нападение из темноты, я вошел и, быстро нашарив выключатель, зажег свет. В комнате все было как будто по-прежнему, и баулы стояли на прежних местах, но оба они были раскрыты. Хинкуса, конечно, в номере не было, да я и не ожидал его здесь найти. Я присел над баулами и снова тщательно обследовал их. В них тоже все было по-прежнему, за одним маленьким исключением: исчезли и золотые часы и браунинг. Если бы Хинкус бежал, он захватил бы деньги. Хорошая пачка, увесистая...

Одно мне было ясно: готовилось какое-то преступление. Какое? Убийство? Ограбление? Мысль об убийстве я торопливо погнал от себя. Я просто не мог себе представить, кого здесь могут убить и зачем. Потом я вспомнил про записку, которую подбросили дю Барнстокру. Мне сделалось нехорошо. Впрочем, из записки явствовало, что его убьют лишь в том случае, если он попытается бежать...

Я выключил свет и вышел в коридор, прикрыв за собою дверь. Я подошел к номеру дю Барнстокра и потрогал ручку. Дверь была заперта. Тогда я постучал. Никто не откликнулся. Я постучал вторично и приложил ухо к замочной скважине. Невнятный, явно со сна, голос дю Барнстокра отозвался: «Одну минуточку, я сейчас...» Старик был жив, и старик не собирался бежать. Объясняться с ним мне не хотелось, я выскочил на лестничную площадку и прижался к стене под чердачной лестницей. Через минуту щелкнул ключ, скрипнула дверь. Голос дю Барнстокра с изумлением произнес: «Странно, однако...» Снова скрипнула дверь, и снова щелкнул ключ. Здесь все было в порядке — по крайней мере пока. «Нет, — решительно подумал я. — Убийство — это, конечно, чепуха. А вот как насчет ограбления? Кого здесь имеет смысл грабить? Насколько я понимаю, в отеле два богатых человека: Мозес и хозяин. Так. Прекрасно. Оба на первом этаже. Номера Мозеса в южном крыле, сейф хозяина — в северном. Их разделяет холл. Если я засяду в холле... Вдруг я вспомнил об одноруком незнакомце. Гм... Может быть, он действительно попал в аварию, а может быть, все это комедия, вроде снежной бабы на крыше...

Я спустился в холл. В душевой уже никого не было, а посередине холла стояла с ошалелым видом Кайса в ночной рубашке с мокрым подолом и держала в охапке мокрую и смятую одежду незнакомца. В коридоре южного крыла горел свет, из пустовавшего номера, что напротив каминной, доносился приглушенный бас хозяина. Незнакомца, по-видимому, устроили там, а ему, может быть, только того и надо было. Хороший расчет: не потащат же полуживого человека на второй этаж...

Кайса, очнувшись, наконец, двинулась было на хозяйскую половину, но я ее остановил. Я отобрал у нее одежду и обыскал карманы. К моему огромному изумлению, в карманах не оказалось ничего. Решительно ничего. Ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового платка — ничего. Я вернул одежду Кайсе и пошел взглянуть на незнакомца. Незнамец лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим, приговаривая: «Надо, сударь, надо... пропотеть надо... хорошенько пропотеть надо...» Вид у незнакомца, надо сказать, был ужасный. Лицо было синее, кончик острого носа — белый, как снег, один глаз был болезненно сощурен, а другой и вовсе закрыт. Но несколько вопросов я должен был ему задать. В любом случае.

— Вы один? — спросил я.

Он молча смотрел на меня сощуренным глазом.

— Кто-нибудь еще остался в машине? — спросил я раздельно. — Или вы ехали один?

Незнамец приоткрыл рот, подышал и снова закрыл рот.

— Слаб, — сказал хозяин. — У него все тело, как тряпка.

— Черт возьми, — пробормотал я. — А ведь придется сейчас кому-нибудь ехать к Бутылочному Горлышку.

— Да, — согласился хозяин. — Вдруг там еще кто-нибудь остался... Я думаю, они попали под обвал.

— Придется вам поехать, — сказал я решительно, и в этот момент незнамец заговорил.

— Олаф, — сказал он без выражения. — Олаф Андварафорс... Позовите.

Я испытал очередной шок.

— Ага, — сказал хозяин и поставил кружку с питьем на стол. — Сейчас позову.

— Олаф... — повторил незнакомец.

Хозяин вышел, и я сел на его место. Я чувствовал себя идиотом. В то же время у меня немного отлегло от сердца: мрачная при всем ее изяществе схема, которую я построил, развалилась сама собой.

— Вы были один? — спросил я снова.

— Один... — простонал незнакомец. — Авария... Позовите Олафа... Где Олаф Андварафорс?

— Здесь, здесь, — сказал я. — Сейчас придет.

Он закрыл глаза и затих. Я откинулся на спинку стула. Ну, ладно. А куда все-таки девался Хинкус? И как там хозяйский сейф? В голове у меня была каша.

Вернулся хозяин, брови у него были высоко задранны, губы поджаты. Он наклонился к моему уху и прошептал:

— Странное дело, Петер. Олаф не отзывается. Дверь заперта, оттуда несет холодом. И мои запасные ключи куда-то пропали...

Я молча извлек из кармана связку, которую стащил у него в конторе, и протянул ему.

— Ага, — сказал хозяин. Он взял ключи. — Ну, все равно. Вы знаете, Петер, пойдете-ка вместе. Что-то мне все это не нравится.

— Олаф... — простонал незнакомец. — Где Олаф?

— Сейчас, сейчас, — сказал я ему. Я чувствовал, что у меня начала подергиваться щека. Мы с хозяином вышли в коридор. — Вот что, Алек, — сказал я. — Позовите сюда Кайсу. Пусть сидит возле этого парня и не трогается с места, пока мы не вернемся.

— Ага, — произнес хозяин, играя бровями. — Вот, значит, как дела обстоят... То-то я смотрю...

Он трусцой побежал на свою половину, а я медленно направился к лестнице. Я уже поднялся на несколько ступенек, когда хозяин позади строго произнес:

— Иди сюда, Лель. Сиди здесь... Сидеть. Никого не впускать. Никого не выпускать.

Хозяин нагнал меня уже в коридоре второго этажа, и мы вместе подошли к номеру Олафа. Я постучал и, не ожидая ответа, отобрал у хозяина связку ключей.

— Который? — спросил я.

Хозяин показал. Я сунул ключ в замочную скважину. Черта с два — дверь была заперта изнутри, и в скважине уже был один ключ. Пока я возился, выталкивая его, отворилась дверь соседнего номера, и, затягивая пояс халата, в коридор вышел дю Барнстокр, заспанный, но благодушный.

— Что происходит, господа? — осведомился он. — Почему постояльцам не дают спать?

— Тысяча извинений, господин дю Барнстокр, — сказал хозяин, — но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий.

— Ах, вот как? — произнес дю Барнстокр с интересом. — Надеюсь, я не помешаю?

Я расчистил путь для своего ключа и выпрямился. Из-под двери несло зимним холодом, и я был совершенно уверен, что комната окажется пуста, как и номер Хинкуса. Я повернул ключ и распахнул дверь. Волна морозного воздуха окатила меня, но я почти не чувствовал этого. Номер не был пуст. На полу лежал человек. Света из коридора было недостаточно, чтобы узнать его. Я видел только огромные подошвы на пороге прихожей. Я шагнул в прихожую и зажег свет.

На полу лежал Олаф Андварафорс. Он был явно и безнадежно мертв.

(Продолжение следует.)



ВРЕМЯ, ПАМЯТЬ, ПОЭЗИЯ

1

Война, о которой живы воспоминания ее участников, следы которой еще угадываемы в сердцах людей, стала уже историей. Мы можем судить о ней по учебнику, по воспоминаниям, по запискам, по дневникам, по романам, и она предстает перед нами, как одна из самых тяжелых и героических страниц нашего прошлого.

Одно из важных свидетельств об этой войне — наравне с воспоминаниями маршалов и дневниками солдат — стихи.

Перебирая наши даты,
Я обращаюсь к тем ребятам.
Что в сорок первом шли в солдаты
И в гуманисты в сорок пятом.

Я вспоминаю Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.
Я сам теперь от них завишу,
Того порою не желая

Д. Самойлов.

Наша зависимость от истории поразительна. Я привел стихи поэта, принадлежащего к «военному поколению», но вот строчки из другого поэта, Леонида Агеева. Война пронеслась не над юностью, а над детством, но все равно:

...По малолетству, на войне
не довелось мне обжигаться,
в военных госпиталях мне
не приходилось обжигаться.
Но кажется, с каких-то пор,
что был и я побит войною,
что были руки медсестер
знакомы и со мною.

Входит сейчас в жизнь поколение, которое родилось после войны. Им столько же лет, сколько было перед войной Кульчицкому, или Когану, или Вино-

курову; они — ровесники через тридцать лет. Я не стану сейчас писать о той сложной зависимости друг от друга, которая связывает два эти поколения. Они живут рядом, вместе работают, у каждого свои взгляды, свои представления, своя жизнь, но они связаны той сложной дорогой отечественной истории, по которой они идут. И свидетельства одного поколения важны для другого прежде всего тем, что опыт истории оно узнает не только из учебника, но и из личной практики жизни, ставшей стихами.

Речь пойдет об одном поколении, отличие которого — война, и узнало оно ее в двадцатилетнем возрасте:

И кружит лист последний
У детства на краю,
И я, двадцатилетний,
Под пулями стою.

Это стихи Александра Межирова, но схожие признания легко найти у Сергея Орлова и Булата Окуджавы, у Евгения Винокурова, Сергея Наровчатова, Михаила Львова. Разница разве что в возрасте небольшая: два-три года; одному было семнадцать, когда началась война, другому — двадцать, третьему — двадцать два. «Наше поколение... писало свою биографию в походах, но биография этого поколения и была биографией времени», — отмечал Михаил Луконин.

С восемнадцати лет нас земля хоронить захотела,
С восемнадцати лет нас шрапнельный глушил
перекат,
Но над черным бруствером вздымалось костлявое
тело.
Изморженное тело... И лопались петли блокад.

Интересно, что в лирических стихах поэтов, юность которых пришлось на войну, наряду с местоимением «я» часто врещается и звучит подчеркнутое местоимение «мы». Это чувство сродненности

и единства со своим поколением характерно: и Гудзенко, и Межиров, и Слуцкий говорят в своих стихах не только от своего имени, но и от имени всего поколения, потому что у них общая судьба:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
На могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Многие стихи о войне написаны после войны; учитывая это, обратим внимание еще на одну важную деталь: живые говорили от имени мертвых, и судьба павших неотделима от судьбы живых. В одном из стихотворений, посвященных памяти Михаила Кульчицкого, Борис Слуцкий писал:

Давайте после драки
Помашем кулаками:
Не только пиво-раки
Мы ели и лакали.
Нет, назначались сроки,
Готовились бои.
Готовились в пророки
Товарищи мои.
Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.
За наши судьбы (личные),
За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,
Что мы искали ощупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
Во здравие живых!

Живые от мертвых неотделимы; в том же поколении, что и Слуцкий, Друнина, Дудин, Ваншенкин, Соболев, павшие — Павел Коган, Николай Отрада, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Георгий Суворов, Всеволод Багрицкий... И тот и другой список легко продолжить. Живые говорят от имени павших — то, что те сказать не успели; и не только от имени павших поэтов, но и от имени солдат, не вернувшихся с войны. В стихотворении «За Советскую власть» Сергей Наровчатов писал:

Мальчишки мужали, мальчишки выросли,
И только бы жить начинать сорванцам,
Как их завертели такие метели,
Какие, пожалуй, не снились отцам.
И кто в сорок первом, а кто в сорок пятом,
Всю душу вложив в неделимую страсть,
Сложил свою голову честным солдатом
За Советскую власть!

Это — поколение, на плечи которого выпало самое тяжкое, самое страшное, самое трагическое. И стихи рассказывают о войне суровую, жестокую правду — достаточно вспомнить «Перед атакой» Семена Гудзенко, «Кельнская яма» Бориса Слуцкого, «Мы под Колпином скопом стоим...» Александра Межирова. Но будто бы еще не все сказано, и хотя, казалось бы, «Были битвы и бинты, были мы с войной на «ты», всякие видали виды, — я прошел по той войне, и она прошла по мне, так что мы с войною квиты», но это — обманчивое впечатление, и тот же Межиров признается, что живет «изнемогая, не в силах разорвать с войной».

Для поэзии война, как и для всех нас сейчас, стала прошлым — памятью, а не сегодняшним днем, историей, а не современностью; прошлым — личным и всенародным. Стихи поэтов, о которых идет речь, не только о войне, но военная история для их поэзии — и ее начало, и вдохновение, и та тема, которую нельзя исчерпать ни стихами, ни жизнью.

У каждого поэта есть провинция. Она ему ошибки и грехи, все мелкие обиды и провинности прощает за правдивые стихи. И у меня есть тоже неизменная, на карту не внесенная, одна, суровая моя и откровенная, далекая провинция — Война.

Семен Гудзенко.

Когда были написаны эти строки, «провинция» эта на карту советской поэзии была уже нанесена, в том числе и одним из первых — самим Гудзенко.

Стихи о войне многих ровесников Гудзенко написаны после войны — спустя год, спустя десять, а иногда и двадцать пять лет; их стихи — воспоминания, и они так их и называют: Слуцкий — «Память», Межиров — «Воспоминание о пехоте» и т. д. Стихи Гудзенко сопричастны военной теме словно бы дважды: и тем, что они о войне, и тем, что написаны во время войны. Стихи Гудзенко похожи на записи в дневнике — краткостью, скорописью, прерывистым дыханием, паузами и многоточием. Но главное в них та доверительная интонация, с которой поэт обращается к читателю; скорее даже не дневнику, а личному письму могут быть уподоблены стихи Гудзенко, письму, отправленному без адреса, без уверенности, что оно дойдет, адресованное всем и каждому.

В этом, может быть, главная причина того успеха, который выпал на долю стихов Гудзенко. Он пришел на войну девятнадцатилетним юношей и поэтом стал на войне; у него не было своего читателя, и потому он обращался не к читателю, а словно вел дневник или писал письмо с фронта; не было у него и готовой, уже установленной поэтической системы; его стихотворный метод формировался прямо на войне, и отбор поэтических ценностей, стихотворного словаря, выбор интонации больше были связаны с фронтовыми буднями, чем с литературными канонами:

Но если снова воевать...
Таков уже закон:
пускай меня пошлют опять
в стрелковый батальон.
Быть под началом у старшин
хотя бы треть пути,
потом могу я с тех вершин
в поэзию сойти.

Сам себе Гудзенко казался романтиком, но стихи его о войне — наперекор ему — антиромантические. В «Лирической хронике» он почти приказывает себе: «О романтике позабудь!» Довоенные, детские представления о жизни разрушены: тогда казалось, что поколение, родившееся после революции, опоздало; мальчишки грезил тачанками, буденовками, проносящимися над миром красными всадниками. Гражданская война была для поколения Гудзенко романтической легендой. Но оно не опоздало родиться, и суровая действительность Отечественной войны во многом изменила романтические представления этого поколения о жизни. Война стала для сверстников Гудзенко не только прощанием с детством, но и разрывом с ним; об этом можно судить по дневникам Инны Константиновой, Нины Костериной, Всеволода Багрицкого. Гудзенко пишет о том, как в 1942 году он попал ненадолго в Москву:

Случайно в палисаднике на Бронной
увидел пятнышко травы, и мне
его руками захотелось тронуть,
как мальчику винтовку на стене.

У Гудзенко мало программных стихов, в которых он бы заявлял о своем поэтическом кредо. Он пишет

о солдатах, которые о боях рассказывают «коротко, по-армейски, без прикрас». Его стихи — это заметки на ходу, и поэзия прорастает в них внезапно, как трава сквозь еще замерзшую землю. Поэтому главное в его поэзии не сюжеты, а прерывистое дыхание стиха, в котором и боль, и мужество, и любовь. Знаменитая его «Баллада о дружбе» остро сюжетна: «Кому из нас двоих остаться на войне в живых?» Но смысл стиха осуществлен не только в его сюжетной канве, а еще в его ритме, синтаксисе, в резко меняющейся интонации, когда герой припимает решение пожертвовать своей жизнью ради друга:

Мне дьявольски хотелось жить,
пусть даже врозь, пусть не дружить.
Ну, хорошо, пусть мне идти,
пусть он останется в живых.

Предельная напряженность фронтового быта и душевной жизни солдата настолько вошли в привычку, что многие фронтовики в мирной, послевоенной жизни словно бы растерялись. Илья Эренбург в связи с Гудзенко пишет о «ностальгии фронтовика», явлении тогда распространенном. В 1946 году Гудзенко написал стихотворение, в котором есть такие строки:

Так почему же он молчит?
Четвертый час молчит.
То пальцем по столу стучит,
то саногом стучит.
А у него желание есть.
Оно понятно вам?
Он хочет знать, что было здесь,
когда мы были там...

В стихах Семена Гудзенко возникла была органическая связь войны с миром, но ей не суждено было продолжиться в его творчестве. Он признается почти с огорчением: «И я теперь живу не так, не так, как жил вначале: от злого выдоха атак до вдоха на привале». В его послевоенных стихах — глубокая тоска; не только свою поэзию, но и свою жизнь ему трудно было перевести с военного «регистра» на мирный: «Я вернулся. Думал — перемелется. Все как прежде будет. Обживем! Почему же ночью мне не дремлет? Комната горбится блиндажем?»

Гудзенко пытается придать послевоенной современности высокие законы военного общежития: «Наша жизнь — всегда перед атакою», «Но победители без дела, без подвига не могут жить». В его стихах, как, впрочем, и у других поэтов, чей художественный почерк сформировался во время войны, часто встречается перенесение военной терминологии в стихи о природе, о любви, о мире; он пишет о батальонах тополей, выстроенных по ранжиру; врачей в белых халатах сравнивает с десантниками, голубой месяц — с ракетой, а веселый след метеора — со следом пули... И не только военную терминологию, но и военные представления о мужестве, о дружбе, о жизни переносил Гудзенко на мирный быт, и стихи его порой звучали на слишком высокой ноте, риторика в них перевешивала поэзию, пафос казался искусственным. По-видимому, сказался здесь не только кризис поэтической системы, но и душевный кризис. Изменилась жизнь, а Гудзенко остался прежним, и если его военные стихи написаны солдатом, то мирные — журналистом, писателем, и между теми и другими — разрыв. В последних стихах, продиктованных Семеном Гудзенко в больнице, куда его положили с последствиями военной контузии, он словно бы снова набрал поэтическую высоту: «До чего мне жить теперь охота, будто вновь с войны вернулся я!»

Он пережил своих сверстников, погибших в Великой Отечественной войне. Умер он так, как и предсказывал в одном из своих стихотворений:

Мы не от старости умрем —
от старых ран умрем!
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!

3

Воспоминанье дннгалось, внясь,
Во тьме крошечной и при свете
белом
Между Войной и Миром — грубо,
в целом,
Духовную налаживая связь.

Александр Межиров.

Судьба Семена Гудзенко — одинокая, даже в своем поколении он между теми, кто не вернулся с войны, и теми, кто остался жить. Александр Межиров посвятил его памяти стихотворение: «Полумужчины, полудети, на фронт ушедшие из школ... Да мы и не жили на свете, — наш возраст в силу не вошел. Лишь первую о жизни фразу успели занести в тетрадь, — с войны вернулись мы и сразу заторопились умирать».

Александр Межиров ушел на войну семнадцатилетним — прямо из школы. Он увидел вмерзший в лед блокированный Ленинград, окопы на Пулковских высотах, рубежи под Синявином, в болотах, где нельзя рыть землянки, потому что под снегом незамерзающая вода; это был его участок, его полметра беды и счастья:

Пули, которые посланы мной, не возвращаются
из полета,
Очереди пулемета режут под корень траву.
Я сплю, положив голову на Синявинские болота,
А ноги мои упираются в Ладогу и в Неву.

Это суровая лирика, напряженная, мужественная. И в том же стихотворении, локальном и конкретном по месту действия, неожиданно возникает планетарное, историческое чувство:

А когда я встаю и делаю шаг в атаку,
Ветер боя летит и свистит у меня в ушах,
И пятится фронт, и катится гром к рейхстагу,
Когда я делаю свой второй шаг.

Александр Межиров чувствует «единую основу и одну природу явлений» — мира и войны. Поэтому «исторический шаг» солдата продолжен для него и в современность: «Прошли года свершений и отмишенья, и мчится, всем задержкам вопреки, планета, получившая вращенье от той бессмертной снайперской руки».

С войной связано у Межирова и чувство личной ответственности за «набухшую, теплую и сырую», доверенную ему землю.

Как и у Гудзенко, у Межирова — ностальгия фронтовика. Он пишет о двух своих книгах — «Дорога далека» и «Ветровое стекло»: «Две книги выстраданы мною. Одна — физически. Другая — тем, что живу, изнемогая, не в силах разорвать с войной». Слово бы связь войны и мира, о которой знает Межиров, еще не реализовалась ни в его душе, ни в его стихе. Программные его заявления остаются обещаниями: «Наступаю, отхожу и рушу все, что было сделано не так. Переформирую душу для грядущих маршей и атак».

Но все чаще в последних стихах тревожит поэта связь войны и мира, он как бы вновь перелистывает свои воспоминания. Он пишет о Ван-Гоге, который «искусство с жизнью, на пределе сил, как двух миров разрозненные звенья, в единое звено объединил», а в автобиографии прямо заявляет: «В первые послевоенные годы стихи мои выражали войну как нечто обособленное от жизни. Но позже стал думать о том, что явления войны как бы повторяются и в мирной жизни».

Наверно, все же не так буквально: мирная жизнь не дублирует военные будни, а связана с ними сложно. «Духовную налаживая связь» — вот та трудная задача, которую Межиров перед собой ставит. Сознание этой связи пришло к нему поздно, и его результаты — в будущем.

4

Сгорели в танках мои товарищи —
до пепла, до золы, дотла.
Трава, полмира покрывающая,
из них, конечно, произросла.
Про них рассказывают в праздники,
показывают их в кино,
и однокурсники и однокурсники
стихами стали уже давно.

Борис Слуцкий.

В одном из стихотворений, говоря о войне, Межиров пообещал: «Году в семидесятом об этом напишу». Спустя десять лет после окончания войны в поэзию пришли Борис Слуцкий и Булат Окуджава, для которых война тоже была боевым крещением и трудным экзаменом, а стала далекой и близкой «провинцией». Это словно бы «второй призыв» в поэзию одного и того же поколения, и именно этому «второму призыву» удалось найти ту связь войны и мира, о которой мечтал Гудзенко и думает Межиров.

Борис Слуцкий почти никогда не ставит под своими стихами дат: то ли потому, что год для него слишком мелкая мера времени, которое он мыслит более монументальными, эпическими и законченными кусками — четыре года войны, послевоенные годы, пятидесятые с их почти космическими сдвигами в нашем сознании и в нашей общности, то ли потому, что для него важнее время, которому он посвящает стих, чем то, когда он написан. Пастернак в «Высокой болезни» ссылается на Гегеля, который «однажды... ненароком и, вероятно, наугад назвал историка пророком, предсказывающим назад». А уж мы-то тем более знаем, что для того, чтобы заглянуть в прошлое, нужен не меньший талант, чем для того, чтобы угадать будущее. Впрочем, наверное, это связано — наши воспоминания и наши надежды. И еще труднее заметить в быстро или медленно текущих днях нашей жизни тавро века, дыхание истории. История — это не обязательно прошлое столетней или тысячелетней давности. Наша жизнь — это история, требующая исследовательского к себе внимания.

Л. Лазарев, автор умного предисловия к «Памяти», фактически «избранному» Бориса Слуцкого, пишет, что созревание его таланта было связано с отталкиванием от гладкописи, благостной казенщины, бодряческого равнодушия. Это справедливо, но только отчасти, и требует дополнений.

Стихи возникают в полемике, в споре, в борьбе. Спор этот не только о жизни, но и о стихах. Спор этот даже главным образом о том, как стихи соотношены с жизнью и с временем. Спорят не только хорошие поэты с плохими и плохие с хорошими. Как раз такой спор, как правило, менее результативен. Можно говорить скорее о борьбе поэтических систем, поэтических методов. Но и плохие стихи составляют своеобразную поэтическую систему — со своей платформой, со своим кредо, со своим стилем. Здесь мне не хочется останавливаться на плохих стихах двадцатилетней давности. Но, по-видимому, с ними отчасти связана полемическая заостренность программы, с которой вошел в поэзию Борис Слуцкий. Отталкиваясь от таких стихов, Борис Слуцкий спорил с философией, за ними стоящей, — эта философия воспринималась им серьезно, так как обладала более убедительными доказательствами, чем стихи, возникающие на ее фундаменте.

Идеалистическому толкованию действительности Борис Слуцкий противопоставлял саму действительность. Поэтому трагизм в его военной лирике иной, чем в плохих стихах о войне, но и иной, чем в хороших стихах о ней — у «фронтных» поэтов: у Гудзенко, у Дудина, у Межирова, у Орлова и у других. Борис Слуцкий говорит о трагическом в будничном — через будничное и будничными словами.

В первых его сборниках мало поэтических деклараций и программных стихов: необходимость в них появилась позднее, когда поэтический метод стал инерцией стиля, перестав быть стихом; когда действительность вышла из-под власти поэзии и на смену прежней сосредоточенности быта и будней в строгой системе поэтического мышления пришла несфокусированность, нечеткость, смазанность картины. Прибор поэзии, отлично бравший на дальнее расстояние, часто отказывал, когда был направлен на ближние предметы. Казалось бы, все оставалось по-прежнему: и интерес к будничным проявлениям народной жизни, и канцеляриты, и разговорные, жаргонные интонации и пр., но главное порою уходит — историчность взгляда. Ретроспективная дальноркость Слуцкого была одновременно достоинством и недостатком его поэзии.

Историзм военной лирики Бориса Слуцкого — в сознании судьбы, выпавшей на долю поколения:

Девятнадцатый год рождения —
Двадцать два в сорок первом году —
Принимаю без возраженья.
Как плану и как звезду.

И свои воспоминания о минувшем Слуцкий собирает, предъявляет как справку, «затем, чтоб в новой должности — поэта, от имени России говорить». Для Слуцкого поэзия — такая же служба, как и военная. Быть поэтом — необходимость, диктуемая временем; вот почему не быть поэтом ему нельзя. Когда кончилась война, всем нашлось неотложнейшее дело, даже погибшим: «Солдаты сыскали мой прах по весне, сказали, что снова я Родине нужен... Стою над землей, как пример и маяк. И в этом посмертная служба моя».

Осуществляя поэтическую реформу, Борис Слуцкий дает к своим стихам подзаголовки: «очерк», «статья», «воспоминания». Слуцкий уже не только смещает центр поэзии, заимствует для нее средства из арсенала прозы, он порою просто пишет прозу, не имеющую никакого отношения к поэзии. Бытие тогда перестает проявляться в быте; остаются быт, голые факты, прозаические рассуждения. Утеря исторического взгляда не только от отсутствия временной дистанции. Многие объясняется проще: если прежде Слуцкий рассматривал будничное изнутри, выявляя его психологическую глубину и историческую квинт-эссенцию, то теперь его взгляд часто извне. Связь столь тесная и кровная в войну, связь с течением народной жизни, теперь более сложна и требует, по-видимому, иных, новых усилий.

Здесь мы сталкиваемся с одним законом литературной жизни, без понимания которого мы не поймем поэтический путь Бориса Слуцкого. То, что пятнадцать лет назад казалось непривычным, спорным, а то и просто неприемлемым — я помню как школьный преподаватель физики в письме в редакцию «Литературной газеты» сравнивал стихи Слуцкого с очень плохим переводом с иностранного языка, — сейчас выглядит привычным, знакомым, естественным. Это может радовать, но может и огорчать, ибо вместе с годами, когда эти стихи были созданы, вместе с эпохой, которой они были посвящены, эти

стихи ушли в прошлое и стали историей. Аномальное вчера мы сегодня воспринимаем за норму, новаторство становится традицией, а нарушения и сдвиги поэтической системы могут уже войти в учебник литературы. Эксперимент и открытие, утвержденные в сознании читателя самим поэтом и его последователями, становятся эстетической нормой. Движение превращается в инерцию и грозит остановкой.

Задача поэзии Слуцкого, как он сам ее понимает, чрезвычайная: «Словами своего народа великое и новое назвать». Поэтому не только ее высокие взлеты, но и просчеты теснейшим образом связаны с временем, переплетены с ним, а еще точнее — им предопределены.

5

В года разлук, в года сражений,
когда свинцовые дожди
лупили так по нашим спинам,
что снисхождения не жди,
и командиры все охрипли...
он брал команду над людьми,
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

Булат Окуджава.

У Н. Коржавина есть стихотворение о мужестве, о необходимости молчания, пока где-то у поэта бродит неосознанный мотив. В какой-то мере это личное признание, «правило для себя», можно отнести и к современной поэзии, которая умна, сдержанна, порою даже рациональна. А вот Булат Окуджава словно выпадает из этих повсеместных, общих для поэзии признаков, и одно из своих стихотворений даже называет «О главной песенке» и в нем признается:

Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю —
она шевельнулась во мне.
Она еще очень неспетая,
она зелена, как трава,
но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.

Для Булата Окуджавы главное как раз то, что еще не осознано, — движение, порыв, намек. Он не тратит усилий, чтобы оформить чувство в мысль, в афоризм, ему важнее признаться в чувстве читателю и слушателю, и чувство, минуя разум, затронет чужое сердце, возникнет ответное чувство.

Булат Окуджава снижает смысл высоких слов и возвышает значение обыденных понятий — Арбат для него Отечество. Слово прежнее, но его эмоциональная насыщенность, его семантика новые:

От любви твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых люблю.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое отечество,
никогда до конца не пройди тебя!

Современный человек в стихах Окуджавы действует и в прошлом и в настоящем, а настоящее — мгновение, час, день, год — это часть его вечных переживаний: «Целый век играет музыка. Затянулся наш пикник. Тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают...» «И нет поединкам конца, а только — начала, начала...», «И в смене праздников и буден, в нестройном шествии веков смеются люди, плачут люди...», «Не 30 лет, а 300 лет, иду, представьте вы, по этим древним площадям, по голубым торцам...», «Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна».

Черты вечности Окуджава придает не современности (даже, напротив: «Двадцатый век, ты странный человек! Я над тобою голову ломаю... Я понимаю, век, что ты как снег, но что как вечность ты — не понимаю...»); скорее — вечной жизнью он наделяет современные чувства человека: его боль, его душевную неустроенность и его отчаянную борьбу: «Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры... А где ж этот ясный огонь, почему не горит? Сто лет подпираю я небо ночное плечом...»

Так в поэзии Булата Окуджавы появляется главный герой — трубач, горнист, барабанщик; человек, который осознал в себе свое время и свое призвание:

Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач...

Булат Окуджава настойчиво и определенно разворачивает свою ассоциацию. И свои сказочные образы, философскую и практическую нужду в их появлении Булат Окуджава обосновывает своим личным военным опытом:

Ах, война, что ты сделала, подлая, —
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли —
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли — за солдатом солдат...
До свидания, мальчики!
Мальчики, постарайтесь вернуться назад...

Есть высшее воинское отличие павшим — навечно записывать их в полк, где они служили, и при переключке говорить: «...Погиб смертью храбрых». Живые навечно вписали души павших в свою судьбу; это общая черта военной лирики «второго призыва».

Булат Окуджава пишет песенку о Ленке Королеве, которого королем звали недаром, не из-за одного фонетического совпадения. Это был действительно самый настоящий, обыкновенный король:

Был король, как король, всемогущ. И если другу
станет худо и вообще не повезет,
он протянет ему свою царственную руку,
свою верную руку и спасет.

Что произошло дальше, известно: не только из песни, но и по жизни. Ленка Королев — Король, самый лучший из всех арбатских ребят, — погиб. Дело не в количестве, как бы поясняет свою мысль Окуджава, а в качестве; приход с расходом не сошлись потому, что гибли лучшие, ибо их первенство — в их доброте, мужестве и сознательной жертвенности. И в сердце остаются навсегда незаполняемые пустоты — место тех, погибших, никто не займет:

По куда бы я ни шел, пусть какая ни забота
(по делам или так, погулять),
все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.
Потому что на войне, хоть и правда стреляют,
не для Ленки сырая земля...

Но не только в Ленке, а еще и в нас дело; и это — главное:

Потому что (виноват), но я Москвы не представляю
без такого, как он, короля.

Булат Окуджава обращается к человеческим чувствам, и, пожалуй, это и определило жизнеспособность его поэтической системы и его военного опыта; доказательство тому — популярность его стихов и песен.

г. Ленинград.



Инна
Канежева

Думая о Вьетнаме

Никак не могут зарости травой
Следы от вглубь ушедшего металла.
Послушайте! Земля давно устала
От не стихающих веками войн.

Я не сумею, к своему стыду,
Восстановив тысячелетий звенья,
Узнать, кто первый выпустил стрелу
В собрата-человека, а не в зверя!

Какие же найти иные меры,
Чтобы измерить наш особый век!
В двадцатом веке, как до новой эры,
От человека гибнет человек.

Стрела летит... Земле-то каково!
Стрела летит... Но человек, трезвея,
Не в человека целится, а в зверя,
Который первым выстрелил в него.

Я человек, но, к своему стыду,
Колумба войн не знаю и не помню,
И не хочу вместо земли —

жаровню
Передавать потомку своему!

Пусть каждый, кто о будущем мечтал,
Ту, первую, стрелу не забывает,
Покуда в землю падает металл
И вновь трава расти не успевает...

Осень

Как свежий хлеб, земля поката,
Она рассыпчата на вкус.
Ах осень — добрая пекарня,
О чем грущу, о чем пекусь!

Все о ненайденном, о ценном...
Травинка малая и та
Высоким смыслом налита,—
Ей сладко стать пахучим сеном,
Кого-то зиму всю питать
И быть кому-то мягким ложем...
А мне опять себя пытаться!
Что мы смогли и что мы сможем!
Чего мы так упрямо ждем,
Вдыхая ароматы летние!
Кто мы? Нахлебники,
Наследники
При добром пекаре своем!
Сначала конь по полю пегий,
И следом пахарь, следом жнец...
Потом уж пекарь, добрый пекарь,
Потом и хлеб — всему венец.
Потом... А мы хотим сначала!
Потом... А мы коня кнутом!
Пегас наш ранний измочален
На восхождении крутом.
Пегас, Пегас, конек наш пегий,
О как луга его пестры!
Ах осень, осень! Добрый пекарь.
За все меня ты распеки!
Так распеки, чтобы померкли
Все лавры, как мираж вдали,
Чтоб чувство вкуса,
чувство меры
От хлеба шли и от земли!

Друзьям

Со мной одной дорогою идут
мои друзья, не боги, не апостолы,
среди которых так и не опознаны
сокрытые приверженцы иуд.
Здесь нечего отгадывать, боясь,
кто среди них потенциальный Каин.
Сердца их — не за пазухою камень,
а драгоценный, из моих богатств.
Друзья мои! За вас не опасаясь,
Я не хочу ни гимнов, ни молитв.
О боже, сколько о друзьях писалось!
Так что же написать мне о моих!
Два полюса, два... Дружба и вражда.
Мои друзья! Вам не всегда понятно,
зачем вдруг на щеках такие пятна!
Поэзия для вас, что ворожба.
В такие дни меня снедает злость,
я холодею, как для поединка...
Но говорят друзья: «Послушай, Инка!»
И чувствую я: нет, не удалось.
Не оттого ль тоскую на пиру,
когда мои друзья в вечерних сменах!
Побольше бы таких упреков смелых,
таких уроков моему перу!
Люблю, когда друзья мои со мной,
пропахшие горячкою бетона
и добрым теплым запахом батона,
и — самой чуть — дремучестью лесной.
По делу всем начальникам дерзя,
проводят в жизнь волшебные проекты,
и оттого они — вдвойне поэты,
и оттого они — мои друзья.
Мы все всегда эпитетом клеймим,
мне надо бы о них сказать «простые»...
Но мне вовек такого не простили б
мои стихи, написанные им.



Виктор Панов

ДЕВЯТЫЙ ВАРИАНТ

Всего день проработал Виктор в степи на стройке канала Иртыш — Караганда, мозолей на ладонях не натер, а вечером уже был угрюм, считал себя пасынком судьбы, потому что с утра преследовали его неудачи. Началось с постели — не сумел заправить: в армии не служил, а дома бабушка приводила ее в порядок. Стряхнул пыльную рубашку под самым носом у соседа, и тот немедленно выругался под общий смех живущих в комнате. Из столовой не успел бы к автобусу, если бы тот не опоздал. В машине досталось заднее сиденье, самое тряское, но и с него вскоре пришлось подняться: мешал играющим в карты.

— Постоишь! Какие твои годы еще...

На работе ничегошеньки не мог. Лопату не умел как следует взять.

Людей в бригаде маловато, и на второй день Виктора поставили уплотнять вибратором бетон. Учили. Приноравливался. Устал раньше всех.

— Руки в локтях не гнутся, что ли? — сердито спросил его носатый помощник бригадира дядя Степа.

— А что, собственно? — Виктор постеснялся признаться в усталости.

— А ничего, собственно. Проехали. Догоняй. Свести нет у людей, — и ушел, а сосед сказал Виктору:

— Мы через минуту переставляем вибратор на смежный участок, а ты опаздываешь. Пузырьки помощник заметил в смеси, значит, уплотнял ты плохо.

Под вечер дядя Степан громко назвал Виктора лоботрясом. Парень смолчал, но именно с этого момента уже окончательно настроился уйти из бригады и уехать куда-нибудь, за Ташкент бы, что ли, к вечному теплу.

Дядя Степан любил посидеть в дежурке, у костра, послушать всякие байки, но в то же время и успевал заметить, кто и как работает; он и сам горячо брался за дело, хотя по должности ему полагалось присматривать за бригадой, следить за подвозкой бетона и арматуры, за укладкой. Любил он хорошо поужинать, и не в столовке, а в общежитии — на плите приготовить мясо, имея под рукой угодливых помощников. Посидеть за столом вдвоем, втроем. Шея его после выпивки сразу краснела, степенство и достоинство умножались. Вспоминал Бух-

тарминскую гидростанцию, Братск. «Довелось мне бетонировать Асуанскую плотину под арабским солнышком, — говорил он, — металл нагревается до восьмидесяти градусов, попробуй голыми хвататься... А ветер жаркий, как из печки... Но бетон тепло любит...» Трезвый дядя Степан сердился на тех, кто курил в комнате общежития, но «под градусом», с приятелями, за разговором сам беспрестанно закуривал, и седоватая голова его как бы ныряла в клубы табачного дыма. Дело заканчивалось тем, что дядя Степа просил перед сном отнести его валенки в сушилку: «Попутно, милоч, не в службу, а в дружбу...»

— Орлы, на ваптах! — гремел он рано утром. — Ты, прихвати из сушилки мои сапоги, да не перепутай портянки с чужими, а ты — чайник на плитку! Философ! — громко обращался он к Виктору. — Шею замотай!

— Я не философ, дядя Степа...

— Было дело, слышали все... — И однажды добавил: — Героический труд назвал принудительным. Да еще про хомут сказал.

— Неправильно поняли, — оправдывался Виктор. — На конвейере труд я назвал принудительным, он именуется так в науке.

— Чужая нам наука. Меньше рассуждай. За пять минут, по-солдатски, товарищ мыслитель. Можешь. Не притворяйся.

Виктор не уехал с трассы и через педелю и через две; бабушка в ответ на его телеграммы присылала письмо за письмом: привыкай, будь мужчиной. «До невозможности заносится старуха, — думал Виктор, перечитывая письма, — хоть кол на голове теши...» Тянуло в дорогу, стихи о бродягах вспоминались. Чуть не всю осень — дожди, мокрой глиной облеплены сапоги, брюки, на руках до локтей — глина, а завтра — бетон, липкий битум с дегтем — хоть на свете не живи!

Дважды дядя Степа рвал заявления Виктора. «Не будь бабой», — говорил он. В сильные холода Виктор обморозил пальцы на руке и завелся до предела: «Хватит, сходил в народ».

Автобус остановился у будущей насосной станции. Виктор чуть ли не последним вышел из него, однако раньше других занял место у костра в котловане — вытянул руки над пламенем.

Бетонщик Папсуев потеснил его:

— Сгоришь, граф...

— Сам не сгори.— Виктор поближе склонился к теплу.

Дядя Степа крикнул ему:

— Бакенбарды опалятся, господин! И очки лопнут. Со средним образованием, будущий инженер, а проработал всего три месяца и нюни распустил. Телеграммы бабушке: за что вы меня разлучили с роялем?!

Рабочие в охотку приняли розыгрыш.

А дядя Степа неожиданно смягчился.

— Не нурь голову, чернобровый страдалец, не пыли ресницы. Из мокрой глины осенью вылез, лютые крещенские пережил, а теперь одно осталось — в институт поступить...

— Дядя Степа, это самое трудное...

— С канала-то? Мой рабочий в институт не поступит? Пятеро из моих бетонщиков поступили...

Багровое солнце наконец-то приподнялось в морозное небо, ярче отметились стрелы кранов, экскаваторов, овальные вершушки дальних сопков.

— Растирай щеки! — крикнул дядя Степа Виктору. — Живо! А то белые пятна. Умойся снегом. Очки сбрось! Родятся на свет недотепы: то с пальцев кожа шелушится, то с морды облезет, а я отвечаю за каждого, как за маленького. Живо! Да и нос не бойся натирать, не сломается.

Виктор нехотя растирал по лицу жесткий снег, перемешанный с песком.

— Шибче, ваше величество! Вот-вот. — Дядя Степа откопал чистый снег. — Вернулась кровь на свое законное место! Смерть бы твоим девичьим щекам...

Виктор уплотнял, разглаживая, бетон, а другие вставляли в бетон электроды, чтобы прогреть застывшую массу. Снова — бадья в воздухе, тяжелый ручей, и снова пошел в ход вибратор.

С черной притрассовой дороги, недавно покрытой асфальтом и начисто подметенной ветром, свернули два «газика». Из переднего вышел начальник стройки Илья Наумович Зборовский, одетый в меховую куртку, в унты, похожий на заполярного летчика, за ним — главный проектировщик канала Евгений Алексеевич Смирнов.

Зборовский спросил, сколько сегодня подвезли бетона.

— Идет с перебоями, — ответил Виктор, — можно сказать, всю неделю мучаемся: час работы, два — простоя... Когда кончится эта волокита?

— Дадут, — ответил Зборовский, — цемента не было.

Дядя Степа докладывал главному проектировщику канала:

— В основном монтаж плит перекрытия на отметке четырнадцать семнадцать...

Евгений Алексеевич, пряча лицо в меховой воротник, обошел беспорядочно сваленную арматуру, вздыбленный моток проволоки и оглянулся на дядю Степу.

— А сумеем обеспечить проектную точность подгонки угловатостей затворов?

— Не первый раз, Евгений Алексеевич, — ответил дядя Степа. — Не больше трех миллиметров допуск плюс-минус... Ваше дело — спрашивать, наше — работать. Думки проектировщиков нам давно известны: дай качественную работу и не требуй лишнюю копейку...

— И вашу мечту знаем, — с улыбкой ответил Смирнов, — лишь бы сдать да подороже взять.

Беседа перекинулась на зиму. Не лучше ли в декабре, январе и феврале вовсе не бетонировать и не заниматься монтажом? Да и рыть канал, когда земля промерзла на полтора метра, — очень дорогое занятие.

— А что в декабре делать? — спросил Зборовский бетонщиков.

Последовали неопределенные советы, Виктор высунулся вперед:

— Американцы зимой не роют каналы, даже не роют траншей для газопроводов.

— Видишь ли, — Зборовский не скрывал иронии, — американцы с подобных строек осенью увольняют рабочих на все четыре стороны, безо всякого выходного пособия. Мы же поставили поселки вдоль трассы, школы, клубы, обучаем на курсах всем специальностям.

Зборовский заспешил к Евгению Алексеевичу. Тот, сопровождаемый дядей Степой, проверил уже все девять «бычков» в котловане и поднимался к четверем комплектам всасывающих труб.

— Слушай, — затормошил Виктор бетонщика Артамонова, — сказать бы начальству про автобус, про кислую кашу, кипятки, топят плохо... Махни? С тобой считаются.

— А то без нас не знают? — Артамонов усмехнулся.

Евгений Алексеевич Смирнов остановился около Виктора и спросил, о чем он задумался.

— О бесцельности жизни, — ответил Виктор.

— Ого! — Евгений Алексеевич повнимательней присмотрелся к Виктору, к его добротной шапке. — Давно вы здесь?

— Да уж четыре месяца, а вы вчера только из Москвы? — И подумал: «Гладенький, молодой еще».

— А я вчера только из Москвы, — ответил Евгений Алексеевич в тон Виктору, — а здесь двенадцать лет, с пятьдесят седьмого...

— Нормально, — сказал Виктор, удивленный до крайности. — То легковая, то самолет, снова легковая — самолет... Житуха!

— Девять с лишним — постоянно, а четыре — паезжаю.

— Нормально, — повторил Виктор и подумал: «Хочет порисоваться и удивить. Сейчас проповеди начнутся — второй дядя Степа».

— Первые пять лет — разведка в степи. Пешком. Необитаемые края. Черствый хлеб в сумке и банка консервов. Вязли в песке, терялись в сопках. За два дня человека не встретишь. Теперь что?! Столовые, кровать с матрацем, шоссе вдоль трассы.

Виктор с усмешкой заметил:

— Ясно. Самоотверженно преодолевали трудности...

Евгений Алексеевич обращался уже ко всем:

— Немало сил положили геологи, топографы, инженеры... Грунты трудные — морское дно когда-то... Мы строим канал по девятому варианту — по Шидертинскому.

— Неужели еще восемь было? — удивился Виктор.

— Где-то на пятом или шестом варианте задумал я бежать отсюда, — признался Евгений Алексеевич. — Очень молодой был тогда инженер и, откровенно сказать, временами не верил в то, что построят необыкновенный канал на пятьсот километров, да еще и в гору. Иртыш поднимается в Караганду? Шутка. Теперь все ясно, а тогда — одни варианты и предположения... Встал я как-то утром пораньше, и, как говорится, наострил лыжи, а был у нас рабочий-казах, он и спрашивает, куда это я? До того он удивился, что я тут же начал придумывать всякую всячину, чтобы выпутаться из дурацкого положения. А он разводил костер, говорит мне: путь для канала найдется, канал давно был в мечтах у казахов, в сказках вода шла из Иртыша в Караганду, так что где-то, мол, такой путь и есть, только зарос он полынью, кустарником или аллах чуть-чуть припрятал его под землей. Он веселый был, шутник, ему легко

жилося в степи, посмеивался там, где мы чуть не плакали. Любил молиться.

«Вольному воля», — вспоминал Виктор слова бабушки.

— Трассу найти трудно, — продолжал Евгений Алексеевич, — но еще труднее «пробить» тему. Идею канала. Ты рассказываешь начальству, а оно тебе мало верит, хотя вроде бы и соглашается. Почти немислимо было титул открывать.

— Титул? — Виктор появился перед глазами Евгения Алексеевича. — Какой титул?

— Речь идет о сметах капитального строительства. Титульные списки объектов... В этом деле большая заслуга инженеров Чемина и Семенова. Опытные гидростроители. Они в мечтах и расчетах через всю непроходимую степь подавали иртышскую воду в Караганду. Александр Николаевич и Семен Иванович — первые, которым Казахстан должен сказать спасибо за обоснованную идею поить Караганду из Иртыша.

— А правда, мы бетонируем последнюю станцию? — спросил Виктор.

— Даже этого не знаете? — удивился Евгений Алексеевич. — Новички?

Кто-то сказал, что не все здесь новички, но при-тих, чтобы вместе с другими послушать Евгения Алексеевича, который, кивнув на приподнятые над котлованом ребра, сказал:

— От Иртыша до этой точки мы прорыли канал длиной 412 километров и в то же время, при помощи двадцати двух насосных станций, он поднимется на 420 километров. Со ступеньки на ступеньку будет подаваться вода... — Ногой, обутой в валенок, он постучал о бетонную балку. — Здесь водораздел между Шидертой и Нурой. Сюда от Иртыша погоним, и, между прочим, на пути придется двести километров гнать реку Шидерты вспять...

Виктор спросил, сколько насосов потребуется, чтобы иртышской водой напоить Караганду вдоволь.

— Восемьдесят восемь, — ответил Евгений Алексеевич. — Если пустить их на полную мощность, то в сутки они смогут перекачать сто пятьдесят миллионов кубометров воды, конечно, вместе взятые, на канале длиной четыреста пятьдесят километров... Напоят! Насосы нам готовят в Свердловске — завод химического машиностроения...

— А где же этот водораздел? — спросил Виктор, подойдя поближе к Смирнову. — И признаков нет начала второй реки. Один мелкосопочник. Где эта вторая, Нура-то?

— Признаки есть как раз в этом мелкосопочнике, а мы километров через тридцать отсюда выйдем уже в русло Нуры. — Евгений Алексеевич отправился к Зборовскому, а Виктор повернулся к соседу, с такими же бакенбардами, какие носил он.

— А я и не знал этого. Интересно... Ты понял?

— Я-то давно понял в общих чертах, но тоже думаю смыться, — проворчал курносый Папсуев. — Это ты делаешь открытия перед расставанием с великой стройкой. Насосы вдруг заинтересовали. Проснулся...

Под вечер Зборовский и Евгений Алексеевич вновь приехали в бригаду. Дядя Степа, встречая их, развел руками: мало все-таки подвозили бетона! Мало, мало... Размякший от выпитых «ста граммов» не смог сдержать улыбку. Зборовский, хмурясь, отвернулся от него и заспешил к вагончику, но и дядя Степа, высоко поднимая ноги, последовал за ним, не переставая улыбаться.

Евгений Алексеевич побродил по монтажной площадке, постоял около стеклоблоков, начал было спускаться в котлован, да приостановился, потому что навстречу шли рабочие.

— Едва ли еще подвезут, — сказал ему Виктор, имея в виду бетон. — Зимний день короток. Идем в бытовку. — Виктор шагал по пятам Евгения Алексеевича.

В низеньком вагончике, в тесноте, Зборовский кого-то спрашивал по телефону:

— Что тебе кажется простым, как белый день? Вот когда зимой канал осилит подачу воды под толстой коркой льда да не случится наледей, которые корку эту могут увеличить метров до двух, когда насосные управятся со своими делами, как и летом... Понял? Тогда мы скажем, что все просто, как белый день. Легче там, где самотечные каналы, а у нас задача потруднее.

В вагончике было душно, и дядя Степа, уже без улыбки, чуть приоткрыв дверь, жестом попросил рабочего перестать курить.

Зборовский бранил кого-то по телефону за несвоевременную отгрузку бетона, затем — вероятно, с инженером — вежливо говорил о чертежах.

— Никакие там не нужны поддерживающие конструкции, были мы на месте с Евгением Алексеевичем. Что, авторский надзор? Авторский и останется авторским. А суглинки заменим песчаногравийным... Суглинки сильно промерзают...

Виктор достал из кармана измятую школьную тетрадку, в которой, таясь от рабочих, готовил большое письмо отцу, чтобы оправдать свое бегство с трассы, разглядел ее и решил вдруг записать имена инженеров и геологов, «пробивавших идею канала». Евгений Алексеевич охотно повторил свой рассказ о девяти вариантах и обратился к Зборовскому:

— Илья Наумович, неплохо бы по всем насосным — фотографии зачинателей дела, старых инженеров, рядом с передовиками...

— Совершенно с вами согласен! — ответил Зборовский. — В вашей группе рабочего проектирования около тридцати человек, ездят по всей трассе; пожалуйста, поручите кому-нибудь из них. Вы не упомянули еще главного геолога — покойный Соколов Серафим Григорьевич тоже закладывал основы канала... Пусть где-нибудь на канале появится поселок Соколово или Серафимово.

Илья Наумович и Евгений Алексеевич уехали, а рабочие остались ждать свой автобус. Перебивая чьи-то рассуждения, дядя Степа сказал Виктору:

— Ты бы и занялся витриной на этой станции. У тебя есть фотоаппарат. Снимаешь сносно...

Виктор не ответил.

Автобус шел медленно, не раз останавливался в небольших наметах снега, и дядя Степа клялся, что в кибитке на четверке лошадей скорее бы приехали с трассы в поселок.

Повстречались с шагающим экскаватором. Лоб в лоб.

Шагающий сам не шагал. Великан, применяемый на разработке мягких и сыпучих пород с непосредственной отгрузкой их в отвал, мог только при помощи двух стальных лыж неуклюже приподняться и сделать шаг, после чего лыжи снова занимали нерабочее положение, а экскаватор вместе с домиком садился на грунт всей своей базой. Лыжи выносились вперед, опускались на грунт, затем весь неуклюжий великан, опираясь на лыжи, поднимался и переносился на длину шага, а потом снова усаживался на землю. Прежде месяцы требовались, чтобы эту землеройную машину разобрать на части и перевезти в грузовиках куда-то, затем снова собрать, но здесь вот она, приподняв лыжи, в неразобранном виде медленно ехала на толстых стальных листах, прицепленных к трем тягачам.

Изобретателем передвижки шагающих вдоль трассы был Лев Павлович Файнберг, главный механик

стройки. Дело было ответственное, и он присутствовал при всякой перевозке экскаватора. И сейчас, невысокий, одетый тепло, чуть запрокинув назад голову, главный механик важно выступал впереди застывших машин, как будто и он вместе с тягачами тащил всю громаду.

Дядя Степа крикнул с подножки автобуса:

— Привет, Лев Павлович! Едем и не тужим?

— Привет. Едем и не тужим...

— Отдохнуть бы вам, Лев Павлович, в такой вечер. — Дядя Степа вышел на дорогу. — Небось, под шестьдесят уже, извиняюсь, теплая постелька в думках?

— Что? — Лев Павлович похлопал руками в кожаных перчатках и указал на тягач. — А они отдыхают? Перевозка шагающего — это что-нибудь значит. Ах, если бы конструкторы поставили его на колеса или на гусеницы!

Озадаченный шофер пятил свой автобус, подыскивая место для объезда трех тягачей, ругался. Наконец, свернул с шоссе в темный снег, и тотчас автобус завяз.

— Поработаем, хлопцы? — спросил он своих пассажиров.

Виктор вместе с другими откапывал колеса, застрявшие в сухом снегу, сорвался с обрывчика и утонул в сугробе до пояса. Шофер, дорожный, медлительный, прощупав ногами границу обрывчика, наметил путь к дороге и заворчал:

— Летом — в песках, зимой — в сугробах.

Дядя Степа, взявший лопату у Виктора, сказал:

— Отдохни, малый, а я в охотку побросаю... Эхма! — Он живо принялся за дело. — Этот Лев Павлович лет двадцать с землеройными мудрит и мудрит, внедряет.

Тягачи с шагающими были уже далеко. Виктор, припотевший на раскопке снега, стал зябнуть в авто-

бусе и занялся физкультурой, чтобы не стыть. В поселке он бегом кинулся в общежитие.

Сытый, согретый, возвращался Виктор из столовой, поглядывая на спокойное лицо дяди Степы, словно вылитое из бронзы.

У крыльца разом обивали валенки, поскрипывающие о снег.

— Застыли они у тебя, — сказал дядя Степа, — как чугуны. Надень-ка мои запасные, а эту обувь сейчас же в сушилку отнеси. Не будь сонным... На курсы ходил бы, у нас их, этих курсов, — на все случаи жизни. И в институт готовят и в техникум.

Виктор, добравшись до постели, сразу крепко уснул.

— Эх, герой, герой! — Дядя Степа подошел к его изголовью. — И подушку не успел положить как следует и заветную тетрадку не спрятал. — Он сунул тетрадь подальше под матрац. — Упластался. Да еще «горяченьким» успокоили.

Раньше всех в комнате проснулся Виктор, вспомнил громаду шагающего, тягачи с фарами, нашарил под матрацем тетрадку и к первым изыскателям трассы приписал главного механика.

На работе с этого дня начал злиться: то много в бетоне воды — прочность его уменьшается, то смесь жестка — долго приходится уплотнять ее, то маловата степень связности бетонного теста — слоится оно... Даже с прорабом сцепился.

— Плюнь и не расстраивайся, — говорил ему курносый Папсуев. — Не узнаю тебя. Не все ли нам равно: жидкий, густой, вязкий, невязкий. Солома или бетон... Давай махнем за Ташкент?

— Вот именно, не все равно. Солому продырявят мыши. Понял? Сколько сил положили геологи, землеройщики, а мы под конец, на девятом варианте, испортим канал?..



Воскресенье
Тюльпан

Выставка кактусов

Лишь вопросы, а где ответы!
Непонятные имена.
Кто закинул, с какой планеты
Их коварные семена?

От застенчивости колючи,
Ты не трогай — и он ни-ни.
Разбрелись по пескам горючим
Стороной от новой родни.

А порой, — всегда почему-то
Из ночной земной темноты —

Как посадочный знак кому-то,
Раскрывают они цветы...



Опять весна. Опять тревоги,
И пахнет свежестью вода,
Опять размытые дороги
Зовут неведомо куда.

Теплы и солнечны полудни,
Прозрачно-льдысты вечера,
И ночью — сны.

И даже в будни
Как будто праздники с утра.

И что-то ждется, что-то мнится,
И что-то видно вдалеке,
И сердце бьется, словно птица
В тревожно-ласковой руке...



Сосны вытянулись до неба
И застыли в июльском сне.
Я оставлю горбушку хлеба
На замшелом, корявом пне.

И пойду, веселый и пеший,
Вдаль — куда поведут ручьи.
Пусть закусит горбушкой леший,
А не леший —
Так воробы...



Алла
Гербер

БЕЗ МАНТИИ И ТРОНА



Рисунки
А. Прскофьева.

Эго был уютный, неустойчивый и необременительный для взрослых детский праздник. Но в конце концов ребятам, видно, надоело переставлять фишки в настольных играх (под разными названиями, но с одинаковыми препятствиями и непременным условием — кому-то прийти первым), угадывать мнения и ошалело пищать, потому что Таня «лезет», а Витка «пристает». Им пришла в голову счастливая идея — устроить концерт художественной самодеятельности. Взрослые согласно закивали — просим, просим, — и девочка с красным пропеллером в волосах быстро «прокатилась» по клавишам «бетховенского «Сурка» и «Сентиментальный вальс» Чайковского. «Пропеллер» сменила шатенка лет шести с удивленными зелеными глазами, которая поразила всех своим английским произношением, за что ее папа получил соответствующий набор комплиментов. А потом маленький коренастый Костик спел нам песню.

Мы сначала улыбались, растроганно поглядывая друг на друга, даже подпевать пробовали и вдруг... затихли. Так, не сговариваясь, все вместе куда-то отодвинулись, оттянулись от этого вкусного стола, от смеха детей, от самого Костики, который тоненьким голоском старательно выговаривал: «Нам еще рано, нам еще рано, нам еще рано — лечь».

Нам еще рано... Рано было забывать эти строчки. Мы слышали их очень скоро после войны в детской передаче по радио. Нам и в голову не приходило, что планета наша может плодить не только храбрецов, но и трусов. Тогда об этом и думать не хотелось, и слов таких никто не желал понимать. Зато каждый знал, что «есть мушкетеры», и себя, грешным делом, тайно к ним причислял.

«...Другу на помощь, вызволить друга...» — да кто в этом сомневался? Разве бывает, разве может быть по-другому?! «Шпагой клянемся, шпагой клянемся...» — вызволим, спасем.

Давно мы ее не вспоминали — любимую клятву нашего детства. И так неожиданно в этот уютный вечер всеобщей умиротворенности и комфорта вдруг снова прокатилось, как эхо тех далеких дней: «Шпагой клянемся, шпагой клянемся, шпагой клянемся — мы».

О чем задумались мои друзья в эти короткие минуты непредвиденного молчания? О разном, наверно. Кто-то о том, что нам, и правда, еще рановато умирать. Кто-то, может, подумал о трусах, которым «выпала честь», и о храбрецах, обойденных славой. Кто-то вспомнил о друзьях спасенных и о тех, кого никто не спас. А самый смелый из нас наверняка припомнил отговорки, которые не гнал прочь, идя на компромиссы с собственной совестью.

Да, о разном думалось моей благодушной, беззаботной компанией в те длинные секунды, когда чудак Костик, ни о чем не подозревая, весело, озорно повторял: «Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть...»

Кто о чем... А я вспомнила эвакуацию, пятый барак, в котором мы, понаехавшие в этот солнечный хлебный город, «пересаживали» войну. И нашу соседку тетю Потю, даже в самые жаркие дни перевязанную крест-накрест теплым оренбургским платком. Это я ей читала под керосиновой лампой в проливные дожди зимнего Ташкента: «Красивое имя, высокая честь — Гренадская волость в Испании есть» — и никак не могла дочитать до конца. Проклятый комок в горле душил слова, буквы начинали раздваиваться и неуклюже прыгать перед глазами.

— «...И мертвые губы шепнули: Грена...»

— Да ты успокойся. Пережди маленько. Или завтра дочитаешь, — утешала меня тетя Потя, вытирая свои и мои слезы концом платка. Но я брала себя в руки и мужественно заканчивала:

— «Новые песни придумала жизнь, не надо, ребята, о песнях тужить...»

— Это правда,— говорила тогда тетя Потя,— жизнь — она вечная. Вот и Федечка мой погиб, а мы, видишь, живем, да еще стихи про него читаем.

И еще я вспомнила девушку Асю, которая пришла за мной «возрождать романтику». В тот вечер я спешила в кино, где давали шикарный боевик «Девушка моей мечты», а другая девушка из нашего темного, узкого переулка читала, не отпуская: «Я с вами говорю как современник, как старый комсомолец говорю: Мы жили так: на несколько ступенек... взойдешь — и вот уже достал зарю».

Эти строчки мы выписали на знамени нашего быстро развалившегося клуба романтиков «Факел», с ними его открывали, с ними и закрывали. А потом взвинчивали, подстегивали свой притихший было энтузиазм, упорно повторяя «Нам в детях ходить надоело...» И когда после полуночных дебатов, так ничего не решив и не определив, возвращались домой по тускло освещенным проулкам и тупикам старой «харитоньевской» Москвы, нам и впрямь казалось, что вот сейчас, за поворотом в Хоромный тупик, «усатые тигры прошли к водопою», а «по небу звезды бродилина ошупь», и не зима сейчас, не мороз под 25°, а тропическая ночь, и все мы — неистребимые романтики — «на вахте дежури́м».

И много лет спустя, когда бежала я на свидание, когда до ночи сидели мы на нашей лавочке у высохшего пруда или бродили по тем же закоулкам, опять пришло ко мне слово поэта, а через него радость, которой одиноко без печали: «Я не знаю, где граница между пламенем и дымом, я не знаю, где граница меж подругой и любимой».

Думала ли я тогда, что увижу его, буду сидеть с ним рядом за столиком дымного гулко́го кафе литераторов, слушать его печальные шутки и... ничего не понимать?..

Когда в первый раз мне сказали: «Вот он», — я не поверила.

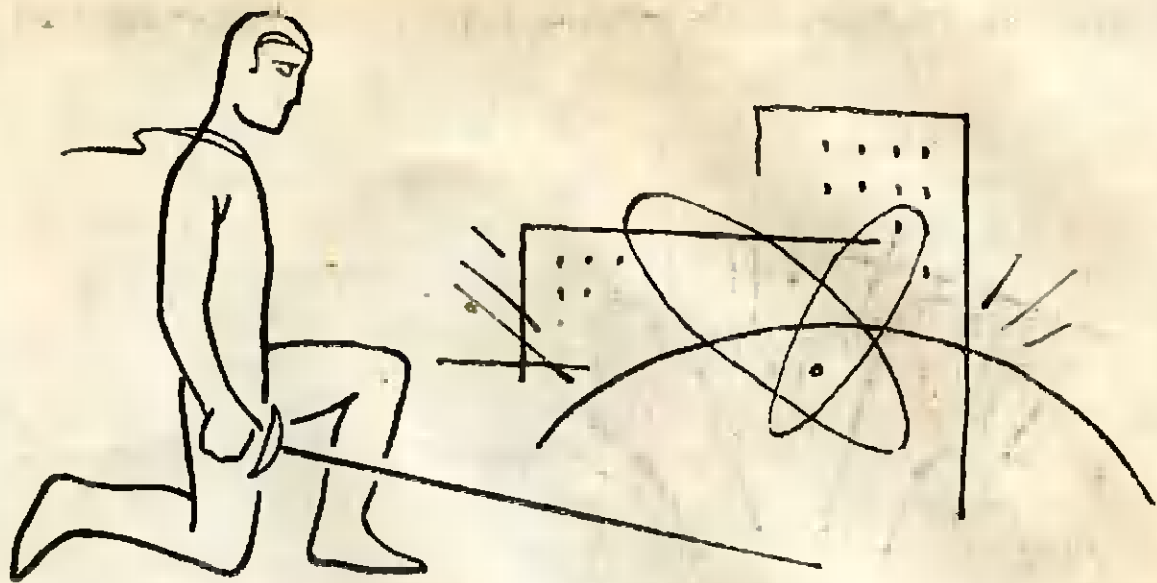
— Шутите,— говорю,— игра «на новенькую». Не пройдет. Он не такой. Он не может быть таким.

— Интересно, а каким же, по-твоему, должен быть он? Красавцем с белокурыми волосами, с голубыми, чистыми, как хлорированная водопроводная вода, глазами? Чтобы метр восемьдесят пять, мускулы на устрашение врагов и улыбка, затмевающая солнце,— так, что ли?

— Пошло,— обиделась я.— Грубо и пошло. Но все равно, он другой.

Все называли его просто Миша. А он, маленький, сморщенный, с втянутой в плечи головой, смотрел на них из-под густых бровей с доброй усмешкой. Со-страдательно и сочувственно, как будто знал о них больше, чем они о себе. Как будто понял в них, под-глядел, угадал нечто такое хорошее, о чем они сами или забыли, или не догадывались. Все ловили на ходу его остроты, перебрасывались ими, как резиновым мячиком, а он охотно «водил» в этой игре, где были странные правила: он, водящий, не принимал, а подавал, не старался быть ловким, а помогал быть ловкими другим.

Но все это я увидела не сразу: и мудрую иронию, и бескорыстную щедрость острого ума, и ненавязчивое внимание к новичкам, и незаметную поддержку старикам. И то, как не он «добивается» общения, а его «добиваются», и как «играет» его слово, забыв хозяина, а тот только радуется этому и не ждет благодарности. И как теплеют лица, когда рядом появляется его насмешливое, изрезанное морщинами лицо. Но тогда, в тот первый вечер, я видела лишь щупленького человечка, усталого, неухоженного и



неприятного. Я была во власти несоответствия, несовпадения с образом, расхождения с привычными опознавательными знаками.

Неужто это тот, кто мог рукой «достать до зари»? Кто ходил под пулями, кто писал «гильотины веселый нож», кто кричал нам, потомкам: «пусть гудит, чтобы не было затишья»?! Кто звал нас в бой, и только в бой, кто требовал «выдать оружие смелым и в первую очередь мне...»?! Неужто этот высохший человек в мешковатых брюках, в галстук, съехавшем набок,— герой нашей юности, отец нашей неувыдающей, всем чертям назло, романтики, нашей веры, нашей надежды, когда иссякали иллюзии?.. Я готова была отказаться от него, тут же, не задумываясь, предать, потому что он меня обманул. Не я его — своей убогостью, своей верностью героическим стандартам. А он меня — своей непохожестью на стандарт. Своими морщинами, усталостью, потухшими, затемненными думами глазами — без зари, без Гренады, без тигров и бесноватых звезд.

В тот вечер я посмела пожалеть его: как изменился, как потрепала его жизнь! Я посмела осудить его — а еще говорил: «Атлантика любит соленого парня, с обветренной грудью, с кривыми ногами». А еще тосковал о походных трубах. Пил «за новый поход», за коней тех далеких, «отчаянных дней...» Мы так долго верили, так долго не сомневались в его лихости, отчаянной, бесшабашной храбрости. А он мерзнет, согревая руки сигаретой, а он раздает за-стойные экспромты. Ну, скажите же мне, что это не так! Что вы посмеялись надо мной...

Это был он. К счастью, он. Все тот же мечтатель, вечный юноша, неизлечимый оптимист. Он остался самим собой, только годы и опыт сделали умной его мечту, философской — его романтику, незаметной, непоказной — его подлинную храбрость. Он остался поэтом, познав жестокую прозу, фантазером — не в силу земных тягот, а вопреки им. Он дарил людям шутку, чтобы они не разучились смеяться. Горькую иронию, чтобы не слишком сладким казалось сытое благополучие.

И если он с чем и не совпадал, так это с крикливым, напускным героизмом. Если не желал походить, так это на парадных трибунных романтиков.

Он был с людьми не для того, чтобы самому «быть», утверждать свое «Я», а чтобы тянуть их за собой к той же заре, к тем же бурям и страстям — из мелководья тщеславия, из разъедающей лич-ность борьбы не «за место в строю», а за ранги и регалии, за почести и гонорары.

И когда сотни людей — друзей и жаждущих ими быть, почитателей и читателей — пришли на его последний юбилей, казалось, что там все юбиляры, кроме него. Все там по праву, по членскому билету, по сборникам и томам, по первой книжке и послед-ней, а он (ну совсем немного) — по своей человече-



ской сути. В тот вечер — самый незаметный в глубоком солидном кресле на большой сцене. Как будто не о нем говорилось столько высоких слов. Не ему предназначались все эти богатые подарки и яркие, точно искусственные, букеты. И расшитые золотом сафьяновые папки, и вычурные адреса, и уверения (письменные и устные) в благодарности, любви, преданности — все это, казалось, относилось к кому-то другому. И тогда я поняла: сегодня не они для него, а он для них. Он, быть может, неосознанно, давал им великую возможность говорить искренне. Вспомнить молодость, попробовать еще раз поверить в мудрость старости. Они были раскованны и свободны, гости его юбилея. Они совершали самый осмысленный из всех обрядов — поклонение достоинству, которое своим словом, юмором и сарказмом не подтачивало, а лишь утверждало их достоинство. И когда, нехотя перебираясь к авансцене, взял он последнее юбилейское слово, в зале стало так тихо, как будто каждому предстояло услышать свой голос, запомнить и удержать его на годы.

Он достал откуда-то из глубин брючного кармана скомканный лист бумаги и, с трудом разбирая, видно, ночью написанные стихи, стал тихо читать.

...Там было о поэте, который прислонился к дереву и не мог от него оторваться. Оно, то дерево, держит поэта, чтобы он не упал. И только это дерево, а не похвалы и восторги, не многое другое, случайное, что приходит и уходит, а это дерево, его глубокие, крепкие корни, его зеленая крона, которая то отцветает, то снова расцветает, то осыпается, то опять набирает соки, — его опора, его суть. Это он сам, вся линия его жизни, ее начало и конец. Главное я запомнила. Его дерево — это и есть мечты поэта, с которыми он не расстался, герои, которых не забыл, друзья, которых не предал. Это и жизнь и смерть, которую он не желает оплакивать, потому что надо жалеть и любить живых.

Его герой — это сегодняшний человек.

Да, романтик, потому что он живет и не хочет умирать.

Да, романтик, потому что это самое наивное из всех человеческих заблуждений — думать, что твоя жизнь чего-то стоит. И тем не менее только так и надо думать. И тогда ты, а не кто-то другой, случайный, станешь творцом собственной судьбы. И ты — Жанной д'Арк и Амундсеном, и ты — героем, и ты — просто Светловым — маленьким старым человеком, который и под конец жизни мог сказать о себе: «И все ж я доволен судьбою, и все ж я не гнусь от обид, и все же моею рукою Летучий Голландец убит...»

В юности мы бываем жестоки к непохожести. Мы порой принимаем картинку за фотографию, а фотографию — за искусную живопись. Мы берем признаки непохожести за посылку и, вопреки логике, превращаем ее в вывод. Мы устанавливаем эталон прекрасного и часто отказываемся от действительно прекрасного, если оно не совпадает с привычным образ-

цом. Зачем рисковать, когда есть утвержденный идеал? Зачем искать, когда в витринах стоят манекены, по которым удобно и легко равняться? И если нам показывают короля, то мы требуем посадить его на трон и облачить в мантию. А иначе не король он — самозванец.

Есть такой набор тестов: определяют «настоящего» парня. Но есть ведь и другие тесты, по которым определяют настоящего человека. Там способность личности защитить себя от обезличивания — тоже не на последнем месте.

Это ведь только в плохом кино, если герой не поражает красотой, отвагой, белозубостью и бедностью, — значит, он отрицательный. А «косая сажень», открытый взгляд и широкая улыбка несут в себе исключительно положительный заряд.

В жизни как раз не все совпадает. И то, что кажется красотой, на деле может обернуться уродством. И то, что выдается за обаяние, при ближайшем рассмотрении может оказаться эластичной, податливой маской, которая (в зависимости от обстоятельств) то растягивается в улыбку, то собирается в кулак.

В девятом классе к нам пришла новая «физичка». А до этого была Елизавета Петровна — хорошенькая, светленькая, благоухающая духами, здоровьем и всегда отличным настроением. Мы называли ее мама Лиза, откровенно завидовали ее красоте, а мальчишки по очереди в нее влюблялись.

Физика была для нас не уроком, а дипломатическим приемом, на котором все стараются очаровать друг друга. Да, мы только и делали (правда, искренне!), что очаровывали друг друга. Мама Лиза — своими платьями, уместными шутками, дружеским расположением, еле уловимым кокетством и даже вышколенным седовласым мужем (учтите, при смуглом лице) — капитаном дальнего плавания. А мы — кто чем мог. Кто — безмолвным, но полным обожания взглядом. Кто — несколько фамильярным обращением с намеком на духовную и человеческую близость. Кто — демонстративной любовью к физике, а кто — нарочитым небрежением к ней, но с полной симпатией к маме Лизе: мол, физику я терпеть не могу, но для вас, Елизавета Петровна...

Мы приглашали ее в театр, ребята танцевали с ней на вечерах. Муж — капитан — проводил с нами за «круглым столом» (а то и за чашкой чая) дружеские беседы. Короче, это был образец учительницы, о которой можно только мечтать, слагать песни и писать рассказы.

И вдруг пришла новенькая. (Мама Лиза уехала со своим красивым мужем в другой город, что было искренне жаль.) Новенькая была настолько непохожа на свою предшественницу, что казалась ее вопиющим антиподом.

Помнится, она вошла в класс как-то боком, тихо сказала: «Здравствуйте, меня зовут Лилия Федоровна... Кто хотел бы выступить по заданной теме?»

Она была длинная, худая, с высокой шапкой жестких неуложенных волос, наспех подхваченных на затылке шпильками. Шпильки почему-то выпадали, и волосы назойливо лезли в глаза. Невольно хотелось зачесать их, пригладить, но Лилиюшка (так сразу мы ее прозвали) будто не замечала беспорядка на голове (как, впрочем, не замечала она и беспорядка в классе). На ней всегда был синий халат с неизменным белым воротничком — единственная деталь туалета, за которой она тщательно следила. Из кармана халата торчала пачка «Беломора»: когда мы делали какой-нибудь опыт, она уходила в свою пристройку (маленькую лабораторию при физическом кабинете), и оттуда шел в класс резкий запах папиросного дыма.

Пальцы у Лилюшки были красивые, тонкие, как у пианистки, только желтые на концах от табака и чересчур свободного обращения с химическими растворами. Лицо продолговатое, треугольное (с неожиданными на нем детскими пухлыми губами), утыканное веснушками, которые весной расплзались по щекам и лбу рыжим напудренным облаком. Да, нельзя сказать, чтобы она была красива, женственна, что одевалась со вкусом и следила за своим преждевременно постаревшим лицом. Она говорила низким, охрипшим голосом, но не зычным, не свистящим, как говорят заядлые курильщицы, а тихим, сдавленным, всегда на одинаковой, ровной интонации, точно настроила на одну волну и никогда не меняла ни тембра, ни регистра. На урок Лилюшка приходила задолго до звонка. И когда мы вбегали в класс, получалось, что не мы ждем учителя, а она нас, давно готовая (задание было выписано на доске, приборы расставлены на партах) начать урок. И не мы встаем приветствовать учителя, а она спокойно выжидает, пока мы угомонимся, рассядемся, и тогда без лишних слов, без докучливых замечаний, приступала к делу.

На первых ее уроках это какое-то невидимое, будто необязательное, ненавязчивое присутствие учителя было воспринято нами как сигнал «бузить». Мы сначала тихо переговаривались, пересмеивались, перекидывались записочками, а потом все громче, все наглее прыскали, хмыкали, бубнили, погружая класс в неумолчный рокот безобразия, не нарушаемого строгостью учителя. А она будто не замечала нашего откровенного хамства, не слышала неуместных острот, которые действовали на нас, как шутовские хлопушки: мы начинали гоготать, покатываться со смеху, входя в такой раж, что забывали, отчего хохочем, над чем, все более отдаваясь свободе вот так безнаказанно веселиться на уроке. Она не кричала, не призывала к порядку. Не грозила, но и не заискивала перед нами. Не ссылалась на свой учительский авторитет, но и не опускалась до панибратства, до дешевой фамильярности, к которой часто прибегают молодые учителя для покорения старшеклассников.

В конце концов нас стало злить ее к нам (как думалось) полное равнодушие, ее бесстрастные глаза, которые воспринимали нас как дурной сон, который все равно должен же когда-нибудь кончиться. Она не кривилась, не кусала нервно губы, не отбивала в нетерпении дробь по столу — она продолжала вести урок.

В классе были заядлые физики, наши школьные корифеи — каким-то неведомым нам профессиональным чутьем она сразу выделила их из общей массы и первое время занималась вроде бы только с ними, исключив остальных из среды «избранных», не замечая, не вступая с ними в насильственный контакт.

Обиженные таким невниманием, мы расходились все больше и больше. Мы уже устали болтать и «хохмить» и рады были бы заняться делом (с любопытством поглядывали на спорящих у доски корифеев), но нас игнорировали, и мы злились. И уже вопреки себе, вопреки вдруг возникшему интересу к физике (которая стала для нас чуть ли не запретным плодом), мы продолжали выводить Лилюшку из себя... Однако нам это не удавалось. Напрасно мы тратили свою энергию и без того скудную на выдумки фантазию — Лилия Федоровна на нас не реагировала. Мы были бы рады ее окрику, ее угрозам, даже жалобам директору — ничего не получалось. Ни разу не повысила она голос, ни разу не сорвалась, не хлопнула журналом по столу, не побежала за помощью в учительскую. И только однажды, когда мы организованно ушли с ее урока (он был последним) в кино, она сказала нам на следующий день своим хриплым, тихим голосом: «Физика не нуждается

в одолжении. Она привыкла иметь дело с богами, а не рабами. Угодничество ей ни к чему. А если вам хочется объявить бойкот физике, поверьте, она это переживет. Она и не такое видела, но все равно побеждала».

Понимаете, ф и з и к а, а не она, Лилия Федоровна, — вот, оказывается, кому мы выразили недоверие. Не ей, а закону Ньютона. Не «училку» пытались вывести из себя, а теорию Эйнштейна, которая, при всей своей относительности, абсолютно устойчива.

Мы прыснули по привычке, но, кажется, впервые по-настоящему стушевались. Как ни странно, нам стало не по себе. Мы почувствовали себя жалкими и ничтожными перед могуществом науки, перед этой плохо причесанной женщиной с желтыми пальцами, которая защищала перед нами (но кто мы такие?!) свою науку — не предмет, не урок, не учебник для девятого класса, а науку. Нет, это еще не было нашим окончательным поражением — шум, то нарастая, то затихая, еще прокатывался на ее уроках. Мы еще не могли смириться с тем, что она ничего не делала, чтобы завоевать нас. И не заметили, как постепенно нас завоевала физика, как в минуты (все удлинявшиеся) затишья стали доходить до нас ее слова. И чем больше мы их узнавали, тем меньше хотелось произносить свои, потому что Лилюшка была богом в своем деле.

В ней было достоинство человека, одержимого любовью, и все уродливое, суетное, несоизмеримое с этой любовью было по другую сторону ее мира. Так далеко, что она не слышала его глухих раскатов, не понимала его языка. И чтобы не напрягаться, не тратить время попусту, не ловить позывные чужого ей сообщества, она отключала себя от него, спасая свою любовь, чтобы в конце концов одарить нас ею.

Мы, конечно, всего этого долго не понимали. И ее отрешенность сначала принимали за гордыню (неудачница, наверно. Диссертацию, небось, не защитила, а перед нами «задается»). Ее упорное нежелание призвать нас к порядку — за слабых характерность и жалкость. Ее «покрытие» наших проступков — за страх перед дирекцией, перед обвинением в неумении «взять класс в руки».

Руками не взяла, не хотела, наверно. А мыслями нашими овладела, и очень скоро. В тайны своей науки вобрала, да так крепко, что добрая половина класса пошла после окончания школы в физику.

Может быть, это было непедагогично. Не соответствовало правилу, по которому тот учитель не учитель, который не может наладить дисциплину в классе. Дисциплина пришла, но только не через страх и бездумное подчинение. Не обязанностью учить, а осознанной необходимостью знать привела нас Лилюшка к вратам своего мира, который потребовал от нас гораздо большего, чем просто хорошее поведение и отличная успеваемость.

Достоинство породило достоинство. Мы, такие бесшабашные, такие молодцы в своих нехитрых выдумках, такие жестокие в своем желании ущемить до-



стойнство учителя, сами почувствовали себя жалкими перед достоинством ее молчания. Перед последовательным нежеланием вступать с нами в конфликты, прорабатывать и ругать. Она как бы оставляла нам последнюю возможность устоять перед «падением» именно потому, что не боялась «пасть» (как принято считать) в наших глазах.

Но однажды она упала — в самом прямом смысле этого слова. И этот день решил все. Как всегда, боком, незаметно вошла она в класс. Присела на первую пустую парту, внимательно оглядела класс, точно старалась разгадать, чем сегодня заняты наши «великие» умы. Хрипло, как всегда, сказала:

— Добрый день! — Спокойно добавила: — Кто сегодня будет заниматься физикой, прошу поднять руки.

Кажется, подняли все — на всякий случай. Она недоверчиво покачала головой и пошла к стенному шкафу за какими-то нужными для темы приборами. Шла, прихрамывая больше, чем всегда (видно, разболелась — это мы после узнали — раненная на фронте нога). За что-то зацепилась и, неловко путаясь в длинном халате, упала на пол. Это было так неожиданно и почему-то (черт его знает, почему) так смешно, что класс грохнул. Парализованные смехом, мы не сразу сообразили вскочить и помочь ей. Туфля застряла в щели. Она с трудом вытянула ее, взяла в руку и медленно пошла (не поплелась, не потащилась, не заковыляла), а именно пошла к кафедре. Кажется, в первый раз она слышала наш смех. В первый раз он хлестнул по ней своей бессмысленной жестокостью. Она села за стол, посмотрела на нас с такой грустью, как будто это мы сейчас лежали на полу и над нами кто-то потешался, нам не могли встать.

— Не может быть, — сказала она так тихо, что мы невольно подались вперед, поперхнувшись собственным идиотским смехом. — Не может быть, что вы такие. Откуда? Зачем? Кто научил вас быть безжалостными к чужой беде? Я много раз падала — это не страшно, поверьте. Страшно должно быть тем, кто уверен, что никогда не упадет... Во время блокады Ленинграда, было это в январе, в самые морозы, я шла, вернее, ползла через Кировский мост. Рядом со мной тянулись человеческие тени. Они тащили за собой детские саночки в надежде найти по дороге дощечку, подошву, остатки скамейки — в общем, хоть что-нибудь, пригодное для топки. Нести в руках они уже ничего не могли — даже старая туфля показалась бы им пудовой гирей. Я тоже везла санки, тоже бродила по городу в поисках топлива и еды. Силы кончались, я это чувствовала, да и надежды на случайную «добычу» не было никакой, и все-таки регулярно, как на работу, шла в город на поиски, потому что дома умирали отец и маленький брат. Не знаю, как это случилось, но я упала, а падать было нельзя — это я знала точно. Тот, кто падал, уже не вставал. Тихо так соскальзывали люди в снег и затихали. Мимо них проходили, не замечая, как проходят в лесу мимо упавшей сухой ветки. Наклониться, протянуть руку — значило бы свалиться самому, и навсегда. И когда я вытянулась на ледяной дорожке, пробитой сквозь сугробы сотнями ног, я почувство-

вала себя почти счастливой — ну, все, отмучилась, можно больше никуда не ходить, ничего не хотелось, а главное — не хотелось жить. Рядом со мной шли люди, ползли сани, семенили детские валенки. И вдруг кто-то, споткнувшись об меня, почувствовал, наверно, слабое сопротивление моего тела. «Живая?» — спросил женский голос. Я застонала, наверно, и тогда женщина нагнулась, чтобы поднять меня. Я была неподатливая и тяжелая, а помочь ей была не в состоянии. Наша возня походила, наверно, на знаменитый эстрадный номер — нанайская борьба в исполнении одного актера. Но тогда нас еще было двое, и нам было не до смеха. Когда она, наконец, поставила меня на ноги, силы ее кончились, и она осталась на том месте, где только что лежала я. Я попыталась нагнуться, а она быстро-быстро зашептала: «Не нагибайся, упадешь, и тогда конец. Ты молодая — поживи. А мне все равно не дотянуть...» Я стала кричать. Но это только я думала, что кричу. А на самом деле голоса не было — какое-то шипение, которое на лету замерзало, не успевая складываться в слова. Прислонившись к барьеру, я смотрела умоляюще на прохожих. Но люди смотрели только перед собой, боясь потерять равновесие даже от малейшего поворота головы. Кто-то подхватил меня под руки: «Не стой, а то замерзнешь». Я пыталась вырваться, вернуться. Кричала, плакала... Но этого никто не видел и не понимал, кроме меня... Я так никогда не узнала имени той женщины. Не знаю, где ее могила. Не знаю даже, кому обязана своей жизнью. Но я знаю, что значит падать и какой ценой иногда помогают вставать.

...Она не знала, кого благодарить за свое спасение. Но мы, ученики девятого класса «Б», и по сей день помним, кому обязаны своим.

Можно было бы рассказать, как дружили мы с ней потом. Как ходили домой — в маленькую, заваленную книгами и старыми журналами комнату, где ее мама, в прошлом рижанка, угощала нас непривычным черным кофе. Как читала она нам стихи неизвестных тогда юношеству поэтов. Как скупно рассказывала о своей фронтовой жизни и никогда — о неудавшейся личной. Как в десятом классе ездили мы с ней на зимние каникулы в Ленинград, и она показала нам то место на Кировском мосту, и мы долго стояли, сняв шапки, а прохожие оборачивались и говорили: «Сумасшедшие какие-то». А другие называли «стилягами»!.. Но это уже другая тема. Об этом как-нибудь в другой раз...

На выпускном вечере мы подарили Лилиюшке портрет Эйнштейна с надписью: «Достойной ученице великого учителя».

Она покраснела, неожиданно по-девичьи шмыгнула носом:

— Ну, это уж слишком! Это вы... — И убежала.

Так вот вскочила, как девчонка, и убежала.

...И об этом я тоже вспомнила в тот детский день рождения, когда мальчик Костик уверял нас, что «есть мушкетеры», есть они, есть...



Е. БЕЛАШОВА.

Н. К. Крупская (гипс).

По залам Всесоюзной художественной выставки, 1970.





А. МЫЛЬНИКОВ.
Лето.

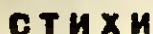


Р. АХМЕДОВ.
На отдыхе.

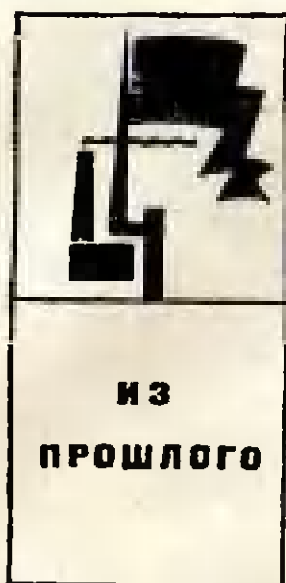


Л. СТИЛЬ.

Семья.



Вадим Шефнер



Елена Левицкая

ДУХОВНЫЙ МОНОЛИТ

Воспоминания о семье Ульяновых

Отпразднован столетний юбилей В. И. Ленина. Но интерес к великому возведению революции, к его учению, ко времени и среде, которые сформировали гений Ленина,— этот интерес не исчерпывается ни одной датой. Вот почему продолжаются разыскания, пополняется документальная Лениниана.

Мы печатаем воспоминания Е. В. Левицкой, дочери заслуженного деятеля науки, профессора В. А. Левицкого (1867—1936 гг.). Вячеслав Александрович был другом семьи Ульяновых, одним из первых корреспондентов ленинской «Искры». И дружба семьями продолжалась десятилетия. Е. В. Левицкая передает штрихи этой дружбы, используя архивы отца, свои воспоминания.

I. САМОЕ ДОРОГОЕ

Вячеслав Александрович сразу вошел в семью Ульяновых и стал здесь близким другом. Он лечил Марию Александровну, в течение ряда лет наблюдал за ее здоровьем. Сохранилась открытка от Анны Ильиничны Елизаровой, сестры Ленина, из Крыма от 23 апреля 1909 года, адресованная моей матери:

«Здравствуйте, дорогая Мария Александровна! Шлю привет из Крыма Вам и Вячеславу Александровичу. Добрались мы с мамой хорошо и устроились недурно в Алушке, вместе с Н. Н. Лунской. Мама чувствует себя лучше, хотя все еще слаба и почти не может ходить; отеки ног не проходят. Надеюсь, что здешнее ласковое солнышко поможет ей оправиться. Она тоже шлет вам обоим большой привет. Как ваше здоровье? Как решили с летом? Пишите нам. Адрес наш: Алушка, Ятинская улица, дача Никольской.

Желаю хорошей весны и лета всем вам и говорю: до свидания.

А. Елизарова».

В семье Ульяновых, всегда жизнерадостной, полной творческой энергии и живой мысли, часто звучали песни (все любили петь) и музыка — Мария Александровна была хорошей пианисткой. Эта атмосфера была очень близка и Вячеславу Александровичу: он чувствовал себя в этой семье легко и радостно.

Знакомство моего отца с семьей Ульяновых произошло в Подольске в 1899—1900 годах в доме Кедровой. Теперь здесь находится Дом-музей В. И. Ленина.

В то время младший брат Ленина, Дмитрий Ильич, студент пятого курса медицинского факультета, был арестован за участие в студенческом революционном движении. После ареста он был выслан в Подольск к своей семье под гласный надзор полиции. И, конечно, никак не мог найти работу. Никто не хотел рисковать репутацией.

Об этом узнал мой отец, в то время земский врач, и сам пришел к Ульяновым, чтобы пригласить ссыльного к себе на работу. Так Дмитрий Ильич стал помощником земского врача Левицкого.

В начале июня 1900 года в Подольск ненадолго приехал и Владимир Ильич. Конечно, Ленин сейчас же заинтересовался: «кто этот доктор, который проявил такое бесстрашие и несомненную общность идей, без чего он не мог бы сделать такого шага» (помощь Д. И. Ульянову).

Их познакомил Дмитрий Ильич, и они сразу друг другу очень понравились. В тот же день они катались на лодке по Пахре. Беседовали.

Отец рассказал о том, как он пытается улучшить условия труда рабочих — кирпичников, цементников и особенно шляпников, которые систематически отравлялись ртутью. Отец вел серьезную борьбу с фабрикантами за безртутный способ выработки фетра (в то время Подольск был центром кустарного производства фетра). Отец познакомил Владимира Ильича со своими исследованиями по заболеваемости в Подольске. По его наблюдениям, там была очень велика смертность детей, многие новобранцы отвергались по здоровью.

Владимир Ильич с огромным интересом слушал Левицкого и поддержал его планы заняться поисками

безртутного способа производства фетра. (Этот способ в дальнейшем отец нашел: оказалось возможным заменить вредные для здоровья рабочих ртутные соли щелочами.)

Во время одной из прогулок на лодке Владимир Ильич предложил отцу написать обо всем этом в газету. На его удивленный вопрос: «В какую газету?» — Ленин ответил: «Будет такая газета — «Искра».

Участвовавший в этой прогулке Дмитрий Ильич вспоминал позднее:

«...Ленин был приятно удивлен, встретив в Подольске такого человека. Он очень дельный,—говорил Владимир Ильич брату.— Ты его расшевеливай, заставляй писать корреспонденции в «Искру».

И действительно, в первом номере «Искры» напечатана корреспонденция из Московской губернии «Пробуждение кирпичников». Автор ее — санитарный врач Левницкий.

Встреча с Владимиром Ильичем произвела на моего отца огромное впечатление. Под влиянием этой встречи окончательно сформировалось мировоззрение Вячеслава Александровича. Позже он продолжал сотрудничать в «Искре».

Некоторое время Владимир Ильич присылал «Искру» в адрес моего отца, который и распространял ее. Вячеслав Александрович сам пишет об этом в своей автобиографии, сохранившейся в рукописном черновике:

«... Не ограничиваясь легальной деятельностью, я разделял линию, которую настойчиво проводил тогда сам Владимир Ильич Ленин, принимал участие в распространении в рабочих кругах нелегальной литературы, главным образом «Искры», в период 1900—1903 гг.».

Привожу далее документ о новой встрече отца с Лениным.

II. ВСТРЕЧА В ЦЮРИХЕ

«В перспективе очень далекого прошлого ярким, незабываемым для меня пятном выступает моя встреча с Владимиром Ильичем в Цюрихе, в Швейцарии, в 1902 году. С Владимиром Ильичем и всей его семьей я близко познакомился еще в 1900 году, в период временного его пребывания в Подольске. В 1902 году я возвращался из Парижа после длительных и мучительных исканий путей оздоровления шляпного производства. Остановившись на несколько дней в Цюрихе, от русских эмигрантов я узнал, что туда приехал из Лондона Владимир Ильич для выступления с рефератом о программе и тактике эсеров.

Заручившись адресом, я пустился в поиски дома, где он остановился. Была осень; помню, погода была убийственная, моросил дождь, сквозь туман тусклыми точками выглядывали уличные фонари; с большим трудом на одной из окраинных улиц я отыскал указанный мне дом. В маленькой, плохо меблированной комнате я застал Владимира Ильича.

Он с интересом расспрашивал меня о моих перипетиях в Париже, говорил о том, что усматривает в них хороший материал для пропаганды. Затем разговор перешел на его выступление.

Он много и горячо говорил. Меня поразила какая-то внутренняя мощь, которая сказывалась в каждом его слове, в каждом жесте. Я мысленно сравнивал его с тем Владимиром Ильичем, мягким, даже я сказал бы, нежным, которого видел в кругу семьи. Я понимал, передо мной мощная и необыкновенно многогранная фигура человека, которому дано столь же много и проникновенно любить в жизни, сколь много и проникновенно ненавидеть врага на поле политической брани. Но я тогда не думал, что передо мною

величайший гений, которому суждено через пятнадцать лет вписать новую великую главу в историю человечества». (Запись моего отца, сохранившаяся в его архиве.)

Вернувшись в Москву, Вячеслав Александрович устроил для фабрикантов выставку. Ведь ему во Франции удалось изготовить фетровые колпаки безртутным способом. На выставке были показаны занумерованные фетровые колпаки, но без указания способа их обработки. Не зная об этом, фабриканты в книге отзывов сошлись на том, что более высоким качеством обладают как раз те, которые произведены новым способом. Это и требовалось доказать.

Когда Ленин узнал об этом, он был в восторге. Мария Ильинична нам рассказывала, как он восклицал: «Вот как Вячеславу Александровичу удалось перехитрить фабрикантов!» И от души смеялся, представляя себе эту картину.

Впоследствии Ленин не раз вспоминал с моим отцом о том, что хотя французы, может быть, и раньше начали думать о безртутном способе, но применять его начали *первыми* в России, после поездки Вячеслава Александровича во Францию. А в Советском Союзе этот способ был принят повсеместно. Владимир Ильич высоко оценил это достижение.

За все время пребывания Ленина в Швейцарии связь между ним и моим отцом не прерывалась. Владимир Ильич в письме к матери от 1 июля 1901 года спрашивал о Вячеславе Александровиче:

«Есть ли у вас знакомые в Подольске? Видитесь ли вы с тем господином, с которым мы прошлый год катались на лодке?».

О доверии, которое оказывал Ленин моему отцу, говорит тот факт, что именно ему переслал он рукопись своей знаменитой книги «Материализм и эмпириокритицизм». Ленин сам пишет об этом в письме к Марии Александровне из Женевы в 1908 году:

«.. Анюге, пожалуйста, передай, что философская рукопись послана уже мной тому знакомому, который жил в городке, где мы виделись... в 1900 году. Я надеюсь, что он уже получил ее и доставил вам. Если нет, необходимо навеститься к нему, благо живет он недалеко от вас. Очень прошу черкнуть мне пару слов немедленно о получении рукописи».

Но беспокоился Владимир Ильич напрасно. Однажды вечером на квартиру к Анне Ильиничне, в доме № 25 по Бахметьевской улице (ныне улица Образцова), явился доктор Левницкий, забинтовав на себе по всем правилам медицины листы драгоценной рукописи.

Вскоре после переезда в 1918 году Советского правительства из Петрограда В. И. Ленин впервые был у нас в Москве, в 7-м Ростовском переулке. Я живо помню этот приезд Владимира Ильича. Отец предупреждал нас, что В. И. Ленин придет к нам с сестрой Марией Ильиничной по делу и мешать им нельзя.

Это было к вечеру. Мы все нетерпеливо поглядывали в окно, очень хотелось увидеть самого Ленина, какой же он, вот так близко, а не на фотографии?

Наконец к подъезду нашего дома подъехала большая черная машина. Я бросилась к двери в переднюю, когда вошли Владимир Ильич и Мария Ильинична, выглянула из-за двери.

Я уже знала, что Ленин стоит во главе всей нашей страны, в центре всей борьбы за счастье и свободу трудящихся людей; много раз слышала, что отец называл его гениальным человеком, и почему-то



Мария Александровна Ульянова.

ожидала увидеть суровое лицо, нахмуренные брови и непременно большой рост.

Каково же было мое удивление, когда вдруг навстречу мне глаза Владимира Ильича засияли доброй, ласковой улыбкой. Передо мной был человек невысокого роста, в пальто с каракулевым воротником, очень оживленный. Я смутилась и спряталась за дверь и уже оттуда услышала, как Владимир Ильич, разговаривая с отцом, шутил и заразительно смеялся.

Мария Ильинична, которую я уже давно знала и которая очень хорошо ко мне отнеслась, заглянула на минутку в комнату, где я была, понимая, как мне хотелось поделиться с ней своим восторгом. Но долго разговаривать было нельзя, она спешила обратно.

Мне кажется, что тот, кто хотя бы один раз видел Владимира Ильича близко, даже не вступив с ним в разговор, никогда уже не сможет его забыть: с ним входило в жизнь что-то большое, от чего оставалось навсегда неизгладимое впечатление.

Бывал у нас на этой квартире Владимир Ильич и позже, но, естественно, чаще ездил к нему мой отец. Он был одним из основоположников охраны труда в Советском Союзе.

Дальнейшие их встречи происходили в связи с вопросами организации Института охраны труда при Наркомтруде, где отец был постоянным консультантом, и организации институтов профпатологии и профгигиены при Наркомздраве, которые возглавлял мой отец, к тому времени — профессор. Все эти вопросы неизменно интересовали Ленина.

Все Ульяновы бывали в нашем доме как самые близкие и дорогие люди. Теплая дружба и большая любовь соединяли не только Вячеслава Александровича, но и маму мою, Марию Александровну Левицкую, со всей семьей Ульяновых. Я близко и часто общалась с Марией Ильиничной, Дмитрием Ильичем.

В 1936 году в Гаспре умер мой отец. Первая телеграмма глубокого сочувствия была получена нами от Марии Ильиничны:

*«Кореиз Крым Гаспра Левицким
Выражаю глубокое сочувствие кончины дорогого
Вячеслава Александровича.*

Ульянова».

Мария Ильинична принимала непосредственное участие в организации похорон и встречала нас вместе с правительственной комиссией на вокзале.

III. В МИХНЕВЕ

Мне пришлось встретиться с Марией Александровной Ульяновой в самом раннем моем детстве и пробыть около нее несколько дней. Это было в Михневе, Серпуховского уезда, недалеко от Москвы. Туда и отправили меня на недельку погостить.

Повезла меня Мария Ильинична — она была единственным человеком, которому моя мать решилась доверить меня на такой срок.

Был теплый летний день. Встретила нас сама Мария Александровна. Мне отчетливо помнится, что стояла она на верхних ступеньках лестницы или высокого крыльца. Приняла она меня приветливо и ласково.

Мария Александровна была в светло-серой кофточке (а может быть, в светло-сером платье) с присобраным черным кружевом на воротничке, заколотом черной брошкой. На седых волосах была небольшая кружевная черная косыночка, отчего волосы казались совершенно белыми. Весь ее облик создавал впечатление строгого изящества.

Чувствовалось, что хрупкая, небольшого роста, Мария Александровна была очень сильной духом.

Позднее я поняла (из рассказов моих родителей и из биографии семьи Ульяновых) и с полной ясностью представила себе, что у Марии Александровны была не просто большая сила воли, но мужество, рожденное любовью, любовью высокой, самоотверженной, когда человек готов, не задумываясь, отдать за других свою жизнь. Вот яркий пример этого. Известно, что Мария Александровна, только что узнав о казни сына Александра, пошла в тюрьму к дочери (Анне Ильиничне) и нашла в себе силы скрыть от нее эту страшную весть.

Она любила музыку и сама была прекрасной музыканткой. У меня осталось в памяти старенькое пианино, на котором Мария Александровна в Михневе каждый день играла нам, а мы с Марией Ильиничной тихонько сидели, устроившись поуютнее, и слушали.

По рассказам же моих родителей я знаю, что обращение Марии Александровны с людьми было неизменно ласковым и мягким, таким оно было и по отношению к моей матери и ко мне, тогда маленькой девочке. Это чувствовалось и по письмам Марии Александровны к ней. Сохранившиеся у меня открытки, хотя и с короткими посланиями, полны сердечного тепла. Вот одна из них:

«1 апреля 1912 года.

Поздравляю вас, дорогая Мария Александровна, со днем ангела Вашего, желаю здоровья и всего хорошего. Все мои шлют Вам сердечный привет, поздрав-

ления и лучшие пожелания. В. Ал. прошу передать от нас привет и поздравление с дорогой именинницей, а также милым детям Вашим. Будьте здоровы! Всего хорошего!

Ваша М. У.»

IV. АННА ИЛЬНИЧНА

Анна Ильнична осталась в моей памяти жизнерадостной, женственно-обаятельной, ласковой в обращении с людьми. В этом она была очень похожа на Марию Александровну. Всем, кому могла, она оказывала внимание и заботу, делала это всегда легко, с улыбкой.

Я помню, как я была у нее в гостях вместе с матерью.

Елизаровы жили в доме напротив Александровского сада, на 2-м или 3-м этаже, их окна выходили прямо на Александровский сад. Осталась в памяти большая комната и груды книг, которые я с интересом рассматривала. Среди них было много детских. Анна Ильнична делала переводы детских рассказов с английского и других языков и сама писала.

Я помню, как была горда, когда Анна Ильнична подарила мне переведенные ею рассказы Лонга «Богатырь лесов». Книжка была в белом переплете, с большим оленем, изображенным на обложке.

Об Анне Ильничне я не сумею рассказать лучше, чем это сделал мой отец в своей статье «Памяти Анны Ильничны Елизаровой-Ульяновой». Оригинал этой статьи я обнаружила в архиве моего отца. Вероятно, статья была где-то напечатана, но где, мне установить пока не удалось. Мария Ильнична после смерти Анны Ильничны говорила Антонине Ивановне Ульяновой: «Никто не сумел сказать о нашей семье так хорошо, как дорогой Вячеслав Александрович».

Вот эта статья:

«Памяти Анны Ильничны Елизаровой-Ульяновой»

Мое первое знакомство с Анной Ильничной относится к очень отдаленному времени, именно к 1899—1900 году.

Я не могу отделить воспоминаний об Анне Ильничне от воспоминаний обо всей семье Ульяновых, с которой я познакомился в период пребывания в городе Подольске. Тогда это была гонимая царскими опричниками семья: систематически арестовывались то один, то другой из членов семьи Ульяновых.

Момент, к которому относятся мои воспоминания, был моментом передышки: все члены семьи были налицо, за исключением Владимира Ильича, который все же приезжал в Подольск в начале июня и в середине июля 1900 года.

Не могу я отделить воспоминаний об Анне Ильничне от воспоминаний обо всей семье Ульяновых потому, что эта семья всегда представлялась мне чем-то неделимым, каким-то многогранным духовным монолитом. Грани этого монолита с различными нюансами, в различном масштабе отражали духовные черты, глубоко и ярко заложенные в семье Ульяновых. Гармоническое сочетание любви и ненависти составляло содержание этих духовных черт: семье Ульяновых дано было много любить и много ненавидеть; глубоко и проникновенно любить человека в жизни, так же глубоко и проникновенно ненавидеть врага в бою с рабским строем. Из биографии великого Ильича, этого беспощадного борца против угнетателей народов, мы знаем, как он нежно любил детей, с какой проникновенной любовью он относился к членам своей семьи. И особенно к главе этой семьи, к матери своей, Марии Александровне. Это была удивительная женщина, так изумительно сочетавшая в себе внешнее изящество, необыкновенную мягкость



Вячеслав Александрович Левицкий.

и доброту с мощностью духа, который и помог ей перенести повешение сына Александра без малейшего отступления от тех идей, за которые он боролся, за которые боролась вся семья.

В 1899 году Ульяновы все собрались в Подольске: здесь была Мария Александровна, Мария Ильнична, Дмитрий Ильич, Анна Ильнична и ее муж Марк Тимофеевич Елизаров. И, как я уже упомянул, Владимир Ильич проездом.

Я помню Анну Ильичну, в то время еще молодую, очень активную, в постоянных заботах о ходе дел членов семьи в департаменте полиции, о доставке литературы Владимиру Ильичу, о ходе подпольной революционной работы.

Составляя грань одного семейного монолита и отражая в себе основные черты его, Анна Ильнична, как и все другие члены семьи, имела свое индивидуальное лицо. Она обладала недюжинным литературным талантом и владела пятью, помнится мне, иностранными языками. В то время она занята была переводом с итальянского детской литературы. Дети вообще и детская литература всегда привлекали ее: она не только переводила, но и сама писала детские рассказы.

Всегда активная, умевшая иногда пустить жестокую реплику в полемике, Анна Ильнична очаровывала своей простотой и чуткостью к чужому несчастью. Мне приходилось это не раз испытывать на себе. Не было случая, чтобы человек, обратившийся к Анне Ильичне за помощью, не встретил бы с ее стороны чуткого отклика; но еще чаще она, не дожидаясь просьб, по собственной инициативе, проявляла свою заботу там, где ее чуткая душа подсказывала нужду в этой заботе.

Простота и скромность являлись неизменными чертами Анны Ильиничны на всех этапах жизненного пути. Облик Анны Ильиничны в тридцатых годах остался тем же, киким он мне вспоминается на заре ее жизни. Этот светлый облик навсегда будет дорогим и незабываемым для всех, кто когда-либо ее знал.

(Из архива моего отца.)

V. ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ

С большим теплом я вспоминаю Дмитрия Ильича, с которого началось знакомство нашей семьи с семьей Ленина.

Дмитрий Ильич был жизнерадостным и веселым, как все в семье Ульяновых, внимательным к людям и ко всему происходящему вокруг.

Помню такое. Я маленькой девочкой любила засыпать под музыку и просила маму играть мне на рояле; она тихонько играла в комнате, соседней с детской. Однажды в такую минуту пришел Дмитрий Ильич. Я услышала, как он сказал:

— А не кажется ли вам, Мария Александровна, что она просит Вас играть не потому, что любит засыпать под музыку, а из страха темноты?

И хотя я обиделась на него тогда, но теперь-то понимаю, что именно внимание к происходящему заставило его задуматься даже над таким, казалось бы, незначительным фактом. Возможно, у него, как у врача, возникло это объяснение.

В 1919—1920 годах, когда Дмитрий Ильич состоял в правительстве Крыма, белогвардейцами был там расстрелян мой дядя, младший брат моего отца, Александр Александрович Левицкий, работавший агрономом. Он был захвачен белыми вместе с комиссаром, с которым ехал выполнять какое-то задание.

Дмитрий Ильич приложил большие усилия, чтобы найти их тела для захоронения, но разыскать их не удалось. Я слышала, что Дмитрий Ильич со всей искренностью переживал это трагическое событие вместе с нашей семьей.

Запомнился мне один из последних приездов Дмитрия Ильича к нам. Приехал в машине, но был уже на костылях. Несмотря на этот печальный факт, Дмитрий Ильич в моей памяти остался таким, каким был раньше, — очень красивым, статным человеком. И эта внешняя красота освещалась изнутри доброй улыбкой и взглядом его веселых или серьезных, но всегда очень внимательных глаз.

Отца моего Дмитрий Ильич любил какой-то особенной, я бы сказала, преданной любовью.

VI. МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА

Марию Ильиничну всегда вспоминаю с глубоким волнением. Она была близким и дорогим мне человеком с самого раннего детства. В формировании моего сознания Мария Ильинична сыграла большую роль.

Я начну со случая из раннего детства. Как я уже упоминала, Мария Ильинична взяла однажды меня, еще совсем маленькой девочкой, погостить на даче недалеко от Москвы, где отдыхала Мария Александровна.

И там, на прогулке, однажды Марии Ильиничне встретилась знакомая. Заговорившись с ней, она отпустила мою руку и не заметила, как я отошла в сторону. Любопытство повело меня взглянуть на двух женщин, сидевших на скамейке поодаль, я с трудом перелезла через какую-то канаву. И вдруг мне показалось, что эти женщины, одинаково одетые, в белых платках, поднялись и ринулись мне навстречу, чтобы меня схватить. Вероятнее всего, это была детская фантазия. Но я с громким плачем бросилась бежать

назад, под защиту Марии Ильиничны, а она, услышав мой плач, испугалась, побежала навстречу мне, прижала к себе и старалась успокоить, как могла.

С тех пор, где бы мы ни гуляли, она ни на минуту не отпускала мою руку.

Она часто приходила к моим родителям и горячо говорила с ними о каких-то людях и их поступках. Или рассказывала о планах Владимира Ильича. Помню ее глаза в эти минуты, такие живые, горящие, — она не умела оставаться безразличной к тому, что происходило вокруг.

Нет возможности рассказать здесь о всех разговорах и случаях — их было много. Остановлюсь лишь на тех, которые мне кажутся более значительными.

Я и мой муж Дмитрий Алексеевич — драматические артисты. В 30-х годах мы работали в театре Революции (первый в нашей творческой жизни большой театр). В то время Малый театр создал колхозный филиал в Заметчине. Театр Революции тоже организовал колхозный филиал в Рязанской области. Мы с радостью включились в молодежную группу артистов, назначенных в нем работать.

Я пошла к Марии Ильиничне рассказать об этом, посоветоваться, услышать ее мнение. Мое сообщение Мария Ильинична приняла с воодушевлением. Она говорила, что это замечательное начинание — нести в широкие массы настоящее искусство, культуру, приобщать к искусству людей, пока еще далеких от него. Предупреждала, что можно встретить непонимание и даже насмешку, но все нужно преодолеть, забыв о себе, о своих личных трудностях.

Мы объездили тогда всю Рязанскую область зимой, в сильные морозы. Мой муж взял с собой фотоаппарат и делал всюду, где возможно, снимки. Специально для Марии Ильиничны был заведен альбом, куда Дмитрий Алексеевич наклеивал фотографии. Я преподнесла его Марии Ильиничне. Такой, казалось бы, пустяк доставил ей искреннюю радость.

Работая в Комиссии советского контроля, Мария Ильинична много помогала людям. Для меня она была тем человеком, к которому я шла за советом.

Я нередко обращалась к Марии Ильиничне, когда видела, что человека неправильно обвинили, а я знала твердо, что он не виноват, или незаконно сняли с работы, решили что-то несправедливо, не поняли существа дела, а поступили «по букве закона», и человек страдает.

Когда я горячо говорила ей: «Я убеждена, я очень прошу вас, разберитесь, помогите», — она помогала. Я никогда не приходила к ней зря, не беспокоила ее по пустякам и если отнимала ее драгоценное время и внимание, то только когда это было действительно необходимо.

В эти мои посещения Марии Ильиничны в КСК, куда она разрешала мне приходить, я наблюдала, с каким вниманием и доброжелательностью она относилась к каждому человеку.

Мария Ильинична в каждом случае разбиралась непосредственно сама и обязательно проверяла, как приводилось в исполнение все дело до конца. И когда я однажды сказала о том, как замечательно справедливо умеет она разобраться в любом вопросе, сразу увидеть правду и эту правду утвердить, Мария Ильинична с необыкновенной простотой ответила только: «А как же иначе может быть?» Она действительно не представляла себе, как можно было бы по-другому относиться к делу, к людям.

По внешнему облику Мария Ильинична иногда казалась суровой, замкнутой, но на самом деле душа ее всегда была открыта людям.

Такой она остается в благодарной памяти моего сердца.



В. Кованов,

вице-президент Академии
медицинских наук СССР



Годы светлые, студенческие

ДВЕРЬ В НАУКУ

Когда вспоминаешь сейчас, после многих прожитых лет, свои студенческие годы, в памяти встает лишь самое яркое, что когда-то поразило юношеское воображение. Воспоминания разрозненны, их трудно уложить в стройную и последовательную картину, но все вместе они дают неповторимое ощущение радости от вдохновенного труда и учебы в незабываемую пору становления Советского государства.

Скажем прямо: поначалу нелегко было учиться. Но жажда знаний помогала преодолевать трудности. Молодежь увлекал революционный пафос созидания. Мы близко принимали к сердцу все, что касалось строительства нового мира. Мы жили жизнью партии, страны, народа и росли вместе с ними.

С уважением вспоминаю наших учителей, в том числе представителей старой интеллигенции, которые стали на сторону Советской власти и честно служили ей до конца своих дней. Они помогали растить новую, советскую интеллигенцию — из трудового народа.

Помню, на первый курс медицинского факультета 1-го МГУ в 1927 году было принято 450 человек, из них больше половины рабфаковцев и фельдшеров. И те и другие зачислялись в университет без экзаменов. Советская республика остро нуждалась в собственной, новой интеллигенции. Еще в августе 1918 года В. И. Ленин подписал декрет о правилах приема в высшие учебные заведения. Этим декретом отменялась плата за обучение, студенты обеспечивались стипендиями. Но, главное, в университеты и институты в первую очередь принималась молодежь пролетарского происхождения. Партийные организации заводов и фабрик направляли в высшие учебные заведения молодых людей, получивших закалку в рабочих коллективах и в рядах Красной Армии. Так что с формальной точки зрения поступить тогда в вуз было легче, чем сейчас, в пору высоких проход-

ных конкурсов. Но зато к учебе бывшие рабфаковцы относились с чрезвычайной серьезностью, хорошо понимая, как нужны стране квалифицированные специалисты советской школы. Бывали, конечно, и тогда отстающие студенты, но это объяснялось уж никак не их нерадивостью, а действительно объективными причинами.

Рабфаки, организованные в первые годы Советской власти, сыграли огромную роль в пролетаризации высшей школы.

Нашлись, конечно, скептики, полагавшие, что рабочие факультеты не смогут готовить молодежь к освоению сложной вузовской программы столь же успешно, как это некогда делали гимназии и реальные училища. Поначалу слышались даже голоса, что рабфаковцы будут числиться студентами лишь до первой сессии. Но жизнь посмеялась над скептиками. Выпускники рабочих факультетов в большинстве своем успешно овладевали и программой высшей школы и догоняли, а иногда и перегоняли тех, кто приходил в вуз из средней школы.

Более того, рабфаковцы коренным образом изменили лицо вузов, они внесли с собой в студенческую среду новую, пролетарскую идеологию, высшую сознательность, настойчивость, упорство. «Даешь науку!» — такой боевой клич объединял все пролетарское студенчество, и это было не просто лозунгом. Это было сильным организующим фактором.

Большая часть студентов, окончивших рабфаки, поступала в технические вузы, которые были ближе рабочей молодежи по своему профилю. Но немало рабфаковцев решило посвятить себя и медицине.

Демобилизованных из армии фельдшеров узнать среди нас было нетрудно: они продолжали носить военную форму, да и выправка их свидетельствовала о службе в армии. Многие были людьми уже солидного возраста, с большим жизненным опытом и стажем работы. Приехали они в университет вместе с семьями, детьми. Их поместили в семейных комнатах общежития. Среди рабфаковцев тоже было немало людей средних лет, получивших возможность учиться только после революции. Лишь небольшая часть курса пришла со школьной скамьи. В основном это были, как и я, дети крестьян-бедняков и рабочих.

Медицинский факультет после физико-математического справедливо считался в МГУ самым трудным. Пробным камнем для всех была «анатомичка»: если здесь студент не мог побороть в себе страх и брезгливость, ему на медфаке делать было нечего.

Заведовал кафедрой анатомии известный тогда ученый и педагог, профессор П. И. Карузин. Это был высокий человек, с красиво посаженной головой, большим выпуклым лбом и крупными чертами лица. Говорил он не торопясь, тихо и ясно. Поначалу слушать его лекции было трудно — слишком уж «сыпал» он латинскими терминами.

Главным в курсе анатомии были не лекции, а практические занятия. Их проводили ассистенты, они же принимали у нас зачеты.

Изучив кости и связки, мы перешли в секционный зал — «анатомичку», где на мраморных столах лежали приготовленные для нас трупы — кадавры. Ассистент, видя наше смущение и растерянность, деловым тоном начал объяснять: бояться трупа нечего, он обеззаражен в формалине и опасности не представляет. Запаха гниющих тканей при таком методе консервации нет, изменяется только цвет тканей трупа, он становится серым. А нам, по правде говоря, было не до этих чисто утилитарных объяснений.

Меньше всего мы боялись трупного заражения, наши ощущения были куда сложнее. Описать впервые охватывающие тебя чувства при виде изолированных органов и тканей человека трудно. Непременно кому-то сделается не по себе, и он выскочит в коридор. Но большинство быстро привыкает к необычной обстановке.

Много хлопот доставляло то, что все анатомические обозначения надо было выучить в латинской транскрипции. Латинская и греческая терминология стала международным языком медиков. Студент-медик, хочет он или нет, должен преодолеть «языковой барьер» и за два года запомнить сотни всяких названий и обозначений по-латыни и на греческом языке. Студентам дореволюционной поры в этом отношении было, конечно, легче: они знали латынь и греческий еще со средней школы.

Но вот, наконец, позади остался второй курс с зубрежкой до одурения анатомических терминов и химических формул. Перед нами впервые открылись двери клиник.

Московский университет еще в конце прошлого века построил на Девичьем поле для медицинского факультета и ныне существующий клинический городок. Корпуса основных клиник расположены в два ряда. Их разделяет прямая, с густыми кронами лип аллея — «Аллея жизни», как ее образно называют. В начале аллеи — акушерская клиника. Здесь рождается человек... Чуть в стороне, через дорогу, — клиника детских болезней. Там лечатся малыши. Справа от аллеи — здания гигиенической и теоретических кафедр, а напротив, вдоль Большой Пироговской улицы, вытянулись корпуса хирургических и терапевтических клиник. Они построены по одному плану: двухэтажные, со светлыми просторными палатами, длинными широкими коридорами, с большими окнами. Под одной крышей размещаются факультетские клиники (терапевтическая и хирургическая) для студентов четвертого курса, точно такие же две клиники находятся в другом блоке — это уже госпитальные клиники для студентов пятого курса. Между факультетскими и госпитальными клиниками — центральная поликлиника.

Последнее здание, которое замыкает аллею, — морг. Здесь патологоанатом дает заключение о том, чем болел при жизни человек, как его лечили и от чего он умер. Действительно «Аллея жизни»!

Первая клиника, куда мы пришли на лекцию, была хирургическая. Аудитория хирургической клиники, в сущности, большая операционная; стены облицованы белой плиткой, потолок покрашен белой масляной краской, по краям аудитории несколько рядов стульев, которые занимаем мы, студенты, посередине зала — операционный стол. Чуть поодаль, за инструментальным столиком, в стерильном халате и маске стоит операционная сестра. Она уже подготовила все необходимое: инструменты, перевязочный материал, медикаменты.

Без преувеличения могу сказать: атмосфера, царившая здесь, нас поразила, — впервые мы увидели, как в операционной священнодействуют врачи и медицинские сестры. Все ходят тихо, разговаривают полупрошепотом, везде идеальная чистота и порядок, ни одного лишнего движения или слова. Уже эта атмосфера прививала уважение к медицине.

Помню, вводят молодую женщину с туго перетянутой бинтами грудью. Кладут на операционный стол, обнажают припухшую, покрасневшую грудь. Ассистент готовится к операции — протирает операционное поле спиртом, раствором йода. У головы больной становится врач-нарколизатор.

Профессор коротко рассказывает историю заболевания женщины. Она кормящая мать; у нее появилась трещина на соске, затем небольшая припухлость и краснота в нижней части груди. Больная делала согревающие компрессы, однако это не помогло. Из-за сильных болей она была вынуждена кормить ребенка только одной грудью. Постепенно боли усиливались, температура поднялась до 39°. Диагноз: воспаление грудной железы — мастит. Единственное средство лечения — операция.

Мы сидим тихо, волнуемся, внимательно следим за каждым движением профессора. На нем стерильный халат, перехваченный матерчатым поясом, на руках — резиновые перчатки, лицо закрыто марлевой маской, видны лишь спокойные, внимательные глаза. Он как-то по-особенному собран и сосредоточен. Нарколизатор накинул на больную маску с хлорэтилом, и та тотчас же заснула. Короткие взмахи скальпеля, и гнойник вскрыт. Профессор осушил рану, быстро вставил сухие марлевые тампоны. Все!

Просто не верилось, что так быстро, буквально в считанные секунды, можно сделать операцию. Больную увозят в палату, а мы сидим словно загипнотизированные. И у каждого в голове одна мысль: неужели когда-нибудь и я так смогу?!

На следующий день состоялись первые практические занятия. Одеты в стерильные халаты, переболев дрожью в ногах, мы часами простаивали за операционным столом, придерживали крючки, которыми хирург раздвигал рану, наблюдали за ходом операции.

Большие полостные операции делались тогда под эфирным наркозом, от которого нередко засыпал не только больной, но и стоящий рядом студент. Однажды вид широко раскрытой раны и сильного кровотечения произвел на меня такое впечатление, что я вдруг обмякнул и, увы, сполз под операционный стол. Старшая операционная сестра привычно подхватила меня и с помощью нашатырного спирта привела в чувство. Было неловко перед товарищами, а еще больше перед профессором — человеком, которого мы не только глубоко уважали, но и, как часто бывает с молодежью, буквально боготворили. Между тем после операции профессор, дружески похлопав меня по плечу, проговорил:

— Ничего, ничего, это бывает...

И тут же рассказал, как Склифосовский, будучи студентом третьего курса, вот так же упал на операции в обморок.

Профессор этот был не кто иной, как Петр Александрович Герцен — внук великого русского революционера-демократа А. И. Герцена.

П. А. Герцен был блестящим лектором и педагогом. Всех захватывали его темперамент, широчайшие знания, оригинальные мысли, какая-то удивительная образность речи. Он вырос за границей, говорил с акцентом и подчас не там, где надо, ставил ударения. Для связи одного предложения с другим часто употреблял выражение «Вот именно так»; этим выражением заканчивалась почти каждая его фраза. Произносил он это выражение скороговоркой, отчего выходило: «вотынно». Но каждый раз это «вотынно» звучало по-разному: оно было то восклицанием, то междометием.

Мы любили присутствовать на операциях Петра Александровича. Нас поражала не только быстрота и тщательность, с которой он делал сложнейшие операции на желудке и пищевode, но и артистичность исполнения. Петр Александрович оперировал одинаково хорошо во всех областях хирургии. Но, пожалуй, наиболее ярко его талант раскрывался в атипичных случаях, требующих от хирурга большой творческой инициативы, тонкого знания анатомии, решительности и находчивости.

Анатомию он знал, пожалуй, так, как никто из хирургов, чем зачастую поражал присутствующих на операции врачей. Герцен обладал каким-то особым анатомическим чутьем, позволявшим безупречно выполнять сложнейшие операции. Анатомические атласы и руководства читал, как увлекательный роман. Даже будучи тяжело больным, в постели, он продолжал изучать атласы, перелистывая красочные таблицы в поисках чего-то нового, еще неизвестного ему.

Казалось, нет такой операции, которую бы не смог сделать Петр Александрович. Но это вовсе не значило, что он готов был оперировать всегда и по любому поводу. Петр Александрович постоянно напоминал нам, что оперативное вмешательство — это всегда травма, наносимая больному. Конечно, в ряде случаев она единственный путь к спасению жизни. Но хирург должен стремиться к тому, чтобы травма была минимальной. Отсюда вывод: чем меньше длится операция, чем меньше больной находится под наркозом, тем лучше для него. Сам Петр Александрович производил операцию в максимально короткое время. Так, например, неосложненный аппендикс он удалял за 10—15 минут. Со стороны казалось, что по ходу операции не было ни трудных моментов, ни сложных ситуаций. Только изредка сказанное им словечко «интересно...» указывало на то, что не все было так просто, как казалось. Со временем мы поняли, что слово это означало: «А ведь я как будто начинаю волноваться!»

Профессор любил, когда после занятий студенты его провожали. Ходил он быстро, и мы с трудом поспевали за ним. По дороге расспрашивал, как мы живем, где проводим свободное время, бываем ли в театрах, что читаем. Он любил шутку, крепкое словцо, удачное выражение.

Однажды у Герцена образовался на шее карбункул. Врач, приехавший из провинции на практику, благоговейно спросил именитого профессора:

— Чем вы его лечите?

Петр Александрович иронически ответил:

— Презрением!

В этой шутке была доля правды. Ведь тогда наука не располагала надежными средствами борьбы с микроорганизмами, которые вызывают развитие гнойных процессов, в том числе и карбункула. Антибиотики появились только в сороковых годах. Главным



Профессор
П. А. Герцен.

средством лечения гнойных заболеваний было хирургическое вмешательство.

Так случилось, что в студенческие годы судьба свела меня и с другими выдающимися представителями отечественной медицины, крупнейшими учеными, педагогами, общественными деятелями. Общение с ними обогатило меня на всю жизнь, и я попытаюсь рассказать о некоторых из них читателям «Юности». Это необходимо, потому что они во многом способствовали рождению и становлению советской медицинской школы, завоевавшей признание и уважение во всем мире.

В то время московские врачи шутливо говорили: «Если нужно показать больному профессора, то пригласить следует Максима Петровича». И не удивительно. Руководитель клиники факультетской терапии М. П. Кончаловский с первого взгляда, уже одним своим внешним видом покорял людей. Высокий, стройный, с правильными чертами красивого лица и окладистой русой бородой, он удивительно благотворно влиял на больных.

Кончаловский был истинным клиницистом. Он понимал человеческий организм как единое целое. Большое значение при определении причин заболеваний он придавал влиянию внешней среды и неустанно подчеркивал преимущества советского строя, который позволяет устранить целый ряд вредных внешних факторов, вызывающих многие болезни. Исключительно важную роль он отводил профилактическому направлению советского здравоохранения.

— Каждый человек болеет по-своему, — говорил Максим Петрович. — И разные причины вызывают его заболевание. Ни в одном учебнике или монографии их не изложить. Лекции, подкрепляемые большим демонстрационным материалом, — единственный способ передать молодому поколению врачебную эрудицию.

Студентам было известно, как серьезно и обстоятельно Максим Петрович готовился к лекциям. На кафедре знали, что никакие вопросы перед лекцией разрешать с Кончаловским нельзя — так он волновался. К своим лекциям Максим Петрович привлекал клинических ординаторов и даже студентов, с которыми предварительно «репетировал» их сообщения. Каждый из нас с трепетом ждал того момента, когда ассистент предупреждал: «На предстоящей лек-

ции вы будете докладывать больного». Историю болезни и все данные, касающиеся обследования, надо было знать назубок. В кабинете профессора отрабатывалась форма доклада, давались советы, как нужно вести себя в присутствии больного, особенно когда заболевание было тяжелым, трудноизлечимым.

Очень многому студенты учились у профессора и во время обхода палат. Кончаловский был ласков, тщательно осматривал больных, был внимателен к их жалобам, но никогда не позволял себе в присутствии больного поправлять лечащего врача или отменять его назначение. Если возникала такая необходимость, он делал это «по ту сторону палаты». Он учил нас бережно относиться к больному и не травмировать его психику неосторожным словом.

Кончаловский неукоснительно требовал, чтобы ординатор знал о своем больном все. Даже нам не разрешалось пользоваться существовавшими тогда формами историй болезни, а предлагалось писать их более подробно и обстоятельно, развивая и анализируя. Мы часами просиживали у постели больного и тщательно собирали все данные по поводу его заболевания.

Любимой для М. П. Кончаловского была работа над патологией органов мало изученной тогда брюшной полости. Он немало сделал в изучении патологии органов пищеварения: классически описал язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, подчеркнув наличие функциональной стадии этого заболевания — «прелюдии язвы», которая тогда была накрепко забыта клиницистами. Максим Петрович первым в мировой науке охарактеризовал язвенную болезнь как общее заболевание организма, а не как местный процесс. В развитии язвенной болезни он придавал большое значение неблагоприятным условиям жизни, отрицательным эмоциям и сильным нервным переживаниям. Эти положения сохраняют свою силу и в настоящее время.

Максим Петрович не переставал радоваться сближению между хирургами и терапевтами, сглаживанию ранее существовавшего «антагонизма» между ними. Он не устал повторять нам: «Хирург обязан быть хорошим терапевтом. Ведь операция — это только этап, эпизод в общем лечении больного».

В то время мало что было известно о сущности и возникновении такой болезни, как ревматизм. Не было и надежных средств лечения ревматизма — они появились намного позже. Максим Петрович сумел привлечь внимание врачей и ученых — представителей различных клинических и теоретических медицинских дисциплин — к ревматизму как к большой социальной проблеме.

Нельзя не сказать и еще об одной стороне деятельности М. П. Кончаловского. Максим Петрович принимал самое активное участие в создании системы советского здравоохранения. При его непосредственном участии перестраивалась организация курортного лечения. Он явился также одним из пионеров и энтузиастов внедрения в широкую практику переливания крови.

В течение ряда лет Кончаловский был бессменным консультантом и председателем научных конференций Института переливания крови, сыгравшего огромную роль в годы Великой Отечественной войны. Вместе с А. М. Горьким он был инициатором создания в Москве Института экспериментальной медицины.

Кстати сказать, организатором и первым директором Института переливания крови был известный врач и философ А. А. Богданов. Исследования, начатые в институте, дали основание Богданову сделать вывод о положительном влиянии переливания крови на организм человека при разных заболеваниях, в

том числе и при сильных переутомлениях. Он считал, что переливание крови оказывает пользу, повышая жизнеспособность организма и отдалая, таким образом, срок старческого увядания, которое для современного человека наступает слишком рано.

Увлечшись этой идеей, Богданов решает доказать ее правильность на себе и делает 11 обменных переливаний крови, то есть свою кровь отдает больным, а от них столько же крови вливает в свой организм. Двенадцатое переливание, проведенное 24 марта 1928 года, оказалось для него роковым. Но сама смерть А. А. Богданова явилась образцом редкого мужества и безграничного служения науке. Во время развития тяжелого осложнения Богданов вел тщательное самонаблюдение за признаками и симптомами болезни, пока сознание не покинуло его.

Любому врачу известно, как важно для практической деятельности хорошее знание таких клинических предметов, как психиатрия и нервные болезни. А знаменитый профессор Петр Борисович Ганнушкин так увлекательно читал нам лекции по психиатрии, так интересно проводил разбор больных, что, несмотря на острую нехватку времени у «обеих сторон», мы упростили его дать нам несколько дополнительных занятий. Согласитесь: нужно произвести на студентов огромное впечатление, чтобы вызвать такую просьбу.

П. Б. Ганнушкин еще в дореволюционные годы принимал активное участие в организации психиатрической помощи в стране, проявлял большой интерес к проблемам социальной психиатрии. Талантливый ученый, он уже в ранний период своей деятельности вместе с передовой частью научной молодежи встал против старых, реакционных представлений о неизлечимости психических заболеваний.

Иногда нам удавалось присутствовать на его вечерних неофициальных обходах. Они не носили адми-

Профессор
М. П. Кончалов-
ский.



нистративного характера, не были проверкой работы персонала клиники. Обход посвящался беседам с больными «на свободе», когда Петру Борисовичу никто не мешал и не нужно было куда-то спешить. С одним больным он разговаривал до часа, другому лишь задавал два-три вопроса. Одного слушал молча, не прерывая, другого поправлял, останавливал, задавал вопросы. Ганнушкин почти никогда не спра-

шивал: «Как вы себя чувствуете?» Казалось, он ведет разговор на отвлеченные темы, расспрашивает о делах в учреждении, где работает больной, говорит о литературе, искусстве, о последних событиях. Но мы понимали, что все эти данные позволяли профессору судить о границах психического расстройства больного.

Для профессора Ганнушкина как клинициста было характерным то, что он не придавал чрезмерно большого значения отдельным симптомам, характеризующим ту или иную форму болезни. Пациент был для него своеобразной книгой, каждая страница которой содержит что-то новое и важное.

Разборы больных на клинических конференциях были также далеки от какого-либо шаблона. Профессор старался беседовать с ними, как на амбулаторном приеме. В результате клиническая картина заболевания становилась ясной и для нас, студентов.

Наряду с воздействием словом и медикаментами в клинике Ганнушкина широко применялась трудовая терапия. И на наших глазах посильный труд постепенно помогал многим больным выйти из тяжелого состояния, и они возвращались к общественно полезной деятельности.

— Умение беседовать с психическими больными, — учил Ганнушкин, — дается не только знаниями, опытом, но и определенными данными врача-исследователя, иногда даже его интуицией. Есть очень опытные, знающие психиатры, которым не дается это умение говорить с больными, расположить их к себе.

При беседе с Ганнушкиным больной чувствовал и понимал, что общение с ним — для профессора нечто большее, чем служебная обязанность, что рассказ больного интересен для Ганнушкина и даже увлекателен. Ганнушкин не скрывал своих чувств, он смеялся, сожалел, сердился, переживал все перипетии рассказа, и это располагало к нему больных, они полностью раскрывались в беседе с ним. Великий знаток человеческой души, чуткий, внимательный, необычайно простой, он неотразимо действовал даже на лиц, недоброжелательно к нему относившихся. Не случайно личность Ганнушкина нашла отражение в ряде художественных произведений. Ганнушкиным навеян Леониду Леонову образ психиатра в романе «Вор». Прообраз психиатра Титанушкина в «Золотом теленке» — тоже Ганнушкин. С большой теплотой Петр Борисович описан и в мемуарах Михаила Чехова. На лекциях Ганнушкин неоднократно подчеркивал трудности распознавания психических болезней. Нет ни одной психической болезни, говорил он, которая в определенный период своего развития не находилась бы на грани между здоровьем и болезнью. Даже на пути нормального развития человеческая личность претерпевает коренные изменения и делается иной раз неузнаваемой. Если бы каждая из фаз жизни человека могла воплотиться в виде различных индивидов, которых можно было бы собрать вместе, они составили бы крайне разнообразную группу, нередко держались бы самых противоположных взглядов, питали бы глубокое презрение друг к другу и скоро разошлись бы без малейшего желания сойтись вторично. Естественно, что при патологических условиях человеческая личность претерпевает еще более глубокое изменение.

Ганнушкин любил и уважал людей, и люди любили и уважали его.

Для тех из нас, кому не пришлось принять участия в гражданской войне, была несколько неожиданной первая лекция по травматологии профессора Н. Н. Приорова, — вернее, его вступительное слово.

— Рано или поздно, а вам, дорогие друзья, при-



Профессор
Н. Б. Ганнушкин.

дется заняться нашей дисциплиной, — сказал он. — Помните: мы строим Советское государство в капиталистическом окружении, и провокации неизбежны. Ну, а если будет война... Вот тогда-то вы будете лихорадочно вспоминать все, чему вас учили: хирургическую обработку ран, технику ампутации конечностей, наложение гипсовых повязок, шинирование и, наконец, протезирование. Поэтому-то, коллеги, вам надо хорошо знать мой предмет!

Николай Николаевич много занимался вопросами военно-полевой хирургии и санитарной тактики. Он считался пионером, основоположником протезирования, одним из видных специалистов в области лечения повреждений опорно-двигательного аппарата. Еще в 1921 году на него была возложена организация лечения инвалидов первой мировой и гражданской войн. Тогда же он создал Научно-исследовательский институт по вопросам травматологии и ортопедии, впоследствии ставший научно-методическим центром для всей страны.

Авторитет профессора как хирурга-травматолога был настолько велик, что, когда надо было организовать квалифицированную хирургическую помощь раненым в боях на Халхин-Голе, а затем в период войны с белофиннами, это ответственное задание было поручено Н. Н. Приорову.

Но, честно говоря, мы, к сожалению, все же не задумывались тогда всерьез о том, что когда-нибудь нам действительно понадобятся знания по травматологии.

«Камнем преткновения» для студентов третьего курса была фармакология — наука о действии на организм различных лекарств. Это трудный для усвоения и запоминания предмет. Мало было знать механизмы действия веществ, требовалось еще удерживать в памяти десятки рецептурных прописей лекарств, доз препаратов, применяемых при определенных заболеваниях.

И все же нас привлекали в фармакологию те большие возможности, которые она предоставляла врачу: управлять функциями органов и систем органов с помощью лекарственных средств. Известно, что одни вещества угнетают или возбуждают высшую нервную деятельность, другие устраняют боль, третьи

стимулируют деятельность сердца, понижают или повышают артериальное давление — и так далее.

Помнится, большое впечатление произвела на нас лекция, на которой демонстрировался опыт с регистрацией артериального давления у собак. Водяной столб в манометре, соединенном с сонной артерией животного, пульсировал в такт с сокращениями сердца. Давление было низким и продолжало падать. В этот момент собаке внутривенно был введен адреналин — препарат, суживающий кровеносные сосуды. И через несколько секунд давление стало стремительно повышаться. Сердце стало работать чаще и эффективнее.

Лишь в середине прошлого века с помощью наркотиков впервые стали обезболивать операции. Основоположник отечественной фармакологии академик Н. П. Кравков первым предложил наркотик для внутреннего наркоза. В то время во всем мире внутривенный наркоз называли «русским наркозом». В начале нашего столетия были получены средства для местного обезболивания. Эти крупные открытия определили дальнейшее развитие многих областей медицины. До введения их в практику больные во время операции испытывали жесточайшие боли и нередко гибли от них.

В наше время операции проводят с помощью наркотиков и антисептиков при полном обезболивании. Выделилась самостоятельная наука — анестезиология, занимающаяся всеми вопросами, связанными с регуляцией основных функций организма во время и после операции, причем и в данном случае основная роль принадлежит лекарственным веществам.

Миллионы человеческих жизней были спасены после того, как в медицинской практике стали применяться антимикробные средства. Сначала появились сульфаниламиды (белый стрептоцид и его аналоги), а затем могущественные антибиотики. Эти вещества успешно «воюют» против микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания.

На лекции по фармакологии опыты по местному обезболиванию проводили на студентах-добровольцах. Лектор булавкой проверял болевую и тактильную чувствительность поверхности языка. Затем язык последовательно посыпали солью или сахаром. Убедившись, что все виды чувствительности у нашего товарища «на высоте», лектор смазывал язык местным анестетиком — кокаином и через несколько минут снова проверял чувствительность. Оказывалось, что боль от укола отсутствует полностью, сохранялось лишь ощущение прикосновения булавки.

Для проверки вкусовой чувствительности на язык насыпали белый порошок. Так как студент сидел на стуле с высунутым языком, профессор просил его поднять левую руку, если будет ощущение соленого, и правую, если испытуемый почувствует вкус сахара. Студент несколько мгновений размышлял, а потом отрицательно качал головой. Чувствительные окончания, ведающие вкусом, были блокированы кокаином. Между прочим, как выяснилось, для большей убедительности эксперимента и чтобы исключить возможность фантазии со стороны подопытного, на язык ему вместо соли или сахара был насыпан хинин, обладающий очень горьким вкусом.

Не сомневаюсь, что этот занятный опыт не раз вспоминали все студенты, которым пришлось впоследствии иметь дело с местным обезболиванием.

Нас поражал очень высокий темп развития фармакологии. Каждый год появлялись новые препараты, а иногда и целые группы веществ с новым механизмом действия, и врачам, особенно молодым, когда им приходилось иметь дело с конкретными заболе-

ваниями, бывало нелегко выбрать из громадного арсенала препаратов самые эффективные лекарства.

На кафедрах третьего курса мы познакомились со злокачественными опухолями, с гнойной инфекцией и своими глазами увидели те страшные разрушения, которые вызывают они в органах и тканях. Патологическая анатомия наглядно показала, как выглядят под микроскопом клетки рака и других злокачественных новообразований.

Возбудителей гнойной инфекции тоже оказалось немало. Один микроб вызывает развитие абсцесса или флегмоны, другой — рожистое воспаление, а третий — газовую гангрену. А как они выглядят, чем отличаются один от другого, мы узнали на кафедре микробиологии.

На занятиях по микробиологии мы поняли, почему необходимо строго соблюдать методы обеззараживания операционного поля, рук хирурга, инструментария, перевязочного материала, белья и всего того, что связано с проведением хирургической операции. Это было очень важно, так как некоторым из нас предосторожности порой казались излишним пережитком, данью традиции, чуть ли не колдовством.

На кафедре микробиологии мы, третьекурсники, стали серьезно задумываться о своей будущей специальности. Случилось это благодаря огромному впечатлению, которое произвела на нас работа группы студентов-старшекурсников в научном кружке. Их было немного, человек 10—12, но они были энтузиастами. Кружковцы поразили нас навыками пользования тончайшими инструментами над огнем спиртовой горелки. Им была доверена смесь очень опасных микробов: брюшно-тифозной палочки, дизентерийной и кишечной. Надо было выделить чистые культуры из этой смеси, причем не с помощью методик, описанных в учебниках, а более сложных, например, капилляризационным методом. И на наших глазах студенты-кружковцы, необыкновенно ловко и квалифицированно манипулируя пробиркой со смесью, разделяли микробов.

Практиканты, конечно, видели, какое впечатление на нас производят их «чепуховые опыты», как они говорили, немного рисуясь. В конце концов они пригласили нас в свои «боксы» посмотреть совсем уже невероятные эксперименты. С тех пор прошло уже больше четырех десятилетий, но я и сейчас не забыл, в какой священный трепет вогнали нас эти их опыты: в самом деле, студентам-кружковцам с кафедры профессора И. М. Великанова надо было с помощью клизмы, именно клизмы, заразить вшей риккетсиями — микроорганизмами, вызывающими заболевание сыпным тифом. И они ухитрились под лупой ставить за час клизмы 150—200 вшам! Это уж было где-то близко к мастерству сказочного тульского кузнеца Левши, который сумел подковать «аглицкую» блоху.

Не удивительно, что некоторые из этих студентов, увлекавшихся тогда микробиологией — А. К. Шубладе, М. Н. Соколов, М. П. Чумаков, О. П. Петерсон и другие, — стали впоследствии крупными специалистами по антибиотикам, риккетсиологии, вирусологии, превосходно владеющими сложными и опасными для жизни приемами исследования. Их имена широко известны теперь в научном мире.

Сейчас, вспоминая все это, я снова и снова думаю о том, как важно для будущего ученого участие в работе студенческого научного кружка. Ведь это первый, но очень важный для молодого человека шаг в науку.

Занятия микробиологией не изменили уже принятого мною решения стать хирургом, но благодаря им я усвоил и осознал истину: если хочешь стать настоящим специалистом, начинать нужно еще на студенческой скамье.

На Западе говорят, что время — деньги. Можно перефразировать и так: время вообще не имеет цены. Особенно для будущего врача, когда опыт даже одного часа, одного дня может спасти жизнь человека.

ШКОЛА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Все свободное от занятий время московского студенчества принадлежало общественной жизни. Она стала для нас потребностью...

Наш «штаб» — комсомольское бюро — помещался тогда в старом здании университета со стороны улицы Грановского. Дверь в комнату была всегда открыта. Сплошной стеной стоял здесь табачный дым.

Теперешним студентам трудно представить себе атмосферу бурных 20-х годов. Отличительной чертой ее был, пожалуй, всеобщий, острый интерес юношества к политике. Причем это была не любознательность человека со стороны к происходящему, а прямая горячая заинтересованность самих участников исторических событий. Это было время горячих споров с троцкистами и другими уклонистами о путях дальнейшего развития Советского государства.

На комсомольских собраниях шли горячие дискуссии: можно ли построить социализм в одной стране, разумно ли все силы бросать на развитие тяжелой индустрии, как укреплять союз рабочих и крестьян.

Троцкисты и их ставленники в студенческой среде утверждали, будто без предварительной победы пролетарской революции на Западе победа социализма в нашей стране невозможна. Нападали на принцип демократического централизма, домогались свободы фракционной борьбы в партии. Считая, что крестьянство будто бы является реакционной силой, борющейся против социализма, они вели линию на разрыв союза рабочих с трудовым крестьянством.

Троцкисты всячески заигрывали с молодежью, демагогически объявив ее «барометром» партии; всеми средствами они пытались увлечь за собой учащихся, сбить их с ленинских позиций. Надо признать, что поначалу им удалось посеять сомнения среди некоторой части студентов. Однако поддержки большинства молодежи демагогические призывы троцкистских крикунов не встретили.

Наши комсомольские собрания проходили обычно в Коммунистической аудитории — одной из самых больших в университете. Здесь часто выступал секретарь Московского городского комитета комсомола, впоследствии генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев. В теплое время года ходил он обычно в клетчатой рубашке с засученными рукавами. Говорил, слегка картавя, очень темпераментно, привлекая внимание к наиболее важным положениям энергичным взмахом руки.

Мне вспоминается одна зажигательная его речь. Он говорил, что вытесняемые с последних позиций капиталистические элементы отчаянно сопротивляются. Прекрасно сознавая, что будущее с теми, с кем пойдет молодежь, они ищут (и порой находят) лазейки к ней, пытаются опутать ее паутиной своего влияния. Противоречия социалистического строительства и трудности, через которые нам временами приходится пробираться, — вот на чем стремится сыграть классовый враг, делая ставку на молодежь.

Выступления вожака московского комсомола вызвали в зале оживленную реакцию. Случалось, подголоски троцкистов пытались его прервать: выкрикивали свои лозунги, стучали ногами. Но их быстро приводили в чувство сами студенты, а если крикуны упорствовали, то выводили вон.

Среди некоторой части студентов находили свое

отражение и взгляды правых капитулянтов, выступавших против высоких темпов социалистической индустриализации страны, против коллективизации сельского хозяйства. В трудные дни, когда накал страстей на собраниях доходил до предела, пламенные речи Александра Косарева имели особенное значение. Мы жадно внимали его горячим призывам не поддаваться фальшивым доводам капитулянтов, стряхнуть обывательщину, бороться за генеральную линию партии.

И все же во второй половине 1927 года обстановка в комсомольской организации МГУ обострилась. Оппозиционный угар, охвативший часть студенчества, вызвал тревогу в комсомольской ячейке. Комсомольские собрания, заседания университетского и факультетских бюро длились по нескольку дней.

В октябре 1927 года в «Правде» были опубликованы тезисы по вопросам работы XV съезда партии. Центральный Комитет объявил по ним общепартийную дискуссию. За политику ЦК партии проголосовало более 99 процентов коммунистов! Троцкисты и зиновьевцы оказались «генералами без армии».

Троцкисты попытались, правда, однажды выступить открыто — во время Октябрьских праздников 1927 года, — но дело кончилось совсем плачевно: студенты их попросту основательно вздули. Праздничная демонстрация прошла, как всегда, сплоченно.

По отношению к заядлым уклонистам комсомольское бюро было вынуждено принять суровые меры: их исключили из рядов ВЛКСМ. Те, кто осознал свои ошибки и отошел от оппозиции, через несколько месяцев были восстановлены в комсомоле.

Нередко в Коммунистической аудитории перед студентами выступал М. И. Калинин. Михаил Иванович говорил о самых жгучих, животрепещущих вопросах. Речи его были свойственна такая покоряющая ясность, непоколебимая убежденность, которая дается только человеку, умудренному долголетним опытом революционной борьбы. В ней не было ничего расчитанного на внешний эффект, хотя говорил он на редкость образно и как-то очень по-своему. Он скорее беседовал с аудиторией, нежели выступал перед ней. Здесь была и критика в наш адрес, и дружеские советы опытного пропагандиста-организатора, и какая-то очень теплая, поистине отеческая забота о молодых.

Когда будете работать с массами, никогда не следует кичиться своей культурностью. Надо говорить открыто, прямо, подразумевая, что это одинаково с вами здравомыслящие люди, могущие так же умно решать вопрос, как сам докладчик и автор, — советовал нам Михаил Иванович. Он не устал подчеркивать, что формирование нового человека, строителя социалистического общества, должно гармонически и естественно сочетать в себе уважение к труду, стремление к приобретению профессиональных знаний с интересом к общественной работе.

— Мне могут задать вопрос, — говорил Михаил Иванович: — «Ну, а что должен делать врач в первую голову — быть хорошим врачом или врачом по средственным, но хорошим общественником?» Тут нужно сказать, что общее влияние врача будет расти с его профессиональным влиянием. Чем он больший специалист в своей области, тем большим авторитетом он будет пользоваться у населения и как общественник. Это вполне естественно.

Дружеский совет Калинина был сделан как нельзя более своевременно, так как многие студенты (и не только медики) ушли с головой в общественные комсомольские дела и забросили учебу.

На этих товарищей выступление Михаила Ивановича действовало отрезвляющим образом.

В университетском бюро комсомола были тогда и

студенты-медики: Маруся Глебова, Ольга Улнт и я. Возглавлял бюро тоже медик Василий Иванов, в недавнем прошлом рабочий Гусь-Хрустального фарфорового завода.

Медики активно участвовали в субботниках по разгрузке эшелонов с хлебом и овощами. Рабочих рук не хватало, и городские партийные и комсомольские организации часто обращались за помощью к студентам.

Заводилой среди нас была Маруся Глебова — черноглазая, круглолицая, живая девушка, бывшая работница текстильной фабрики.

Выходили на работу всем курсом. Поблажек никому не давали. Помню, как-то двое студентов 4-го курса заявили, что не могут разгружать вагоны из-за опасения повредить руки — они ведь собирались стать хирургами. Ребята так дружно их высмеяли, что им ничего не оставалось, как присоединиться к добровольным грузчикам.

Бывало так: только кончим разгружать эшелоны с овощами и зерном, а тут уже возникла нужда расчистить железнодорожные пути от снега. И работа продолжалась до глубокой ночи.

Во время одного из субботников произошла неожиданная встреча. Я раздавал ребятам инструменты и вдруг вижу: идет по направлению ко мне кто-то очень знакомый, в ботиночках и легком пальтишке, — это в дикий-то морозище! Я так и опешил: брат Павел! Оказывается, он только что приехал в Москву на курсы по повышению квалификации учителей, поселился в общежитии пединститута. И в первую же ночь их всех подняли на субботник.

В стране началось решительное наступление на неграмотность и малограмотность, доставшиеся нам в наследство от царской России. Поголовное обучение грамоте партия рассматривала как важнейшую государственную задачу. Тысячи и тысячи людей — подростков, стариков, женщин — выводили на доски: «Мы не рабы...», «Рабы не мы...».

Теперь после занятий редко кого из студентов можно было застать в общежитии. Мы разъезжались по предприятиям района и до позднего вечера вели занятия в кружках ликбеза. Эта работа требовала много времени, сил, упорства. Но зато, когда через год состоялся выпуск кружковцев и взрослые люди благодарили нас, мы были на седьмом небе.

Страна приступила к созданию авиационной промышленности. И это не могло пройти мимо комсомола. Помню, на свои деньги мы решили построить самолет — «Первый университет». В университетской газете тогда нередко можно было прочесть, например, заметки подобного содержания: «По вызову тов. Андреева, студента 2-го курса медфака, с 25 ноября я бросил курить. Деньги в сумме 2 р. 50 коп., сэкономленные в течение месяца на курении, вношу на самолет «Первый университет» и призываю последовать моему примеру студентов 3-го курса медфака».

Тогда же у нас родилась новая форма борьбы с бюрократизмом, равнодушием, кумовством — «легкая кавалерия», та самая «легкая кавалерия», о которой Косарев говорил: «Народ все отважный, горячий и преданный своему делу. «Легкая кавалерия» без мандатов рыскает по всем нашим учреждениям, выявляет бюрократов и бесхозяйственников, головотяпов и лодырей, приносит большую пользу РКИ».

Для «легкой кавалерии» не существовало деления задач на большие и малые. Когда, например, было обнаружено, что в одном из общежитий затягивается ремонт и работы выполняются крайне недобросовестно, штаб выявил виновных и настоял на том, чтобы ректорат строго наказал их. «Легкая кавалерия» держала под контролем работу стипендиальной комиссии, столовых, помогала устроиться в общежитии нуждающимся.

Деятельность «легкой кавалерии» привлекла внимание Владимира Маяковского. В результате родился образ комсомольца Велосипедкина в его знаменитой «Бане».

Конечно, нынешним студентам некоторые эти дела могут показаться обидными. Но именно так начинали складываться те общественные традиции, многие из которых живы и сегодня.

В 1929 году на основе решений XV съезда партия практически приступила к осуществлению ленинского кооперативного плана. Предстояла огромная работа по перестройке сельского хозяйства на социалистический лад. В сельские районы страны вместе с коммунистами выезжали и студенты-комсомольцы, помогая агитировать крестьян за колхозы.

В комитете ВЛКСМ чувствовался какой-то особенный подъем, собранность, серьезность. Круглые сутки дежурили члены штаба по отправке комсомольцев в деревню. Здесь же комплектовались библиотечки, подбирались плакаты, вырезки из газет. Члены кружка художественной самодеятельности брали с собой музыкальные инструменты — баяны, гитары, мандолины, балалайки.

Группа студентов-медиков была направлена в отдаленные районы Московской области. Там они вели агитационную работу и одновременно оказывали медицинскую помощь населению. Такое сочетание работы врача и пропагандиста открывало нам души людей. Ну, а если студент-медик был выходцем из деревни и хорошо знал специфику сельского труда, — успех был полный.

Жителям села Ивантеевки полюбился комсомолец-активист нашего института Анатолий Федоров. Начитанный, хорошо «подкованный» политически, он мог ответить на любой сложный вопрос, умел убедительно показать преимущества коллективного хозяйствования.

Кончится собрание, и Анатолий идет по домам — навещать своих больных, а заодно вести беседу по душам.

Около года в одном из глубинных районов работал Николай Маслов. Его так полюбили крестьяне, что написали в вуз письмо с просьбой разрешить им избрать Николая председателем колхоза. Мы приехали в этот колхоз на уборку урожая и сразу поняли, откуда такая любовь и уважение. Целый день Николай пропадал в поле, а по вечерам вел прием в больнице. Он не гнушался никакой работой: вывозил навоз на поля, становился за плуг, косил траву, не отставая от опытных косарей. Когда кончились осенние работы, Николая Маслова провожало все село, как близкого, родного человека. Добавлю, что впоследствии хирург из него вышел отличный.

Многие из нас попали в деревне в сложную обстановку. С одной стороны, в стране появлялись уже целые районы сплошной коллективизации — свидетельство исторического поворота основной массы крестьян к социализму. С другой стороны, не дремали, как известно, кулаки — совершали поджоги, убийства из-за угла, вели бешеную агитацию против колхозов...

«КОММУНАРЫ»

В нашу студенческую жизнь постоянно врывалось что-то новое. Шла реформа высшей школы, и то и дело, порой без достаточного на то основания, одна за другой изменялись программы, учебные планы, методы обучения.

Некоторое время мы учились по печальной памяти бригадному методу: знания студентов оценивались по успеваемости академической группы. Студенту достаточно было присутствовать на практическом заня-

1928 г. Снимок сделан во время заседания комсомольского бюро медицинского факультета 1-го МГУ. В центре сидит В. В. Кованов.



тии: это уже обеспечивало ему зачет. Экзаменационные оценки по предмету выставлялись на основании собеседования профессора или доцента с группой в целом. Но этот «прогрессивный» метод, к счастью, продержался недолго. Вновь были введены семестровые и курсовые экзамены по основным предметам. Перед экзаменатором была уже не группа, а один студент, и знания его проверялись по всем статьям.

...В бурные годы первой пятилетки вся страна стала гигантской стройкой. В этих условиях, конечно, приходилось мириться со многими лишениями и нехватками, особенно предметов первой необходимости и питания. Продукты и в нашу студенческую столовую поступали с перебоями, обычно довольствовались винегретом и кашей, но мы знали: партия поставила главной задачей в кратчайший срок заложить прочный фундамент социалистической экономики. И когда рабочий класс выдвинул лозунг «Пятилетку — в четыре года!», мы дружно решили, что не имеем права оставаться в стороне. После горячих обсуждений единогласно вынесли решение: выполнить учебную программу не в пять лет, а в четыре! Наш курс окончил институт за четыре с половиной года.

В 1929 году медицинский факультет выделился из состава университета в самостоятельный 1-й Московский медицинский институт. Тогда же нам были переданы и общежития на Малой Пироговской улице и на Зубовской площади. У меня появилась возможность поселиться в общежитии вместе с товарищами.

Жили мы по 3—4 человека в комнате. Столовой поначалу в институте не было. Студенты, проживающие в общежитии, решили объединиться и организовать свою кухню и столовую, конечно, на полном самообслуживании: дежурили, покупали продукты, стряпали нехитрый обед по очереди. Потом была организована общестуденческая столовая. Так складывалась одна из форм организации студентов в единый коллектив. Однако, как полагал комсомольский актив, этого было недостаточно. Комсомолец считался в те годы своего рода зачинателем новых форм труда, быта, и мы этим очень гордились.

На строящемся в Нижнем Новгороде автозаводе комсомольцы создавали бригады-коммуны, брали на себя решение самых трудных задач, показывали пример нового, сознательного отношения к труду.

Нам очень хотелось последовать примеру рабочей молодежи — жить и учиться одной большой семьей. Подзадоривало и то, что студенты Плехановского института и Тимирязевской академии уже организовали у себя коммуны.

...Когда на стене кухни Пироговского общежития появилось маленькое объявление, приглашавшее студентов на собрание по вопросу об организации коммуны, на него сначала не обратили внимания. То ли потому, что объявление это затерялось среди десятка других, висящих на доске, то ли сказала сухая форма обращения. Тогда инициативная группа решила обойти комнаты и поговорить с ребятами неофициально, запросто. После этого и состоялось первое собрание будущих «коммунаров».

Идея организовать коммуну понравилась. Но споры начались, когда стали обсуждать вопрос: какой тип коммуны выбрать — Тимирязевской академии или Плехановского института.

Тимирязевцы обобществили все «материальные ресурсы» своих членов. В общий котел шли все доходы, начиная от стипендии. Обобществлению подлежали книги, одежда, белье, обувь... В Плехановском институте ограничились взносом каждого «коммунара» в размере 21 рубля. Остальные деньги, если, конечно, они были, оставались в его личном распоряжении, так же, как и учебные пособия, книги, носильные вещи.

Горячие головы склонялись в сторону «Тимирязевки», за «Плехановку» высказывались преимущественно «старики» — студенты старшего возраста. В результате в основу был положен устав тимирязевцев, но с определенными, вполне резонными поправками «стариков». Комсомольская организация института и профком пошли нам навстречу — отвели в Малопироговском общежитии отдельный «отсек», выделили комнату под красный уголок. В день Парижской коммуны состоялось официальное рождение «Пироговки», объединившей 26 студентов.

В нашем уставе было записано: все деньги сдаются в общую кассу, книги и учебники составляют библиотеку коммуны. Если «коммунар» должен помогать своей семье, то коммуна обязуется оказывать эту помощь из общих средств.

Режим дня у нас был строгий: в 7 часов утра — подъем, утренний зарядка, в 8 — завтрак, после лекций — обед в столовой и в 8 часов вечера — ужин, приготовленный дежурными «коммунарами», в красном уголке. После обеда — самостоятельные занятия.

Денежный фонд коммуны составлялся из стипендий и побочных заработков: одни «коммунары» разгружали вагоны, другие работали в театре в качестве рабочих сцены и т. д. Из общей кассы выделяли определенную часть на питание, транспорт, развлечения, походы в кино и театр. На оставшуюся сумму покупали книги, одежду, обувь, белье. Деньги на проезд хранились в консервной банке на столе в красном уголке, каждый брал сколько требовалось.

Ни старших, ни младших, ни начальников, ни подчиненных у нас не было, организаторские функции выполнял штаб, избираемый на полгода. В этом штабе по очереди работали все члены коммуны. Установилось правило: открыто говорить в глаза друг другу все, без обиняков и обид.

Бельевой шкаф был для всех один. И нередко возникали курьезы. Борис П., огромного роста парень, собираясь в баню, взял в шкафу пару белья, а потом, вымывшись, обнаружил, что оно на него не лезет. Пришел домой и устроил шум: «Кто надел мое белье?» Со смехом и шутками мы принялись искать виновника. Им оказался... самый маленький «коммунар» — Саша С.!

Все 26 «коммунаров» отлично учились, много читали, не упускали ни одной возможности послушать лекции А. Луначарского, Е. Ярославского, Н. Семашко и других видных представителей советской культуры. Каждый успевал при этом вести большую общественную работу: кто в комсомольском бюро, кто в профкоме или академических комиссиях. А во время каникул мы работали в пионерских лагерях, экспедициях, районных больницах...

Надо сказать, что мы не переоценивали идею студенческой коммуны. Хотя многое в ней было, несомненно, заманчиво, каждый все же понимал, что широкого распространения коммуны получить еще не могли. Но все полезное, что могла дать коммуна, мы взяли и даже почувствовали, что стали как-то лучше представлять себе коммунистические формы организации жизни.

У всех у нас была тогда одна мечта: поскорее включиться в какое-то большое, серьезное дело. Многие студенты-старшекурсники в летнее время и на зимние каникулы выезжали в Поволжье, где помогали врачам вести борьбу с трахомой. Малярийный институт направлял экспедиции в зараженные районы: вместе со специалистами отправлялись на ликвидацию очагов заболеваний и старшекурсники.

Впоследствии Михаил Чумаков и Иван Павлюченко в составе экспедиции, возглавляемой видным советским ученым, профессором Л. А. Зильбером, совершили поездку на Дальний Восток. После этого Миша Чумаков навсегда избрал вирусологию как основную специальность и добился в ней выдающихся успехов.

Ну, а мне посчастливилось на редкость. По заданию самого Ивана Владимировича Мичурина пришлось работать на Алтае в экспедиции по заготовке и сбору селекционного материала — семян плодовых и декоративных растений.

Экспедиция наша состояла из десяти пионеров-мичуринцев, вожатого, на котором лежали также обязанности завхоза, и двух сотрудников. Научным руководителем ее была профессор М. П. Нагибина, а меня утвердили начальником экспедиции.

Наряду с выполнением задания, полученного от Мичурина, мы должны были собрать маточные фор-

мы и семена морозостойких маков, крахмалосодержащих и других растений для Ботанического сада МГУ.

Первая остановка была в столице Ойротии, где мы приобрели двадцать выючных лошадей и весь необходимый для похода инвентарь. Здесь же заготовили продукты.

Через шесть дней во главе с двумя проводниками-алтайцами двинулись в путь. Предстояло пройти пятьсот километров по глухим горным местам вдоль реки Катунь и ее притоков. В тайге, раскинувшейся вдоль реки, таились несметные богатства ценнейшего для человека растительного сырья.

Гербарные папки быстро заполнялись разнообразными растениями, а дневники — подробным описанием каждого найденного вида и класса.

Наша экспедиция собрала 21 вид морозостойких ягодных растений, свыше 150 названий декоративных деревьев, кустарников и трав.

...Наступила пора государственных экзаменов. Тогда они не были столь серьезными, как теперь, но все же... Мы получали удостоверение на право врачевания, а комиссия по распределению тут же направляла одних на периферию, других — в лечебные учреждения Москвы. Ну, а некоторые студенты, работавшие в научных кружках, были рекомендованы в аспирантуру. Миша Шероватов, отлично занимавшийся по анатомии, остался в аспирантуре у профессора П. И. Карузина, кружковец Степаненко, пропадавший целыми днями в биохимической лаборатории академика В. С. Гулевича, был направлен к нему на кафедру. В дальнейшем из него вышел известный ученый-химик, обогативший науку рядом открытий. По его учебнику учатся теперь студенты фармацевтического и лечебного факультетов.

Оставили в аспирантуре по окончании института и Мишу Чумакова. Он был первым из нас, кто блестяще защитил кандидатскую диссертацию.

Вместе с группой вирусологов Чумаков выехал на Дальний Восток для изучения неизвестного тогда клещевого энцефалита. Там, в центре эпидемического очага, он обнаружил разносчика инфекции — таежного клеща. Но произошло непредвиденное: спасая от наводнения научные материалы — коллекцию инфекционных клещей, Михаил заразился энцефалитом и тяжело заболел. Одновременно с ним заболели и его помощники — фельдшеры Галя Уткина и Надя Каган. Были использованы все средства для их спасения, в том числе и сыворотка, полученная Михаилом от человека, переболевшего энцефалитом. Но ни героические усилия врачей, ни молодость не могли спасти жизнь Нади Каган и Гали Уткиной. Чумаков остался жив, но навсегда потерял слух и движение в правой руке. Железная воля, упорство и настойчивость взяли свое; талант ученого развернулся в полную силу. Вскоре мы узнали о том, что он открыл группу опасных вирусных лихорадок в ряде областей Советского Союза, а также сыграл большую роль в ликвидации у нас инфекции полиомиелита.

Профессор Михаил Петрович Чумаков — действительный член Академии медицинских наук СССР. Лауреат Государственной и Ленинской премий, он является подлинным героем советской науки.

Среди моих однокурсников многие стали известными учеными. Это профессора В. И. Вашков — микробиолог, Е. М. Белостоцкий — офтальмолог, Р. Д. Штерн — патологоанатом, И. В. Шмелев — хирург, О. В. Макеева — акушер-гинеколог. Имена этих моих однокашников широко известны и в нашей стране и за рубежом. Имена других известны «лишь» тысячам и тысячам людей, обязанных им своим здоровьем и жизнью. Но разве этого мало?



Вениамин
Смехов

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ЗАНЯТИЕ В МИРЕ...

(Записки молодого актера)

Рисунки
О. Киселева-
актера Театра
на Таганке.



1. ПРОЛОГ

Если прав был Шекспир и весь мир — театр, то стоит ли спрашивать кого-то: «Почему вы стали актером?»

Только-только у младенца пробьется сознание, вокруг него уже кудахчут озабоченно: в какие игрушки он играет? с кем он играет? хорошо ли играет?

Магазин «Детский мир» завален куклами-машинами для того, чтобы любой ребенок, утащив свою долю в свой дом, мог заиграться, и забыть про ужин, и не слышать вопросов взрослых: с кем он играет? хорошо ли играет?..

Весь мир — театр. «Детский мир» — театр. Мир малыша — театр.

У каждого своя дорога и свой вид транспорта. Но остановки бывают одни и те же. Поселок «Прятки», станции «Дочки-матери», «Казачьи-разбойники», разъезд «Тимур и его команда», города «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Война и мир», «Ревизор», «Доходное место», «Король Лир». И каждому — своя роль, свой выход, свои партнеры. И каждый норовит дернуть за крыло летучую спутницу актерской судьбы — удачу...

2. КОРНИ

Соберите всех актеров страны и спросите, где они учились. Самыми заносчивыми будут ответы бывших щукинцев. У нас лучшие выпускники: Симонов, Мансурова, Грибов, Марецкая, Завадский, Яковлев, Этуш, Борисова, Ульянов!.. У нас лучшие педагоги: Захава, Новицкий, Симолин, Беленький, Польша, Запорожец, Смоленский, Шлезингер, Цаплин, Бриндасова...

У нас высшего класса традиции: Станиславский + Вахтангов = любовь.

У нас наилучшая методика воспитания актеров.

У нас юмор высшего качества, дружба высшего качества, Арбат высшего качества...

Всякий приличный щукинец умрет, если не расскажет вам, что десять лет назад в училище одновременно служили: электроосветитель по фамилии Слепой, буфетчица Неелова и пожарник Горелов. Непременно добавит: и завхоз Майборода, хотя это уже не на тему.

Говорят, Эжен Делакруа жил только в домах под номером тринадцать, религиозно веря в счастливость этого числа. Наш институт имеет по улице Вахтангова этот счастливый номер дома (правда, официально пишется «12-А» — со скидкой на атеистов).

3. О ХОРОШЕМ

Важнейшие впечатления от актеров в моей жизни.

Пашенная в «Каменном гнезде»; Романов в «Детях солнца»; Ильинский во «Власти тьмы», Р. Симонов в «Филумене Мартурано»; Астангов в «Перед заходом солнца»; Блюменталь-Тамарина в фильме «Искатели счастья»; Смоктуновский в фильме «Девять дней одного года»; Полицеймако в спектакле «Лиса и виноград»; актеры в фильме Крамера «Корабль глупцов»; Мазина в фильме «Дорога»; Н. Засухин в «Ричарде Третьем» в городе Куйбышеве...

4. ТРУДНО КАЗАТЬСЯ ЛЕГКИМ

Великий скульптор не делал ничего великого, а всего-навсего «от глыбы камня отсекал все лишнее».

Великий поэт в годы высшей зрелости стремился к «неслыханной простоте».



И скульптор, и поэт, и Толстой, и Ван-Гог оставили после себя потомкам великие творения, а также право поговорить о трудностях, о тайнах их творчества и прочем.

Есть такое мнение, что великим был не Моцарт, а Сальери, поскольку он мучительно трудился, а Моцарту, счастливчику, все слишком легко давалось. Без труда. И Пушкину, от природы удачливому, тоже, мол, все без труда давалось.

Читаешь Пушкина, слушаешь Моцарта, глядишь на картины Ренуара, следишь за исполнением Рихтера или за игрой Чаплина — и всегда приходит ощущение, что им ничего не стоило создавать свои сонаты или сонеты...

Я не могу забыть Ильинского во «Власти тьмы», той волшебной легкости, с которой в меня перекочевали все увечья и неистовство его косноязычного Акима. И как будто было раз плюнуть Олегу Табакову, играющему сложнейший человеческий (и внутри и снаружи) сплав в спектакле «Современника» «Баллада о невеселом кабачке», — с такой легкостью он два часа забавляет и трогает зрительный зал.

Но чаще всего смотришь на сцену и горько сочувствуешь титанической трудности актерского дела.

5. ИЗОБРЕТАЮ ПАРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ

Вкусы есть разные. Дай бог им здоровья и числа, если они искренне и неглупо выражаются.

Я лично, если вспомнить все лучшее и округлить «десятичное до целого», хотел бы сказать следующее.

Самое лучшее искусство, по-моему, — это, во-первых, самое горячее искусство; во-вторых, это горячее искусство, которому предшествовал самый холодный расчет профессионала, и, в-третьих, это горячее искусство по холодному расчету в условиях самой большой свободы артиста. (Выражения «актер зажат», «мышечная свобода», «снять зажим», «освободить руки» и т. д. — эти слова употребляются в театре не реже, чем у кулинаров — «посолить», а у портных — «распороть».)

6. ВО-ПЕРВЫХ

При этом в понятие «горячее искусство» я помещаю обязанность актера быть человеком своего времени, его пристрастия в социальных и моральных драмах жизни — я имею в виду личность актера.

7. ВО-ВТОРЫХ

О холодном расчете профессионала. В ответ на нездоровое любопытство части зрителей деятели театра дружно ответили нездоровым гипнозом страшных слов: «вдохновение»... «перевоплощение»... «четвертая стена»... «особая чувствительность»... «тонкая нервная организация»... И вот в братской семье работают — скульпторов, скрипачей, поэтов, циркачей и прочих тружеников в поте лица своего — появляется магический образ Актера... Эдакое хрупкое создание. Божественный организм из нервов и чувств. Ранимая божья тварь, чудом не улетающая в облака. Непознаваемая штучка. Алхимик творчества. Деятель внутреннего сгорания. Ему — все можно.

...На моих глазах Николай Засухин два месяца из дня в день, не давая себе ни минуты (ни минуты!) отдыха, тренировался для роли Ричарда. Всем нам чего-то не хватает для своих образов. Ему же требовалось создать видимость легкости Ричарда на сцене. Ричарда хромящего. Ричарда горбатого. Ричарда с кривыми пальцами. Ричарда, произносящего труднейшие стихи молниеносно и внятно. И вот Засухин почти раздражал свою семью, своих друзей и сотрудников упрямым, нудным характером работы. Он двигался, садился и ложился спать горбатым, кривым, со скрюченными пальцами. Он бесконечно бубнил текст, приучая язык и губы, учась скорости речи в сочетании с ясностью мысли. Это и был холодный расчет профессионала. В итоге московские газеты и журналы изумленно писали о «чуде перевоплощения», о «вдохновенном исполнении»... Не помню только, что при этом делала «четвертая стена»...

Существует такое распространенное сравнение.

Пианист не выйдет к публике, если перед этим он ежедневно по четыре часа не тренировал пальцы — или он не пианист.

Балерина большую часть своей жизни занимается изнурительным индивидуальным тренажем — или она не балерина.

И только драматический актер, если его упрекнут в дурной форме, в несобранности или неряшливой речи, сам переходит в наступление. Он обвиняет зрителя в низкой культуре, режиссера — в деспотизме, драматурга — в бездарности... И самое главное, он заявит: «Я не виноват. Оно не пришло ко мне сегодня, не пришло Оно». Вероятно, вдохновение.

Актер Н. Губенко сознательно прошел ускоренную школу циркового мастерства, готовя себя для... драматических ролей. К сожалению, он с ними расстался. Сманила муза кинорежиссуры.

Актер В. Высоцкий для роли Галилея регулярным тренажем вырабатывал у себя физическую форму первоклассного спортсмена.

А Валерию Золотухину пришлось преодолеть сопротивление самой природы, прежде чем его больные ноги были натренированы до акробатического совершенства.

Актеров, требовательно и подвижнически относящихся к своей личной форме, к профессии, немало во всех настоящих театрах.

Тренированность актерской техники — речь, пластика, голос плюс ясная конструкция роли — ее место в спектакле, ее развитие, внешний вид персонажа — это и есть холодный расчет профессионала. А дальше так. По артериям схемы бежит кровь, оживляя и часто улучшая ее... И тем больше видимой легкости, чем более талантлив актер и чем больше он личность.

8. В-ТРЕТЬИХ

Об освобожденности актера на сцене. ...В самые первые дни театрального обучения студенты по команде педагога устраиваются кружочком по стульям.

«Соберите внимание на себя! Освободите левую ногу. Проверьте: подымите ее и бросьте на пол. (Раздается послушный грохот брошенных подметок и каблучков.) Так. Снимайте напряжение с правой ноги. Освобождайте спину, плечи, живот, руки...»

Через пять минут 20 ребят и девушек безвольно полулежат на стульях, а педагог-режиссер обходит их, подбрасывает «свободные» руки, ноги, головы... «Спину не освободила, Таня. Миша, ну-ка, сними зажим с пальцев»...

И все до одного первокурсники считают это занятие забавным и пустяковым.

И всех до одного их настигнет чаша актерского испытания: актерские слезы, актерские удачи, рецензии, гастроли, закулисная дребедень, актерское везение, актерская солидарность, счастье премьеры, актерская слава, но в итоге испытания будет нечаянная мысль: а ведь все сводилось к тому моменту, когда у меня по-настоящему «разжались» плечи, когда я освободился на сцене по-настоящему.

Вы смотрите спектакль. Вас раздражает неестественный тон героини. Вы ежитесь от глупых, неживых интонаций героя. И вы ставите диагноз: «Эта актриса глупа и бездарна, а этот актер безголосый и манерный».

Вы не поверите, но у них просто были зажаты руки, ноги и шея, и если бы не это, они бы так развернулись... Если бы...

И вот эта простейшая штука — свобода, она же создает максимальные сложности в театральной практике.

9. ЛЮБИМЫЙ ПРИМЕР

... **Н**икогда не забуду первого приезда в Москву Вана Клиберна. Возвышенного азарта его игры. Ликующего взгляда полумальчишки, полугения. Столбняка публики. И его особенного воцарения в консерватории не то за роялем, не то за пультом управления человеческим счастьем.

И не могу совладать с застрявшим в голове образом. Все пианисты, которых я видел-слышал до него, объединялись в образ человека, яростно высекающего искры у подножия огромного каменного фортепиано. А Клиберн сидел как бы над роялем, держа его где-то на коленке. Гигант-мастер и кроха-инструмент. Рояль восхищенно глазел на пианиста запрокинутыми черными зрачками белоснежных клавиш, «готовых и к смерти и к бессмертной славе».

Образ Мастера, превращающего даже крупный инструмент — пускай роман, пускай мост через Волгу, фасад здания, сцену театра — в послушную игрушку, властно заразного хозяина своего ремесла — я не могу от него отделаться.

...Но даже самое высокое мастерство в искусстве — это, по-моему, всего лишь превосходная степень того же преодоленного «зажима спины и левой ноги» Тани, студентки первого курса актерского факультета...

10. КОНЦЫ С КОНЦАМИ

Все театральные мастера, которых я так или иначе знаю, несмотря на их творческие и биографические различия: Товстоногов, Варпаховский, Рубен Симонов, Ефремов, Любимов, Эфрос, Фоменко, — в конечном итоге разными дорогами шли к одному и тому же результату: чтобы по сцене ходил актер, свободно и горячо распоряжающийся сюжетом, внешностью, чувствами и мыслями своего образа.

Маршруты всех театральных школ имеют одну точку пересечения или, если угодно, потрясения. Убежденные мхатовцы после «Филумены Мартурано» у отъявленных вахтанговцев: «Чудесный спектакль! Мхатовских кровей! Молодцы вахтанговцы!»

Ярые вахтанговцы после «Голого короля» в «Современнике»: «Вот играет Кваша! Сергачев! Евстигнеев! Чисто вахтанговские работы!...»

11. ЗА УПОКОЙ

... **П**роходит время. Увядают модные диспуты. Уже никто не спорит на тему, будет ли вытеснен театр кинематографом. Договорились, что не будет вытеснен. А я добавлю: и жаль, что не будет.

Только поймите меня правильно.

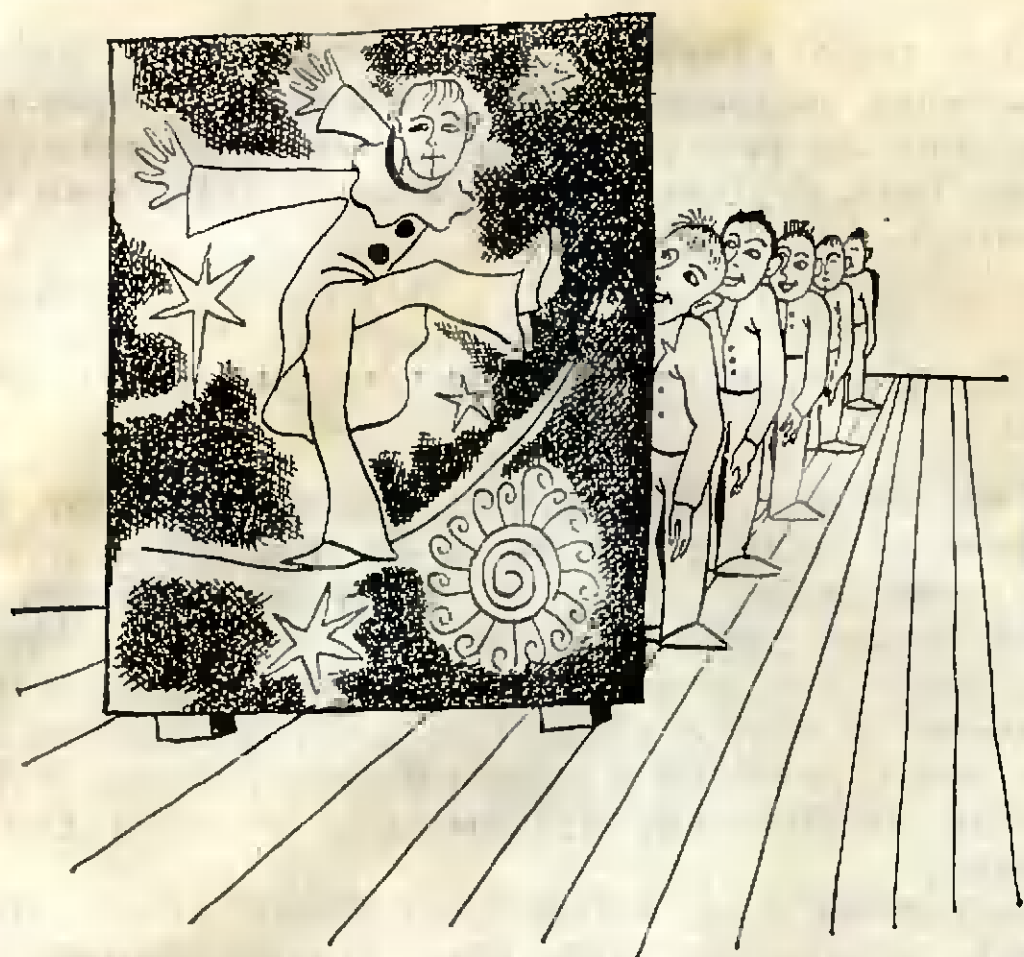
С любого вида искусства можно снять копию, не разрушающую основ данного чуда. Либо можно живьем сохранить оригинал. Все художники — от писателя до кинорежиссера — имеют право на бессмертие.

(Разумеется, многим «творцам» я бы не дал права и на рождение, но объективно бессмертие предпосылается искусству природой).

И только лишь искусство театра сиюминутно, зыбко, а от фиксации на пленке сразу тускнеет. Если на пленке — значит, кино, ну, полукино (еще хуже), ибо театр, лишенный эффекта рождения образов на глазах, — не театр. Не вчера и не завтра — только сегодня такая игра, такой смех, такие слезы, такой зритель... И это хрупкое соединение легкомысленно назвали Искусством, то есть обрекли на конкуренцию с бессмертной живописью Рафаэля!

В Бахрушинском театральном музее замечательные экскурсии рассказывают о великих спектаклях — о «Царе Федоре», «Принцессе Турандот», «Короле Лире»... Рассказы сопровождаются показом выцветавших фотографий, прослушиванием хриплых записей...

А в Пушкинском музее любой экскурсовод показывает творения Донателло, Микеланджело, Ренуара... И показы сопровождаются рассказом... О тайнах мастерства, о муках творчества, о кухне гения. А театр... Сколько ни бейся великий режиссер с великими артистами, как филигранно ни отделявай каждый звук, каждое движение на сцене — пусть родится самое прочное изделие театра, но увы! На сегодняшнем представлении у артиста Цыпкина болит голова, у осветителя Рыбкина скончалась бабушка, а в десятом ряду третьего яруса на сто девяносто девятом кресле сидит театрал Лапкин, но у него дикий



бронхит. Цыпкин недоигрывает, Рыбкин недосвечивает, а Лапкин перекашливает...

И сломлен театр с его прочной готовностью конкурировать с Рафаэлем...

...Хорошенький деревянный домишко с сенями и резными наличниками, а вокруг — стадо слонов-небоскребов, наращивающих свои этажи. Сегодняшний великий живописец автоматически занимает сто десятый этаж небоскреба Живописи. Нынешний великий музыкант прописывается на двухсотом этаже небоскреба Музыки...

И только нынешний Каратыгин снова-здорово селится в домишке, творит, горит и уступает свой первый этаж завтрашнему Щепкину... Помрет Щепкин, новому Качалову не будет времени увеличивать этажность, ему бы разогреть театр до щепкинских градусов, сотворить, сгореть и уступить место в порядке живой очереди новому Актеру.

Хорошенький деревянный домишко посреди небоскребов...

12. ВО ЗДРАВЬЕ

Каждую весну к подножию дома номер 12-А по улице Вахтангова стекаются нарядные толпы молодежи. До двух тысяч человек просматривают на актерских консультациях. Поступить же суждено лишь двадцати из них. Двадцать счастливчиков из двух тысяч алчущих. Разумеется, из них можно сбросить со счетов некоторое количество начинающих поэтов, сколько-то нездоровых эгоистов и вечных маменькиных сынков.

Но внушительное большинство алчущих — это серьезно влюбленные в театр люди. И если перемножить эту массу на все количество театральных школ в стране (я уж не говорю, в мире), то... Ну, прислушайтесь, как звучат эти группы слов:

Театр Шекспира... Островского... Мольера... Театр Гоголя. Это целые страны, почти планеты.... Театр Станиславского, театр Брехта, театр Мейерхольда, могучие архипелаги... театр Миллера, театр Володина, театр Розова, театр Вилара... театр де Филиппо...

Театр высоких идей и починов всегда первым разорял кошельки человечества, всегда первым обогащал мозги человечества, обогащал духовную пищу витаминами добра, юмора и гражданственности.

Да, сиюминутный театр! И он во все времена требовал сиюминутной справедливости в мире богачей и бедняков, взывал к сиюминутному суду над ханжой, скрягой, королем, страной, деспотом и черной сотней.

Театр — единственная судебная инстанция, не допускающая обжалования, взяток и оттяжки приговора. Это судебный орган судеб человеческих.

И если театр достоин своего вечною предназначения, он способен создать такую температуру сиюминутного горения, что и бессмертные великаны: вы, господа пирамиды, симфонии, фолианты, грейтесь, дорогие, грейтесь! На всех хватало, на всех хватит. Вот как.

Ведь самые лучшие спектакли заставляют восхищаться не только искусством режиссера и артистов, но доставляют наслаждение талантом театральных художников, композиторов, пианистов, певцов... Вот такой щедрый домик. Из этого домика, кстати, в разные времена, после того, как опустится занавес, уходили напрямик на баррикады, за Гарибальди и на передовую Курской дуги...

13. ЛУЧШЕЕ ЗАНЯТИЕ В МИРЕ

Я знаю с детства, что лучший способ применения своих сил — это всяческие игры. А наилучшая из всех игр на свете — это театр.

Я устраивал, когда родителей не было дома или мама возилась на общей кухне, — я устраивал в нашей комнате целые спектакли про жизнь. Перевернутые стулья — это автомобили; книжные шкафы — это окна домов. Но самое главное: в комнате я был не один, как могло показаться вошедшей маме. В комнату набивалось много людей. Например, перехожу я как-то линию фронта, на оккупированной территории с риском для жизни подкрадываюсь к тюрьме, убиваю часового (то есть себя), освобождаю большевиков. Мы прячемся в лесу. Я держу речь. Вообще о делах и планах по разгрому врага. Я с помощником (то есть с собой самим) останавливаю «эмку» (переворачиваю стул), убиваю шофера (то есть меня) и генерала (тоже я). ...Не буду дальше пересказывать, хотя это гораздо интереснее, чем все на свете.

Потому что это была моя самостоятельная игра, глубокая по содержанию и яркая по форме. И абсолютно достоверные обстоятельства, реальные чувства, речь и — миллионы людей (каждый из которых — я).

Теперь представьте себе, что все мои стулья, немцы, шкафы и миллионы были бы буквоедским способом материализованы за счет, допустим, Мосфильма. Не знаю, как кто, но я бы по-мужски разрыдался.

Театр, если верить нашим учителям, родился благодаря содружеству музыкантов (песни, пляски), поэтов (лубки, частушки) и художников (маски, куклы).

А что может быть условней музыки? Разве она отражает реально звуки нашей речи, наших криков, плача, смеха?

Что может быть условней живописи? И что может быть условней поэзии с музыкой ее рифм, с режимом ее строф, со странностью ее метафор?

Театр растворил в себе условия этих игр. Но находятся люди, которые всерьез заявляют: «А мне лично условный театр не близок».

...Колоссальные архивы театральных форм... античная трагедия, шекспировский театр... итальянская комедия масок... «Горячее сердце» у Станиславского и «Лес» у Мейерхольда... Разве нельзя на основе этого

изобилия создать целую Академию Условных Наук Асов Сцены, сокращенно «АУНАС»?

Театр вне условности, вне игры — безусловно, не театр, полутеатр. Так же как театр без отличной литературы, без идейного, глубокого содержания — тоже полутеатр.

Евгений Багратионович Вахтангов был велик именно своей страстью к сопряжению этих двух начал театра.

И я вижу в Театре на Таганке, в котором служу со дня его рождения, все шансы для дальнейшего развития заветов Вахтангова.

В «Добром человеке из Сезуана» картина фабрики создана тремя мазками. Черный цвет, согнутые плечи «рабочих» и унылый ритм их хлопков по коленям.

А ведь проще было бы повесить идеально разрисованный красивый задник с трубой и цехами, поставить ряды станков на сцене, нарядить актеров в правдиво грязные спецовки... И не случилось бы чуда — того мгновенного, аппетитного угадывания фабричного настроения, которое испытывают зрители от сценической метафоры Любимова.

В спектакле «Пугачев» «смертельный» скат помоста, деревянная плаха, топоры, колокола и обнаженные тела мужиков, в сочетании с горящим стихом Есенина и скорбной музыкой Ю. Буцко — все это рождает предельно осязаемый образ великого русского мятежа.

В спектакле «Мать» — тщательно отобранное сочетание условного и достоверного. Условное изображение завода опущенными балками подъемников сцены — и реальный звук железа по железу. Условная тепло-кирпичная стена сцены — и реально холодное сукно шинелей. Условно театральные перестроения солдат — и абсолютно живая их ружейно-штыковая мощь, подтвержденная напряженными лицами рабочих. Условная алая рубаха «звонаря» — и достовернейший фабричный гудок.

...Самое известное сравнение театра — с зеркалом. И как правомерно многообразие зеркал, так же правомерно множество способов театрального отражения жизни.

Бывают зеркала прямые, бывают наклонные, бывают трюмо. А есть карманные, камерные. Лицом к лицу.

Многие любят отвести душу в комнате смеха. Там зеркала причудливые — вогнутые, выгнутые. И все получают удовольствие, хотя видики у всех не из симпатичных.

Есть люди, для которых искусство должно соответствовать совершенно гладкому зеркалу в полный рост. Это тоже театр, это тоже игра: передразнить жизнь так, чтобы никто не заметил расхождений — вплоть до травки и птичек. Это тоже игра. Но мне она не по душе. В ней мало воображения, доверия к зрителю, личного авторства, мало искусства.

Маяковский писал: «Театр не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло».

А у Кульчицкого: «Мой стих не зеркало, но телескоп».

Это прекрасно, если с помощью какого-нибудь театра, как через телескоп, люди сумеют рассмотреть звезды, Вселенную, будущее.

Это прекрасно, если в другом театре, как через микроскоп, зрители проследят внутреннюю жизнь явлений, общества, семьи.

Это прекрасно, если в третьем театре, как перед кривым зеркалом, публика будет кататься от хохота (а кто-то краснеть) над угаданными и увеличенными пороками. Поскольку смех есть законное проявление здорового организма.

И это отвратительно, если будут театры, где только туманные силуэты в зеркале.

14. ЭПИЛОГ

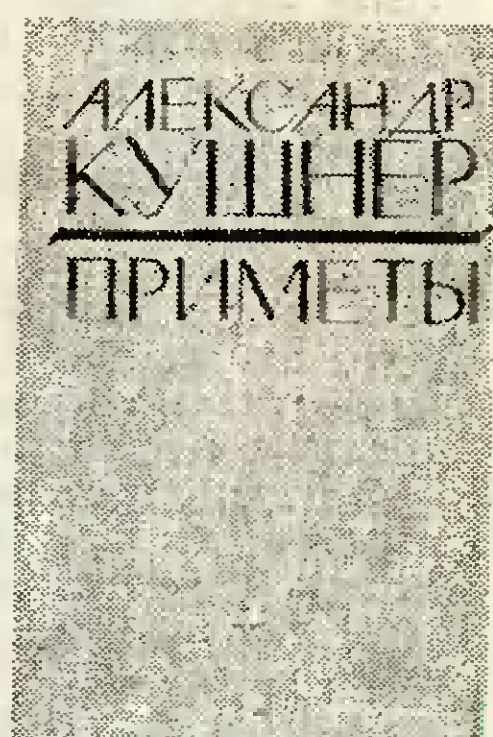
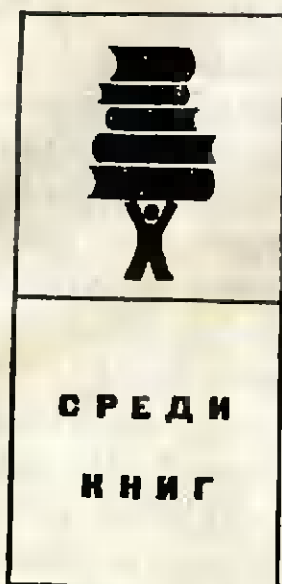
Я ехал в метро по кольцу. Вечер. Народу в вагоне мало. Сажусь себе, гляжу в окошко. На станции «Белорусская» все разом вышли. То ли теория вероятности, то ли еще что сработало, только я остался в вагоне один. Вокруг масса огней. Светлые колонны. Люди, люди. Мужчины с зонтиками. Девушки в сапогах. Двери хлопнули, поезд двинулся. Пестро замелькали люди, словно подчеркивая коллективную общность человечества. И вдруг — черный туннель. Я как глядел в окно, так и гляжу. И без всякого перерыва светлый зал с пестрым коллективом обернулся... моей собственной физиономией. Черный фон с мелькающими сигналами ламп. Живое ощущение многолюдности, безответственного шума-гама сменилось конкретностью тихого вагона и вот этой «встречи». Я интеллигентно подмигнул тому, в отражении. Тот подумал и тоже подмигнул. Мы сидели, вспоминали... И пришли к выводу, что мне, в общем, повезло...



Если прав был Шекспир и весь мир — театр, то я желаю, чтоб повезло всем честным исполнителям малых и больших ролей. И когда придет пора подводить итоги, пусть ни одна прожитая сцена не вызовет горького эха в памяти. С каким бы персонажем ни сталкивала судьба — с Лиром, с Офелией, с Яго, с бабой Ягой или даже в самом ответственном случае — наедине с собой. С самим собой.

Если люди, которых я особенно уважаю или почитаю, прочли мои записки до этих строк, то последние строки я хочу посвятить им.

Летучая спутница актерской судьбы — удача, — пусть она коснется вас своими крыльями! Пусть вам повезет — неожиданно или почти с опозданием, — но пусть вам обязательно повезет. И пусть доведет вас до самого последнего монолога, за которым опускается занавес, означающий «конец». И пусть вам не дадут уйти со сцены, и занавес будет снова подниматься, и кто-нибудь крикнет вам «бис!». Что в переводе означает — «счастливый конец».



Когда-то молодежь зачитывалась этой книгой. Ее автора, героя гражданской войны Шамиля Усманова, называли «татарский Фурманов». И вот сейчас, тридцать с лишним лет спустя, Татарское книжное издательство предлагает «Путь легиона» в русском переводе молодым людям семидесятих годов.

Вчитываюсь в знакомый с юности текст, точно слышу голос автора, которого давно уже нет среди нас. Книга волнует меня так же, как волновала в тридцатые годы. Напряженно думаешь: дойдет ли до нынешнего молодого читателя то, что было так дорого нам? Проникнется ли он живыми страстями далекого времени?

Страница за страницей — и возникает уверенность: «Путь легиона» должен обязательно прийти по душе и нынешним молодым. Потому что это одна из тех книг, которые отражают не только свое время, но и связь времен.

Вот они проходят по степям Приуралья — бойцы легиона «Третий Интернационал». Гудит разноязычная речь. Татары, башкиры, немцы Поволжья, мадьяры, афганцы, киргизы, казахи... Бьются в кровопролитных боях с белыми, то побеждают, то познают горечь отступления, голодают и мерзнут, изнемогают от зноя и жажды, но при всех условиях клянутся: «Пока не победит мировая, пролетарская...»

Мастерски написанные батальные сцены содержат в то же время достоверные психологические характеристики бойцов. Ведь перед нами не только путь легиона, но и пути Зарифа, прошедшего солдатскую

школу еще «в той войне» и добровольно перекочевавшего с полей Галиции в Тургайскую степь, и юного Гайфи, по-ребячьи не расстающегося с саблей, и путь Халика, читающего в теплушке книгу Бебеля «Женщина и социализм». И еще многие жизненные дороги...

Бойцы легиона не только сражаются. Они еще и страстно пытаются осмыслить значение своей борьбы.

Читатель сживается с ними. С искренней грустью воспринимает он слова командира: «Маловато вас осталось, ребятки. Маловато!.. Четыреста семьдесят два бойца... А когда из Кантемировки выходили, было тысяча двенадцать человек...»

Давнишняя книга известного татарского писателя Шамиля Усманова и сегодня продолжает жить и бороться.

Е. ГИНЗБУРГ

Книга Федора Абрамова «Сосновые дети» (изд-во «Советская Россия») дает жизненное наполнение простой истине: отношение к труду — показатель нравственной сути человека. И одновременно раскрывает драму истых тружеников.

Драма не в том, что тяжело этим атлантам российской глубинки «держат землю» на своих не каменных плечах — это осознанная и привычная необходимость, счастье, — а в том, что хватает еще рядом с ними разной дряни и ерунды.

...Матвей (рассказ «Последняя охота») убил лютого волка — грозу деревень на Верхней Пине. Расталкивая людей, выхватывая из-за пазухи угощение, прибежал поздравить героя Зотька Постников, как

ни в чем не бывало, словно не он, а другой безжалостно обманул Матвея на днях, в горький для него час. Смертельно усталый Матвей бросает ему теперь: уйди, червяк! И на прочие сияющие лица глядит угрюмо, хоть любовь людей ему нужна. Может, нужней, чем другим, потому что трудно живет, а перерасход душевной энергии нуждается в пополнении. После того как замерз однажды Матвей на охоте, деревняшка у него вместо левой ступни, на руках два пальца всего. А был первый охотник, заготконтора мотоциклом премировала за достижения.

Но человеку необходимо участие не только как плата за успех. Охотник понимает это сейчас особенно остро, глядя на обступивших его людей, не знающих, как услужить герою. За день-два до удачи ему, пришлому из другой деревни, не допроситься было на ночлег. Хоть всем охотникам здесь знаком, знали его славу, в душевной щедрости убеждались не раз.

В психологии есть понятие: неверный перенос знаний. Учащийся определяет все явление ошибочно, по одному признаку, не учитывая, что признак действителен, если подкреплён дополнительным условием.

О человеке нередко судят по успеху, а ведь это еще не весь человек. К тому же успех — рознь. Труднейшая, несчастная Матвеева удача — последняя. А что же дальше? Схлынет, как полая вода, всякий интерес к Матвеевой, гордой и мужественной, личности?

Абрамов обнажает зло с тем уважением к «мелочам жизни», без которого нет правды.

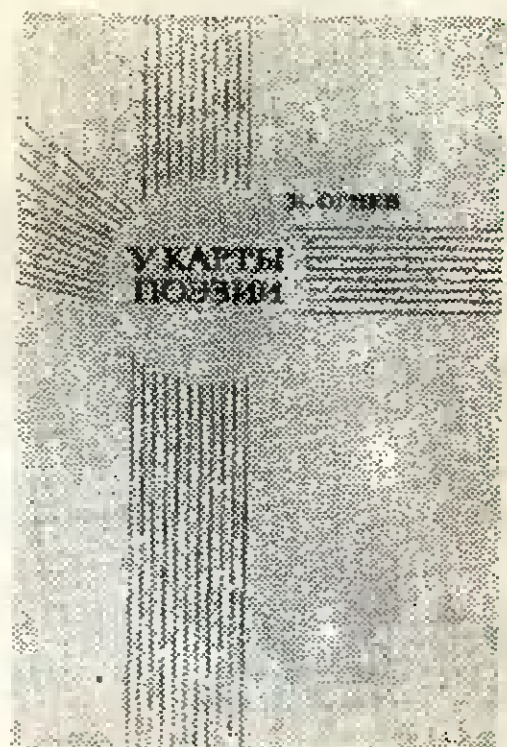
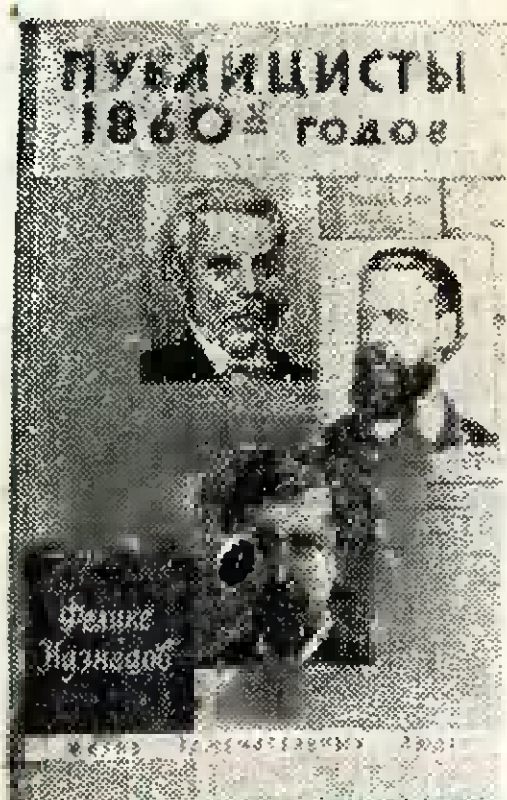
Начальник лесопунк-

та Дробышев (рассказ «Сосновые дети») варварски вырубил лес. Но его лесопункт ставили под удар то долгая осень с бездорожьем, то затяжные январские метели. А каково в таких условиях возить лес за двадцать километров — план выполнять? И бежит живописная прежде, а теперь голая рена, а вдоль нее россыпь пней, как злая память о победителе, которого не судят: дробышевский лесопункт уплатил штраф, но ведь и премию ему потом отвалили — за перевыполнение.

Не из легких была альтернатива, и хотел, наверное, человек поступить «как лучше». Описание душевной борьбы Дробышева отсутствует, не видно, как борется в нем разумный хозяин, человек с чувством бережности к прекрасному и ответственный за лесозаготовку, не видно, как он мучается, ища выхода. Дробышев как бы вообще без внутреннего мира, и в этом авторское к нему, отнюдь не бесстрастное отношение. Ведь живет же рядом, в том же рассказе, лесовод Чарнасов — он в вечном нравственном поиске, всегда рискует, постоянно наживает врагов, но ни на гран не изменяет своему главному принципу — истинно государственному подходу к делу, подходу, исключаящему нахрап, скорую, да непрочную выгоду.

Недавно выпущенный сборник «Сосновые дети» — подтверждение признанного, уверенного мастерства писателя. Не льстил и не льстит жизни честный мастер, похоже, и не умеет видеть ее благополучней, чем она есть на самом деле. Тем больше запас подлинности у этой оптимистической книги, рассчитанной на мужественные сердца.

Л. БЕЛАЯ



Значительность повседневного происходящего — смысловой стержень этой поэтической книги (Александр Кушнер «Приметы»; издательство «Советский писатель»). Чем жив человек, ради чего живет?

Стихами о Корчаке, польском педагоге, перед величием души которого бессильно и жалко было б само «всемогущество» бога, когда б он существовал, спорит поэт с тем незримым назойливым скептиком, для которого малодушие отдельно взятого индивидуального поведения якобы оправдывается всеобщей нарастающей бездуховностью...

Автор придерживается классических традиций, сказано в аннотации. Временами кажется, что стихи А. Кушнера литературны, идут от искусства больше, чем от жизни и от себя. Впечатление внешнее, ложное. Поэт самобытен, мир его стихов — будничны, заурядный — возникает впервые. Город, в котором живет А. Кушнер, классичен; классичны музы и стихи, которые любит поэт, но то, что пишет он сам, — открытие нового, даже в буднях. В себе тоже, хоть кажется, что сам себе он уже не особенно интересен. Больше открытий, касающихся жизни как она есть и вообще человека в сегодняшнем мире. Суждения о смысле человеческого существования. Тут легко скатиться в банальность. Кушнер не скатывается. Он остается серьезным, словами не играет, — в них только самая суть, то высокое и значительное, что поэтическими строками выкристаллизовывается из ежесуточных впечатлений в сознании автора. Слова точны и первичны, в

них виден самый процесс этой кристаллизации.

Не мысли, не чувства, взятые под микроскоп, — всего лишь поэтическое ощущение жизни, ее течения во времени. Связь времен и временности индивидуального человеческого бытия. Временная обусловленность личных качеств и ответственность перед временем. Это все представлено в книге А. Кушнера отнюдь не в виде отвлеченных рассуждений, но в зримых примерах сегодняшней повседневности. Поэт и себя ощущает лишь в связи с минувшим и с тем, что наступит после...

Г. ЦУРИКОВА

Со школьной скамьи все знают имена Чернышевского, Добролюбова, Писарева, знакомы с их биографиями и основными произведениями. Но среди русских революционных демократов 60-х годов были и «младшие боги», в свое время весьма популярные, немало сделавшие для развития революционного сознания, а ныне во многом забытые. Ф. Кузнецов свою работу «Публицисты 1860-х годов» (изд-во «Молодая гвардия». Серия «Жизнь замечательных людей») посвятил таким людям — трем публицистам из круга журнала «Русское слово»: Г. Е. Благовостову, В. А. Зайцеву и Н. В. Соколову.

Выпустивший в свое время исследование о журнале «Русское слово», Ф. Кузнецов в своей новой работе выступает и популяризатором и ученым. Он заново прочел журнал и книги, в том числе ставшие библиографической редкостью, работал в архивах, порою никем не тронутых, привлеч

документы, воспоминания современников и другие материалы. В литературе, по установившейся традиции, Г. Благовостова, В. Зайцева, Н. Соколова и даже Д. И. Писарева относили к реформистам, к буржуазным радикалам-просветителям, отделяли от революционной демократии. В полемике со своими предшественниками Ф. Кузнецов показывает, что деятельность публицистов, о которых он пишет, была пронизана идеей социальной революции, что они жаждали крестьянской революции. Другое дело, что изменение исторической обстановки после 1863 года привело, как говорит Ф. Кузнецов, к «перестановке акцентов» в революционной работе. Во второй половине 60-х годов русская революционная демократия оказалась в трагическом положении, мучительно искала решения новых вставших перед нею задач. Она не могла их решить, оставаясь на почве идей крестьянской революции, на почве просветительской, идеалистической философии истории. Но ее борьба подготовила и движение «Народной воли» и дальнейшую деятельность революционеров, усвоивших марксизм, обратившихся к теории пролетарской революции.

Публицисты 1860-х годов были рыцарями революционного движения, людьми страстными, убежденными, мужественными, самоотверженными. Ф. Кузнецов рассказал о них увлеченно, сочетая строгую научность с живостью и яркостью изложения.

Ф. ЛЕВИН

Владимир Огнев в книге «У карты поэзии» (изд-во «Художественная литература») пишет только про хорошие стихи; стало быть, статьям и очеркам, включенным в сборник, предшествовал строгий отбор, и уже здесь, в композиции и составе книги, ощущим замысел автора: показать и осмыслить богатства невиданного ранее литературного явления — многонационального содружества советской поэзии, утверждающей идеалы братства и счастья.

Герои книги Вл. Огнева — крупнейшие мастера литературы русской, литовской, грузинской, татарской, азербайджанской...

Критика меньше всего интересуется раздача пох-

вал; его волнует живой противоречивый процесс развития современной поэзии. Вл. Огнев прежде всего занимают два вопроса: как сделаны стихи и почему данная поэма или стихотворение важны для художественного познания современности.

Для ответа на первый вопрос Вл. Огнев внимательно исследует художественную ткань стиха, причем критический анализ ритма, интонации, проводимый автором, помогает глубже почувствовать обаяние творческого мира, например, Кайсына Кулиева, Эдуардаса Межелайтиса, Дмитрия Гулиа или Самеда Вургуня.

Другой вопрос, исследуемый Вл. Огневым, связан с социальной, гражданской ролью поэзии в последние полтора десятилетия, когда поэты сумели выразить возросшее самосознание народа, определить более глубокие связи нашего современника с историей, революцией. И здесь сам материал книги — литература братских советских республик — наталкивает автора на рассмотрение наиболее актуальных проблем нашего художественного развития. В их числе — проблема национального своеобразия и социалистического содержания литературы.

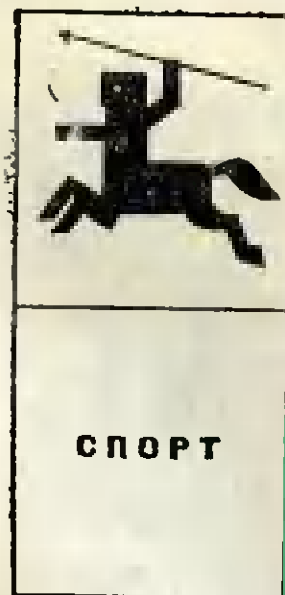
«Послушать некоторых критиков, — замечает Вл. Огнев, — так национальное и революционное — это «две чаши весов». Автор книги видит сложную диалектическую связь революции и национальной формы поэзии, он утверждает, что «национальная форма неотрывна от содержания поэзии, ее идеалов», рожденных Великим Октябрем. «Я никогда не понимал, — признается Вл. Огнев, — почему эта тема является предметом ревностной и подозрительной опеки только определенного круга лиц, как никогда не понимал, от кого именно эти «добровольцы» защищают русскую национальную форму поэзии. При этом меня смущало и то обстоятельство, что те, кто более других, отчетливее и ярче всех выразил в поэзии национальное русское начало, как раз и не декларировали своей исключительности. Нет, к сожалению, сложная тема эта подымалась обычно людьми, имеющими самое приблизительное отношение к литературе, весьма сомнительную заинтересованность в истине».

Книгу «У карты поэзии» интересно читать; автор достоин талантливейшей поэзии, о которой пишет.

Вл. ВОРОНОВ

Анна Дмитриева

БИОГРАФИЯ НАЧИНАЕТСЯ В УИМБЛДОНЕ



И австралиец Лейвер, которого считают величайшим теннисистом всех времен, и многие другие известные игроки начинали свою спортивную биографию с успешного выступления на турнире юниоров в Уимблдоне (фактически это — юношеское первенство мира на травяных кортах).

Об этом турнире, о его нравах и традициях, о его героях (среди имен которых имена и наших спортсменов) я и хочу рассказать.

Первыми советскими теннисистами, которые играли юношеский Уимблдон, были Андрей Потанин и я. Жаль, что Потанин, которому сейчас лишь тридцать, слишком рано ушел из большого тенниса. В свое время он был восходящей «звездой» невиданной яркости.

Так вот, 4 июня 1958 года мы вчетвером: государственный тренер Семен Павлович Белиц-Гейман, переводчица Аля Ивушкина, Андрей и я — прилетели в Лондон.

Сходим по трапу самолета, а внизу беснуются фоторепортеры. Лондонские фоторепортеры ринулись на нас столь неожиданно, что я растерялась, пытаюсь осмыслить, как вести себя соответственно ситуации: первые посланцы советского тенниса прибыли в Уимблдон! — а они уже сделали свое дело и убежали.

Но, едва миновав таможенного чиновника, мы вновь попадаем в окружение журналистов. И тут я вижу, что к нам спешит Фред Перри. Знаменитый английский теннисист, трижды чемпион Уимблдона Фред Перри занимается теперь производством теннисной одежды, и его фирменный зеленый веночек красуется на майках, костюмах и куртках большинства участников Уимблдона. Я познакомилась с ним еще в Москве, когда Перри, приехав на фестиваль-турнир, величественно шествовал по Лужникам в лучах своей неувядаемой славы. Меня подвели к нему и представили как подающую большие надежды, и Перри галантно склонился, взял меня под руку и повел на ближайший асфальтовый корт, где щедро дал урок высокого тенниса.

И теперь он говорил журналистам, что считает себя моим учителем. Его ослепительно белая рубашка была повязана традиционным уимблдонским галстуком: темно-зеленым с поперечными фиолетовыми полосками.

В Англии каждый теннисный клуб имеет не только свой флаг, но и галстук. У радушного спутника Перри был иной галстук: красно-бордовый с поперечными

желтыми полосками. Это галстук Бекнемского клуба, президентом которого был мистер Маккалам.

По многолетней традиции участники Уимблдона сначала пробуют силы в открытых первенствах графства Кент и Лондона. Первый турнир проводится в небольшом городке Бекнеме. Я думала, мы еще едем предместьями Лондона, но мы уже были в Бекнеме, и мистер Маккалам, указывая на деревенского стиля клубные строения, торжественно сообщил, что здесь играют в теннис с 1866 года. И теперь, прилетая в Лондон, я уже знала, что в зале аэропорта непременно увижу мистера Маккалама в его неизменном типично английском костюме: немного клеточки, немного елочка, — и он непременно вручит мне букетик роз и будет заботливо опекать в дни Бекнемского турнира.

Мы поселились в Бекнеме в пансионе Кирпатрика, где почтенно и тихо доживают свой век одинокие леди и джентльмены. Помню, как смущали меня в первые дни эти чопорные старики и старухи, которые в торжественном безмолвии восседали вечером у камина, а днем медленно сходились к обеденному столу и, как мне казалось, критически оценивали мои позиции в этикете.

Одна престарелая леди к тому же постоянно вскидывала трясущимися руками какую-то допотоптную фотокамеру, стремясь поймать меня в объектив. Она поехала вслед за нами в Уимблдон, продолжая и там, к величайшей радости Андрея, за мною охотиться. Так было и в последующие годы, пока я играла в Англии. Правда, руки моей неистовой леди тряслись все сильнее и даже ее фотокамера казалась мне с каждым годом все допотопнее, но она являлась передо мной самым неожиданным образом, восклицала радостно: «Энн!» — и я покорно ждала, пока будет сделан очередной незабвенный кадр.

И вот я, наконец, выхожу на слегка пружинящую траву Бекнемского клуба. Этот момент: нога первого русского теннисиста ступает на английскую траву — караулили десятки фотокорреспондентов. Я не сразу поняла, зачем они снимают мои ноги, зато Семен Павлович быстро оценил обстановку. После короткой пробежки он сделал стойку и, как я ни сопротивлялась, заставил и меня встать на руки. И мы пошли на руках по корту, а Андрей сделал кувырок через сетку.

Давая интервью, Семен Павлович восклицал:

— Чему вы удивляетесь, господа? Мы всегда делаем такую разминку.

Первое ощущение, которое испытываешь на траве, — тебе все время надо бежать. На земле можно

к мячу «подъехать», а тут споткнешься. Теннисисты ступают по траве, как цапли.

Вернувшись домой, я одно время пыталась выглядеть такой цаплей и на наших земляных кортах, чтобы каждый видел, что я теперь травяной игрок и ужасно привыкла к этой странной траве, столь мелкой и тонкой, словно корт устлан нейлоновым ковриком...

И в самом деле, игра на траве пошла у меня сразу. Мяч здесь отскакивает очень низко, но быстро. Самые быстрые в мире корты в Уимблдоне (в Бекнеме мяч отскакивает столь же низко, но менее быстро). Фирма «Шлезингер» делает даже специальные мячи для Уимблдона — тоже самые быстрые.

На земле ты можешь практически взять любой мяч: земля притуляет отскок. А трава отскок убищает и дает ему продолжение. И бежать здесь труднее, чем на земле. Все твои недоделки, которые на земле «пройдут», трава обнажит. О, как я злилась, как ненавидела земляной корт, переходя на него с травы!

Я потренировалась лишь несколько дней перед Бекнемским турниром юниоров, но, к собственному удивлению, легко побеждаю девушек, которые давно играют на травяных кортах. В финале я встретила со шведкой Фринделиус. Я нагло шла к сетке и била с лета и обыграла шведку в двух сетах — 6:4, 6:4.

И Андрей дошел до финала, где проиграл лишь талантливому и уже познавшему успех американцу Эрлу Бухгольцу. Но второй сет Бухголец взял с трудом, хотя Потанин играл на траве, как на земле, добывая очки не у сетки, а своим коронным остропластированным ударом справа.

По завершению Бекнемского турнира мы были приглашены на загородную виллу к тетке королевы, леди Кроссфилд. Этот дневной прием — еще одна традиция! — непременно предшествовал Уимблдону. После традиционной клубники со сливками все спустились, минуя огромный холл, в сад, где были корты и где состоялись показательные игры, в которых и я участвовала, — в миксте с восходящей немецкой звездой Инго Будингом. Знаменитый теннисный обозреватель называл меня, в свою очередь, «рашен стар». Я не знала, как вести себя, происходящее казалось мне нереальным.

Прямо с приема нас отвезли в отель «Доминион», стоящий напротив Гайд-Парка. Мне предстояло теперь участвовать в открытом первенстве Лондона, которое проводится на кортах самого привилегированного в Англии Куинс-клуба (Королевского клуба).

В Куинсе я тренировалась с американкой Салли Мур. Салли не отличалась элегантной техникой, но даже разминку она делала с полной отдачей, целеустремленно. Салли считалась американской «надеждой», и действительно, уже на следующий год она вышла в полуфинал взрослого Уимблдона. Но в тот же год она безнадежно влюбилась в красивого английского мальчика Роджера Тейлора (полуфиналист Уимблдона 1967 года). Видя, что в него девочка влюблена — а в него влюблялись многие девочки-теннисистки, — Тейлор вел себя намеренно сдержанно. Салли страдала безумно: выходя на площадку, она не могла попасть по мячу. И наконец совсем бросила теннис, лишь бы никогда не встречаться с Тейлором.

Но в то лето Салли жила только теннисом, и мы до иступления тренировались с нею в Куинсе, готовясь к своему Уимблдону. Кто думал, что именно нам предстоит разыграть финал?

А в открытом первенстве Лондона я встретила в первом же круге с американкой Джейн Хопс. Я не знала, что она входит в десятку мира и дважды обыграла в том сезоне чемпионку Уимблдона Алтею Гибсон, лишь поняла сразу, что американка быстрее меня, но решила, что все равно выиграю у этой ма-

ленькой, худенькой Хопс. Я проиграла в отчаянной борьбе — 4:6, 4:6 — и очень расстроилась, однако все бросились меня поздравлять, повторяя, что Хопс дважды уже победила Гибсон, да и сама Хопс сказала, что я ей очень понравилась, а мне все равно было досадно, что проиграла.

Турнир юниоров в Уимблдоне начинается в последний понедельник июня, спустя неделю после открытия взрослого турнира. Ближе к этому дню Андрея Потанина отвезли в мужской пансионат на окраину Лондона, а меня — в женский, напротив Британского музея. С некоторыми из девушек, с которыми мне теперь предстояло жить, я играла в Бекнеме, но подружиться не подружилась. А Салли Мур в пансионате не было: она играла одновременно и взрослый Уимблдон и жила в отеле с остальными американцами.

Я знала по-английски только теннисный счет и не решилась даже подойти к строгой даме, которая нами командовала. В грустном настроении легла спать, а утром, когда пришла завтракать, за столом никого



Марина Крошина, которая успешно дебютировала этим летом в юношеском Уимблдоне.

Фото А. Карзанова.

почему-то не было. Я положила себе бобы, налила чай и смотрю — бежит девушка-швейцарка. Она торопливо стала мне объяснять по-французски, что завтрак давно закончился, и уже приехал автобус с мальчиками, и все сели в этот автобус, чтобы ехать на турнир, но наша дама пересчитала девушек — тут меня и хватились.

Игры в Уимблдоне начинались в два часа дня. До

этого мы смотрели, как тренируются знаменитости, затем наставительница снова нас пересчитывала и вела к ланчу.

Ланч для участников Уимблдона подается с королевской кухни. Меню ланча, как и все остальное здесь, традиционно. Десять лет я играла в Уимблдоне и все эти десять лет знала, что в понедельник горячее блюдо к ланчу — баранья отбивная, а в среду — грибы в стаканчике, слоеные, запеченные с сыром.

После игр нас везли в ближайший ресторанчик, где к концу второй недели Уимблдона устраиваются традиционные танцы с коктейлем и где веселятся игроки, бывшие в первых турах. А мы в этом ресторанчике обедали.

Мы встаем за спинки стульев и ждем, пока дотошная дама в очередной раз пересчитает нас, потом пожелает нам хорошего аппетита, мы ей тоже желаем хорошего аппетита и, наконец, усаживаемся за стол. Сидим чинно и прямо, ожидая теперь, когда наставительница соизволит опустить свою ложку в тарелку с супом.

Меня подмывало хоть как-то нарушить эту чинную благопристойность, но я внушала себе, что звание советской спортсменки обязывает меня безукоризненно следовать правилам, которые здесь приняты. А рядом сидел испанец Арилья (ныне известный игрок) и беспрестанно подмигивал, кривлялся и в довершение всего шептал мне на ухо по-французски: «Я вас люблю».

Потанин веселился, наблюдая мое смущение. Он-то уже обзавелся друзьями, девушка-француженка уже отдавала ему свой суп, а Андрей внушал ей, что он может съесть сколько угодно супа: такой бешеный у него аппетит.

Однажды, когда у нас было свободное время и я опять собиралась в Британский музей (я уже дважды ходила туда и оба раза, путая указатели, попадала в библиотеку и, кроме библиотеки, так ничего не видела), Андрей заявился ко мне в пансионат, но тут же был торжественно выведен, а наставительница жестоко отчитала меня, что, дескать, как я посмела сюда приводить молодых людей. И вечером, накануне своей финальной игры, я сбежала из этого пансионата в отель «Доминион», где жили по-прежнему Семен Павлович и переводчица Аля.

Проговорила с Алей до полуночи — по-русски! — а затем она сняла со своей постели матрац и положила его на пол. И накануне финальной игры с Салли Мур я прекрасно выпалась на полу у Али в отеле «Доминион».

Мы играем на первом корте. Распорядитель турнира приглашает меня и Салли в комнату ожидания, которая расположена прямо под королевской ложей. Но, едва узнав, что наш корт свободен, выбегаем из этой комнаты и попадаем... на трибуну. Как же спуститься на корт? Бежим по трибуне, заполненной зрителями, перепрыгиваем через заборчик, уже сознавая, что совершаем нечто ужасное...

И действительно, финальным играм в Уимблдоне предшествует сложная и торжественная церемония выхода игроков (распорядитель выводит игроков из комнаты ожидания, в проходе их встречают судьи и мальчики, которые подают мячи, затем распорядитель желает игрокам счастья и т. д.), которую мы так скандально и, кажется, впервые за всю историю Уимблдона, а она восходит к 1877 году, нарушили. Но нашу выходку оценили как проявление крайней непосредственности, и все на этом уладилось.

В душе я проиграла Салли еще до начала встречи. И в Бекнеме и здесь, на пути к финалу, я, правда, побеждала девочек, которые были и опытнее меня и уже давно играли на траве, но в конечном счете все они, как и я, были еще несложившимися тенни-

систками. А Салли, несмотря на свои восемнадцать лет, была уже зрелым игроком.

Я поняла это, тренируясь с ней в Куинс-клубе, а когда мне сказали, что она уже успешно играет с самыми известными американскими теннисистками. Салли окончательно мне представилась недостижимой.

Она вела игру, а я бегала и бегала по корту за мячом. Во втором сете я вдруг попала в ее ритм, возникло желание поиграть, но Салли могла выбить меня с позиции даже своей второй подачей. У меня тогда вообще не было никакой второй подачи, а она так резала и так резко затем уводила мяч, что он опускался без звука. И к тому же я всю игру ощущала, что очень жмут тапочки. Перри предложил мне для финальной игры тапочки на резинах, а эти тапочки надо брать на размер больше...

А Андрей проиграл в четвертьфинале бразильцу Барнесу. Ему было труднее, чем мне. Американец Бухгольц, индиец Лал, бразилец Барнес, испанец Арилья, которые играли в тот год юношеский Уимблдон, вскоре станут известными теннисистами. Тем не менее игра Потанина произвела достаточно убедительное впечатление, и, как и я, он был допущен на следующий год к участию во взрослом Уимблдоне.

Уже на следующий год юношеский Уимблдон выиграл наш Тоомас Лейус. Он немного объяснялся по-английски и, сам договариваясь с игроками, тренировался на травяных кортах с утра до ночи, а когда мы переехали из Бекнема в Лондон, Тоомас каждый вечер бегал в Гайд-Парке. Прибежит, примет ванну и лежит в кровати с блохотиком, отмечая, что успел сделать за день, а что не успел. А я собиралась в это время в кино и, глядя на Тоомаса, сознавала всю свою порочность.

1961 год. Галина Бакшеева, которой еще не исполнилось шестнадцати, побеждает в финале уже известную американку Чобот. И по сей день никто из наших юниоров не снискал такой славы в Уимблдоне, как в тот год Бакшеева. Галя потрясла всех не столько самой победой, а тем, как она играла с Чобот.

Чобот сразу повела, и даже не верилось, что Бакшеева, которая выглядела совсем еще девочкой, сможет что-то сделать. И вдруг Галя заиграла просто гениально. Она столь тонко чувствовала, куда и как надо послать мяч, и все получалось у нее столь красиво и при этом произвольно, что это было как откровение. После игры она подошла ко мне вся в себе, изнутри освещенная...

В тот год удивил англичан и наш юноша — Нукзар Мадинарашвили. Судьи не выговаривали фамилии Нукзара и объявляли его: «Мистер М...». Нукзар, который вскоре оставил теннис и всерьез занялся филологией, был способным игроком, но с несколько странной техникой. У него был очень сильный удар справа, а слева — почти дырка, и он был готов обегать мяч, лишь бы ударить справа. И такой странной, почти неестественной подачи я тоже ни у кого не видела. Однако результат любой его встречи было предугадать невозможно.

В Куинс-клубе, на открытом первенстве Лондона, Нукзар вдруг обыграл одного из лучших игроков Европы, чеха Яворски, и очень сильного новозеландца Джерарда. Яворски хладнокровно укорачивал мяч, Нукзар кричал: «Взять!» — и даже не бегом, а в каких-то несуетных прыжках, выкинув вперед свои неправдоподобно длинные руки, пересекал корт и доставал мяч. Яворски тут же кидал подкрученную свечку, Нукзар опять кричал: «Взять!» — и почти у самого фона, но доставал и этот мяч...

Казалось, он может так выиграть и юношеский Уимблдон, но в первом же круге Нукзар проиграл совершенно неизвестному мальчику из Австрии.

1962 год. Турнир юниоров вновь выигрывает Галина Бакшеева. Она держалась по-королевски, исполненная уверенности, что всех победит. Но играла очень несобранно, распущенные волосы мешали ей видеть мяч... Галя совсем было разочаровала знатоков, которые год назад прочили ей блестящее будущее, но, играя в паре, мы вышли в финал первенства графства Кент, а в Куинс-клубе обыграли сильнейшую австралийскую пару Лихейн — Тернер.

На этот раз вместе с Бакшеевой приехал Александр Метревели — нынешний лидер советского тенниса. Алик убедительно выиграл юношеский турнир в Бекнеме, и никто не сомневался, что быть ему первым и среди юношей Уимблдона.

Но в воскресный день, накануне своей первой игры, Алик поехал вместе с нами на традиционный воскресный прием в аббатство Бичем. Теннисисты здесь стреляют из лука, катаются на лодках по Темзе, одним словом, развлекаются как угодно, возбраняется только играть в теннис, хотя корты в аббатстве есть.

В футбол — пожалуйста, но только не в теннис. Алик, который всегда готов оправдать свою футбольную фамилию, конечно, играл за Европу против Америки, да с таким азартом, что сильно потянул ногу. Я каталась на каное и вижу: Алик прыгает к воде и кричит мне:

— Знаешь, так больно, так больно...

Наутро он не мог обуть эту ногу, но ему заморозили голеностоп, и Алик все же вышел на корт. Он играл мужественно, хотя почти не мог бегать и, дойдя до финала, уступил лишь в трех сетах англичанину Метьюзу (сыну известного футболиста).

В 1964 году в Уимблдон привезли совсем юного москвича Володю Короткова. Из Володи делали теннисиста с детства, его сначала «сделали» по тщательно продуманной системе, а уж потом он заиграл. Коротков — совсем иной тип теннисиста, чем, допустим, Потанин или Метревели. В тот год Володя проиграл знаменитому ныне египтянину Эль-Шафею, но затем два года подряд, как и Бакшеева, был первым.

В 1965 году в Уимблдоне началась теннисная биография Ольги Морозовой. Она выиграла турнир юниоров, хотя и не столь эффектно, как в свое время Бакшеева, но уверенно. Главное достоинство Оли — темп, скорость. Олю, как и меня, ввела в теннис Нина Сергеевна Теплякова.

Если Бакшеева, например, еще с детства «ходила в звездах», то Оля более незаметно, но и более последовательно добивается признания. В позапрошлом году она в паре с Метревели уже претендовала на победу во взрослом Уимблдоне. Выйдя в финал смешанного разряда, они лишь в упорной борьбе уступили неоднократным победителям Уимблдона австралийцам Смит — Корт и Флетчеру. В этом году Морозова и Метревели вторично вышли в финал Уимблдона...

Подобный результат, на первый взгляд, закономерен. Уже не первый наш игрок успешно начинает свою спортивную биографию на турнире юниоров Уимблдона. Однако... у нас сейчас лишь один теннисист высокого класса — наш чемпион Метревели. Надеяться, что наберет класс, который ей суждено набрать, и Морозова. В таких странах, как Австралия, где класс тенниса очень высок, талантливый юниор естественно вырастает в настоящего игрока.

А для нас это пока что проблема — сделать из талантливой игрока классного.

К тому же в последние годы наши ведущие тренеры не могли подготовить ни одного талантливого юниора, и мы сдали было позиции и в юношеском Уимблдоне. Но этим летом ставка была сделана на воспитанников алма-атинского тренера Августина Августиновича Вельца.

В довоенные годы Августин Вельц очень ярко начинал в спорте. Он считался лучшим в стране игроком в пинг-понг, был отличным хоккеистом, уже вошел в десятку сильнейших теннисистов. Он славился своими акробатическими бросками на корте, когда доставал в падении, казалось бы, недосыаемые мячи. Старые теннисисты до сих пор вспоминают, как эффектно, не жалея локтей и коленей, играл Вельц. Его дальнейшая судьба сложилась драматично: талантливый спортсмен надолго был разлучен с теннисом. Но в последние годы все заговорили об алма-атинской школе тенниса, представители которой особенно выступили на IX Всесоюзной спартакиаде школьников. Да, всю свою страстную любовь к теннису Вельц вложил теперь в тренерскую работу. Занимаясь со своими воспитанниками столь же самоотверженно, как он в свое время играл, Вельц буквально на пустом месте создал в Казахстане школу тенниса.

Его воспитанница Марина Крошина, которую отличает прекрасное чувство мяча и корта, уверенно выиграла в канун Уимблдона Бекнемский турнир юниоров. В финале она победила первую ракетку Австралии среди девушек — Эдвардс. Марина успешно выступила и в Уимблдоне, где лишь в финале проиграла более опытной американке Уолш.

Я могу иногда увидеть себя в Оле Морозовой, но, глядя на Марину, тщетно пытаюсь найти нечто общее между собою, семнадцатилетней, вернувшейся из Англии в упоении неожиданной славой, и этой сдержанной, в позолоченных туфельках, девушкой, которая оценивает свой первый успех весьма критически, и чувствует в ней уверенность, словно она знает, как и чего должна добиться. Но знает ли?

Три года назад я писала в «Юности»: «Успех пришел ко мне рано, и давно победы мои на соревнованиях в стране перестали удивлять и тренеров и любителей тенниса, да и мне они не приносили уже прежнего удовольствия. А там, на турнирах зарубежных, с большим трудом мне доставались лишь маленькие победы, а больших так и не было. Сначала от меня их ждали, потом уже требовали, я волновалась, мне казалось, что делаю все, что могу. Програв подачу, я уже чувствовала себя виноватой. Комплекс вины нарастал от турнира к турниру, и мне казалось, что я хожу по болоту, завязая и уже не могу выбраться...» Я было бросила теннис, затем возвратилась и, наконец, ушла окончательно — поздно, конечно, чем Андрей Потанин, но все равно рано.

Я бравирую, говоря, что мне приятно сейчас сидеть на трибуне среди зрителей, — нет, я по-прежнему вижу себя на корте. Хотя я и пробую сейчас быть тренером, но у меня еще психология игрока, который словно находится в пустоте, если нет у него успехов, и ничем иным эту пустоту не наполнишь. А ушла я, как теперь понимаю, как раз потому, что делала не все, что могу, и на более осознанные усилия меня не хватало.

И свою теннисную биографию, которую повторяет пока Марина Крошина, я завершила все же не так. Я бы хотела, чтобы Марина знала об этом. Иных советов ей давать не берусь.



ВСЕГДА ТЫ БУДЕШЬ ЖИВЫМ ПРИМЕРОМ

Этот образ знаком каждому. В нем воплотились лучшие черты юного поколения революции — тех, кто из паровозных депо шел в красную конницу, кто выводил страну из разлухи, кто смотрел на жизнь открытым, ясным взглядом, зная в пей свою цель, свое место.

Павел Корчагин. К его образу обращались многие известные художники, кинематографисты. Будут обращаться и вновь, открывая в нем все новые черты.

Издательство «Молодая гвардия» только что выпустило книгу «Как закалялась сталь» в оформлении и с иллюстрациями художника Саввы Бродского, известного широкому читателю своими графическими интерпретациями «Овода», «Спартак» и других классических произведений юношеской и взрослой литературы.

Работе над иллюстрациями предшествовали месяцы знакомства с материалом, беседы с теми, кто знал и помнит Николая Островского, посещение мест, связанных с кочевой, нелегкой жизнью писателя. Как ни велик был соблазн мак-

симально придать облику Павла Корчагина черты автора «Как закалялась сталь» — так до этого поступали многие известные художники, — Савва Бродский пошел по иному пути, создав тот самобытный портрет Корчагина, который, по его мнению, наиболее соответ-

ствует тексту повествования и восприятию самого художника. Думается, что портрет этот удался.

Бродский в своих иллюстрациях не воспроизводил доподлинно те бытовые детали, которые читатель сам прекрасно представляет из авторского описания. Художник стремился акцентировать кульминационные моменты, внести в оформление книги пафос, созвучный ее идейной страсти. Для этого он объединяет местами сразу три больших иллюстрации в своеобразный графический триптих, выводит перед читателем крупноплановые портреты, обобщенные картины времени.

В оформлении книги чувствуется пылкая эмоциональность и одновременно строгая простота, соответствующие духу романа. Чувствуется здесь рука опытного рисовальщика и отличного архитектора: вероятно, не все знают, что оба театра, украшающие ныне столицу Карелии Петрозаводск, построены после войны по проектам и под руководством Саввы Бродского.

В мастерской художника я познакомился с его новыми работами — иллюстрациями к «Гаврошу» Гюго, выходящему в издательстве «Детская литература». Тема французского паренька, сына улицы, друга правды, вставшего на ее защиту в ряды повстанцев, близка дарованию и мировосприятию Бродского. Иллюстрации получились лаконичными и выразительными. Хотелось бы пожелать художнику и издательству продолжить начатое доброе дело и обратиться теперь к молодогвардейцам Александра Фадеева, которые героически продолжили дело Павки Корчагина.

И. КУПЦОВ



На снимках: иллюстрации Саввы Бродского к роману Николая Островского «Как закалялась сталь».



ЗЕЛЕНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ



КАК В МОРЕ КОРАБЛИ



Рисунок И. Бронникова.

Сейчас модно придумывать новые обряды. И это хорошо. Ведь до сих пор многие значительные события проходят обыденно и никак не отмечаются. Между тем они таят в себе искры и зерна настоящего праздника. Взять хотя бы разводы. Конечно, это — событие неприятное. Но в последнее время их стало так много, что для некоторых людей развод превратился в событие будничное. Как легко эти некоторые затеяли совместную жизнь, так же легко и просто они расстаются... Прямо хоть внедрить в жизнь новый обряд развода, не менее пышный, чем свадьба.

Представим, как будет проходить это торжество. Наверное, будет много гостей — родственники, друзья, общественность. Наверное, будет праздничный стол, запотевшие бутылки шампанского, разнообразные легкие закуски, дымящееся жаркое, изысканный десерт. Наверное, в центре стола будут сидеть нарядные, взволнованные бывшие муж и жена, а рядом с ними — счастливые родители.

Шумно, весело, тесно — все, как полагается.

Но вот подымается самый уважаемый гость — назовем его «разводящим». Он брякает вилочкой по графину и просит тишины.

— Друзья! — говорит он. — Сегодня у нас большой праздник. С обоюдного согласия, как своего (бывшие муж и жена дружно кивают в подтверждение), так и родительского (степенно, с достоинством кивают родители), разводят наши дорогие Катенька и Виталий!

Гром аплодисментов, звон бокалов. Катеньку и Виталия забрасывают цветами. Магнитофон истор-

гает необычную, ни на что не похожую музыку — «Свадебный марш» Мендельсона, записанный в обратную сторону.

— Отныне вы вступаете в новую жизнь! — взволнованно продолжает «разводящий». — Помните, с этой минуты все у вас будет пополам — и радости, и горести, и мебель, и квартира. Счастливой вам раздельной жизни, милые мои!

Снова аплодисменты и звон бокалов. Брат Катеньки быстро бежит квартиру по периметру, вымывая рулеткой. Двоюродный дядя Виталия выкручивает дверные ручки.

— А теперь, — командует «разводящий», — вручение подарков! Прошу подойти представителя Катенькиной фабрики. Вам вручается обратно телевизор «Темп», который фабрика подарила молодым на свадьбу. От всей души поздравляю вас с замечательным подарком! Представителю Виталиного завода возвращается стиральная машина «Сибирь» в хорошем состоянии. Ура, товарищи!

Затем слово предоставляется родителям. Первым встает отец Катеньки. Он немного перебрал на радостях, но никто не осуждает его.

— Не надо утирать мне слезы, — просит он. — Это слезы счастья. Никогда я еще не видел, чтобы люди не любили друг друга так, как Виталий и Катенька. Уж как я не люблю свою старуху, а до них далеко. Думается мне, разводит их сегодня сама судьба. И мне, как отцу моей счастливой дочери, от всего сердца хочется сказать тебе, Виталий: скатертью дорога!

— А мне, — подымается мать Виталия, — мне, как матери моего

счастливого сына, хочется от всей души пожелать тебе, Катенька: катись колбаской по Малой Спаской!

— Сладко! — кричит нетерпеливый гость.

— Сладко! — подхватывают остальные.

Бывшие молодые щелкают друг друга по лбу.

И разгорается веселье, которое длится до утра. А утром начинается самая оригинальная часть нового обряда. Молодые отправляются в путешествие. В отличие от свадебного, маршрут которого может пролегать в любых стихиях, путешествие после развода непременно должно быть морским. Катенька и Виталий вылетают в Ялту. Там они порознь садятся на пароходы. Два белоснежных красавца параллельным курсом выходят из бухты в открытое море и расходятся в разные стороны. Допустим, в Одессу и Сухуми. И вместе с ними окончательно расстаются Катенька и Виталий. Этим они подчеркивают, что разошлись элегантно и непринужденно. Как в море корабли.

Легкий ветерок продувает палубу, в пенных гребнях кувыркаются дельфины, солнце вспыхивает в корабельных медяшках, необозримый горизонт качается перед Катенькой и Виталием. Перед каждым свой. Впереди, как уже не раз казалось, новая жизнь.

На палубах своих кораблей стоят Катенька и Виталий, приставив к глазам бинокли и напряженно вглядываясь в пустынную даль океана. Не мелькнет ли впереди белый парус...

г. Свердловск.

ЗНАЙ НАШИХ!

Приезжают недавно к нам в город футболисты из одной заграничной страны. Чтобы, значит, сыграть с нашей командой товарищескую встречу. Ну, собрались мы предварительно дома у нашего тренера, и защитник Леша спрашивает:

— Что это за страна такая? Никогда я не слышал.

— А кто ее знает, — отвечает тренер, — провинция какая-нибудь, на карте не обозначенная.

— Где-то такой остров есть, — припомнил полузащитник Сева, — вроде бы между Восточной Америкой и Южной Азией. Можно на карте посмотреть.

— Ну вот еще, — говорит тренер, — будем время на это тратить. Давайте набросаем план игры.

— А что там особенного набрасывать! — возражает нападающий Коля — Я, например, всю игру на одной ноге буду бегать, а второй ногой примусь голы забивать.

— И мы тоже! — кричат остальные нападающие.

Полузащитник Сева посоветовался с другими полузащитниками и говорит:

— А мы станем только головами играть. Стоит ли с такими еще и ногами работать? Мы им и так набьем по первое число.

Защитник Леша тоже пошептался со своими напарниками и сообщает:

— Мы решили играть монокитно. Станем посредине штрафной площадки, возьмемся за руки и, не сходя с места, ни одного мяча этих слабаков не пропустим.

— Ну, а мне, — говорю я, — вообще в воротах делать будет нечего. Поэтому я хочу играть с зажмуренными глазами.

— Вот и отлично! — одобрил тренер, и мы разошлись.

Вечером приезжаем на стадион, народу полным-полно. Соперники наши стоят, волнуются. Форма у них одна чего стоит! Умрешь! Футболки серые, трусы бурые, а гетры малиновые. Разыграли ворота, нападающие наши к своим местам на одной ноге попрыгали, защитники за руки взялись, а я глаза зажмурил и к штанге прислонился.

Вдруг гул на трибунах и крики. Так, думаю, заколотили первую этим островитянам. Кто, интересно, Коля или Боря? Открываю глаза, смотрю. Нападающие наши стоят, как цапли, полузащитники шишки на лбу потирают, защитники как будто на прогулку собрались с детским садом, а противники неподалеку от меня обнимаются. Беспокойство меня некоторое взяло. Оборачиваюсь, а мяч у меня в сетке лежит и уже трепыхаться бросил.

Пнул я его к центру, опять глаза зажмурил — спокойней так, а тут снова кричат. Опять та же самая история. И так еще пять раз до конца тайма.

В перерыве тренер рычал, как леопард.

— Срочно меняем тактику! Чтобы во втором тайме кончили свои выкрутасы и играли как люди!

— Как-то уж неудобно те-

перь, — заметил было Леша и тут же очутился на скамье запасных.

Стали мы играть второй тайм нормально, смотрим, а соперники-то — ребята ничего. И технари, и в тактике смыслят, и вообще. Нападать особенно не нападают уже, но защищаются прилично. Мы и так и эдак — две штуки с грехом пополам затолкали, и тут свисток на окончание.

Выстроились мы в центре, головы свесили, а соперники стоят — грудь вперед. Вдруг подходит к нам их капитан с переводчиком и говорит:

— Не откажетесь сыграть прямо сейчас в нашу национальную игру? Времени это много не займет, а удовольствие большое. Кроме того, зрителям развлечение.

Настроение у нас никудышное, но из уважения согласились.

— Какие, — спрашиваем, — правила?

— Правила, — отвечают, — несложные. Противники выстраиваются друг перед другом, и около каждой команды большая гора различных головных уборов. По сигналу судьи начинаем кидать друг в друга этими самыми уборами, и кто кого закидает — объявляется победителем.

— Ладно, — говорим, — давайте. Привезли на поле два самосвала шапок, дали свисток. Только наши соперники успели замахнуться, как мы пошли метать — закидывать их шапками с головой и выше. Большая гора получилась. И шевелится. Выбрались они на волю и глазами от удивления хлопают.

— Вот это, — говорят, — да!

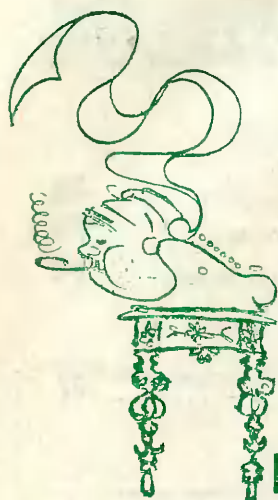
А мы им:

— Так-то, ребята, знай наших! Жаль, черт возьми, что этот вид спорта не олимпийский.

г. Ярославль.

Рисунок И. Оффенгендена.





Григорий Перов

МИНИ-ЮМ

(Миниатюрный юмор)



БОРЬБА С ШУМОМ

В нашем городе продолжается борьба с шумом.

На магистралях с интенсивным движением выставлены специальные шумоуловители. Разработаны конструкции бесшумных дверей для магазинов и предприятий.

На всех перекрестках установлены мощные громкоговорители, приглашающие граждан соблюдать молчание.

РОЗА ПОЭТА

Когда бурно развивающийся склероз лишил Ромуальда Тюлькина возможности сочинять стихи, он сделал героический жест и перешел на прозу.

— А что вы будете делать, когда окончательно потеряете память? — спросили Ромуальда.

— Буду писать воспоминания, — отвечивал он.



НЕ ГОВОРЯ УЖЕ...

Каждая книга нуждается в предисловии. Иначе читатель может превратно ее понять.

Не говоря уже об авторе!



В помещении нашей редакции на улице Воровского, 52, регулярно устраиваются выставки картин молодых художников. Это большие картины, висящие на наших больших стенах... В «Зеленом портфеле» мы открываем сегодня маленькую выставку маленьких картинок. Они миниатюрны не потому, что хуже больших, а просто таков жанр изюшутки. Смог бы художник-юморист нарисовать настоящую картину маслом? А смог бы автор полотна придумать тему иронической изюшутки? Не будем отвечать на эти вопросы. Скажем только: живописцу — «живописово», а юмористу — «юмористово»...



— Если бы вы могли видеть, как вам идет эта прическа!

Рисунок Г. Саевича.



— А что тебе поставили по труду?

Рисунок Ф. Курица.

● ПРОЗА

- Анатолий РЫБАКОВ. Неизвестный солдат. Повесть. 2
- Алексей ЧУПРОВ. Три рассказа. 34
- Арк. СТРУГАЦКИЙ, Бор. СТРУГАЦКИЙ. Отель «У погибшего альпиниста». Приключенческая повесть. 48

● ПОЭЗИЯ

- Алиага КЮРЧАЙЛЫ. Горсть солнца. Желанье. «К морю выбежал малыш...». Перевел с азербайджанского Владимир Кафаров. 31
- Фикрет ГОДЖА. Ангара. Когда смежаются ресницы... Перевела с азербайджанского Елена Аксельрод. 31
- Мамед ФАИК. Кричал я... Мать. Быть может... Перевели с азербайджанского Светлана Соложенкина и Анатолий Поперечный. 32
- Бахтияр ВАГАБЗАДЕ. «Ужель для счастья только...». Фазтон. Поэт. Перевел с азербайджанского Юрий Ряшенцев. 33
- Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Лед-69. Из дневника полярного геолога. Поэма. 42
- Инна КАШЕЖЕВА. Думая о Вьетнаме. Осень. Другьям. 71
- Иосиф ТЮКАВИН. Выставка кантусов. «Опять весна. Опять тревоги...». «Сосны вытянулись до неба...». 75
- Вадим ШЕФНЕР. На палубе. Последняя радуга. Лилия. «Стало больше красивиц на свете...». Ночная ласточка. Новейшие города. 81

● ПОГОВОРИМ
О ПРОЧИТАННОМ

- Владимир СОЛОВЬЕВ. Время, память, поэзия. 66

● ПУБЛИЦИСТИКА

- Виктор ПАНОВ. Девятый вариант. 72
- Алла ГЕРБЕР. Без мантии и трона. 76
- Елена ЛЕВИЦКАЯ. Духовный монолит. 82

● НАУКА И ТЕХНИКА

- В. КОВАНОВ. Годы светлые, студенческие. 87

● ТЕАТР

- Вениамин СМЕХОВ. Самое лучшее занятие в мире... (Записки молодого актера). 97

● СРЕДИ КНИГ

- Маленькие рецензии и аннотации. 102

● СПОРТ

- Анна ДМИТРИЕВА. Биография начинается в Уимблдоне. 104

● ЗАМЕТКИ
И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- И. КУПЦОВ. Всегда ты будешь живым примером. 108

● ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

- Герман ДРОБИЗ. Как в море корабли. 109
- Герберт КЕМОКЛИДЗЕ. Знай наших! 110
- Григорий ПЕРОВ. Мини-юм! (Мини-атурный юмор). 111
- Галка Галкина. Картинки с выставки. 111

На 1-й и 4-й страницах обложки рисунок Е. СОКОЛОВОЙ и А. МАКСИМОВА.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ, А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ,
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор Ю. А. Цишевский.

Технический редактор Л. К. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г 69, ул. Воровского, 52. Тел. 291-62-47.

Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 6/VIII 1970 г. А 10019 Подп. к печ. 19/VIII 1970 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 1 900 000 экз. Изд. № 1811. Заказ № 1919.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24